

Средневековый город



4 выпуск



Дорогому Всеволоду Александровичу
от коллег-медиевистов.

С. С. Озолин
Г. М. Мухоморов
И. В. Святоточина

Средневековый город

ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ



Межвузовский
научный сборник



Дарение
доц.
Ермолаеву В. А.

0821
СГУ
Кафедра
истории
средних веков

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
1978

С 23 Средневековый город. Межвузовский научный сборник, вып. 4. Изд-во Саратов. ун-та, с. 216.

В четвертый выпуск входят исследования по экономической истории средневековых городов, городской демографии, истории социальных и юридических отношений в городе, средневекового бюргерства и его роли в сословном представительстве, коммунального движения, ранне-буржуазной гуманистической идеологии, из истории университетов и студенчества в связи с гуманистическим и реформационным движением, а также по историографии.

В разделе «Тексты» впервые публикуется русский перевод городского права средневекового Фрейбурга со всеми дополнениями XII века.

Сборник рассчитан на историков — научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, интересующихся историей, историографией, историей культуры.

На обложке: рельеф «Кузнец» с колокольни Джотто во Флоренции.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

доц. В. А. Ермолаев, проф. А. А. Кириллова, проф. Г. Л. Курбатов, доц. А. Е. Москаленко, доц. Т. М. Негуляева (отв. секретарь), и. о. проф. А. И. Озолин, член-корр. АН СССР В. И. Рутенберг, проф. С. М. Стам (отв. редактор), проф. В. В. Штокмар, доц. М. М. Яброва, проф. В. А. Якубский.

1—6—3
24—78

СТАТЬИ

М. Е. Карпачева

РАННИЙ ЭТАП КОММУНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КАРКАССОНЕ

Коммунальное движение явилось ярчайшим проявлением антифеодальной борьбы в средние века до великих крестьянских восстаний. По мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, оно обусловливалось принципиальной *противоположностью* горожан *имевшемуся налицо феодализму*, что диктовало необходимость объединения их против феодалов *для защиты своей жизни*¹.

Как известно, истории коммунального движения как в общетеоретическом плане, так и в конкретно-историческом посвящена огромная литература. Однако объектами изучения стали главным образом итальянские и северо-французские города. Южно-французский регион в этом плане изучен крайне слабо. Долго господствовало мнение, что в отличие от Севера Франции, на Юге вообще не было коммунального движения, так как слово «коммуна» здесь встречается редко, а освободившиеся города образовывали консулаты². Даже если не де-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Соч., т. 3, с. 53.

² Оно не исчезло и до сих пор. Такова, например, юридически формальная позиция Шарля Пти-Дютайи: коммуна имела место только там, где существовал заговор, присяжная организация (*Petit-Dutaillis Ch. Les communes françaises caractères et évolution des origines au XVIII^e siècle. Paris, 1947*). На этой же позиции упрощенного противопоставления коммуны и консулата как принципиально различных явлений стоит и Ж.-Ф. Лемаринье (*Lemarignier J.-F. La France médiévale: institutions et société. Collection série «Histoire médiévale». Paris, 1970, p. 185*).

дается такого противопоставления, коммунальное движение в южно-французских городах зачастую отрицается на том основании, что здесь якобы конфликт между сеньорами и городами обычно разрешался мирным путем: посредством договоров, компромиссов, уступок³. Несомненные же факты вооруженных столкновений в городах зачастую истолковываются просто как борьба феодальных кланов за сюзеренитет над городом⁴.

Социально-политическая история средневекового Каркассона — значительного пункта западного Лангедока привлекла в последнее время особенное внимание французских локальных историков⁵. В самом деле, начиная с середины XI в. и до конца XIV в. здесь бурно кипит общественная борьба, реальное содержание которой на каждом данном этапе еще ждет глубокого осмысления. Но новых суждений, нового подхода к событиям, их социального анализа в этих работах не обнаруживается.

При этом, как и прежде, историки Каркассона ссылаются на крайнюю скудость источников⁶. Причин для таких сетований больше чем достаточно, хотя, быть может, следует удивляться не столько скудости источников, сколько тому, что они

³ Придерживаясь этого мнения, Ж. Сотель, вслед за А. Дюпоном (*Dupont A. Les cités de la Narbonnaise Première depuis les invasions germaniques jusqu'à l'apparition du consulat. Nîmes, 1942*), утверждает: «В этой области мы не имеем коммунальных революций». Однако приведенные им же факты городских восстаний в Монпелье, Ниме, Каркассоне (*Sautel J. Les villes du Midi méditerranéen au Moyen Age. — «La ville», 2-me partie, Bruxelles, 1955, p. 334—335*) убедительно опровергают этот постулат.

⁴ Одно из новейших проявлений: *Rouillan-Castex S. Bernard Aton Trencavel et les carcassonnais. — «Carcassonne, et sa région». Actes des XLI-e et XXIV-e congrès d'études régionales tenus par la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon. Carcassonne, 1970, p. 147—151.*

⁵ В материалах 41 конгресса Исторического общества Лангедока и Руссильона опубликованы четыре статьи по этим вопросам: вышеупомянутая статья С. Руйян-Кастес «Бернар-Ат и каркассонцы», статьи Ж. Серрана «Происхождение консулата в ситэ, бургах Каркассона и в соседних общинах» (*ibid.*, p. 153—157), М. Лебуа «Выступление каркассонцев против инквизиции» (p. 159—163) и, наконец, Ф. Вольфа «Размышления об истории средневекового Каркассона» (p. 135—146).

⁶ Ф. Вольф, выдвигая задачу более пристального изучения социальной истории Каркассона, даже не ставит проблему коммунальной борьбы, ссылаясь на «прикоробную скудость источников» (*Wolff F. Réflexions sur l'histoire médiévale de Carcassonne. «Carcassonne et sa région», p. 142*).

все-таки есть⁷. Действительно, в интересующий нас период от середины XI до середины XII века источники по истории Каркассона особенно малочисленны и фрагментарны (это в основном акты infeодаций, оммажей, феодальных дарений и уступок, выдержки из хроник)⁸. Впрочем, ранняя история города, возникшего в условиях феодального общества, никогда не получала сколько-нибудь полного отражения в документах эпохи. И тем не менее мы хотим вновь обратиться к имеющимся документам, с тем чтобы попытаться выяснить, каков был социальный характер общественной борьбы в раннем Каркассоне, какие силы участвовали в крупных вооруженных столкновениях, каковы причины, роль и значение выступлений горожан на различных этапах этой борьбы.

Городская история Каркассона начинается с рождения в начале XI в. ремесленно-торговых бургов под стенами Ситэ, с консолидации в них городского населения. Уже в акте от 1067 г. каркассонские бурги упоминаются во множественном числе, как уже сложившиеся поселения, окружающие старый Ситэ⁹. Очевидно, не в тесном Ситэ (всего около 9 га) с его преимущественно военно-феодальным и церковным населением, но именно в бургах формировалась основная масса горожан. Эта кристаллизация городского населения происходила в XI в. на базе развития в бургах Каркассона мясного, кожевенного, грубосуконного, хлебопекарного и мельничного промыслов, а также торговли солью (в широких масштабах), хлебом и вином. Топографическая локализация этих промыслов (мясники, мукомолы, пекари, торговцы хлебом и мукой селились в основном в северном бурге; улицы кожевников, сукновалов, торговые ряды солеторговцев располагались в южной

⁷ Немногие города провансальского юга пострадали столь же тяжело, как Каркассон, в ходе альбигойских войн, экспедиций Черного принца, антикоролевских и антиинквизиционных восстаний (вплоть до полного сожжения каркассонских бургов).

⁸ Они почерпнуты нами из Каркассонского картулярия (*Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administrative de Carcassonne, éd. par M. Mahul, vol. 1—6, Paris, 1857—1882*; далее: *Cart. Carcas*), из 3, 5, 8 томов бенедиктинской Всеобщей истории Лангедока (*Histoire générale de Languedoc, red. par Cl. Devic et J. Vaissete, vol. 1—12. Toulouse, 1872—1892*; далее: HGL); из публикаций архиварууса Кро-Мейрвьея: *Les monuments de Carcassonne, par Cros-Mayrevielle. Paris, 1850; Mémoires de la Société des arts et des sciences de Carcassonne, publ. par Cros-Mayrevielle. Carcassonne, 1849, vol. 1—2.*

⁹ «Burgi, qui circuitatu civitatis sunt» (*Cart. Carcas, v. 5, p. 769*). А спустя 50 лет отмечаются уже конкретно: «бург Святого Михаила», «бург Святого Винсента» (*HGL, v. 5, col. 813*).

слободе), несомненно, должна была способствовать раннему проявлению общности производственных интересов каркассонских ремесленников и торговцев. Об устойчивости профессионально-ремесленной ориентации свидетельствует и появление прозвищ — фамилий по названию ремесла¹⁰. В определенной степени бургожан спланировала и некоторая общность их происхождения, ведь данные топонимики показывают, что основная масса жителей бургов (64% от всех «географических» фамилий) — выходцы из 5—6 селений ближайшей (в радиусе 4—25 км) деревенской округи¹¹, а узы землячества в этот период были достаточно прочными.

Вместе с тем Каркассон, бывший в IX—X вв. резиденцией могущественных сеньоров края — графов¹², центр значительного епископства¹³, в XI в. оказывается в гуще междоусобных феодальных столкновений. Этому способствовало, во-первых, установление сюзеренитета над Каркассоном со стороны тулузских графов¹⁴, во-вторых, ослабление графской династии каркассонских сеньоров в связи с их частой сменой на каркассонском престоле¹⁵, и, наконец, инфеодация города в 1067 г. графу Барселоны.

¹⁰ В XI в. в списке оммажирующихся каркассонцев находим 7 человек с родовым именем — Faber (Кузнец), 7 — с именем Pelicer (Скорняк), 6 — с именем Textor (Ткач), 5 — с именем Fonger (Пекарь), а также Paraire (Сукновал), Сыромятник (Blancher), Мясник (Bucher), и многие другие (акт от 1096 г. — Mémoires, v. 1, p. 227—231).

¹¹ См.: Карпачева М. Е. Возникновение Каркассона как средневекового города. — В кн.: Некоторые вопросы отечественной и всеобщей истории. Саратов, 1971, с. 175.

¹² Графская власть становится наследственной от Олибы, с 820 г., и эта династическая линия под титулом «Comes Carcassonne» продолжается до 934 г. Затем каркассонские графы Арнаут I, Ружер I, Раймун становятся также сеньорами Разеса, Агда и Альби. Генеалогию графов Каркассона см.: HGL, t. 2, p. 312, t. 4, p. 113.

¹³ Учрежденное в Каркассоне в 537 г., оно стадо одним из наиболее влиятельных епископств Лангедока (Bouges R. P. Histoire ecclésiastique et civile de la ville et diocèse de Carcassonne. Paris, 1741, vol. 1, p. 28—30).

¹⁴ В 924 г. верховным сюзереном Каркассона и Разеса становится тулузский граф Раймун III (Lot F. et Fawtier R. Histoire des institutions françaises au moyen âge, t. 1. Paris, 1957, p. 71).

¹⁵ Началось это ослабление с раздела графства Каркассонского в 1012 г. между тремя сыновьями графа Ружера I (Cart. Carcas., v. 5, p. 234—235). За последующие 40 лет на каркассонском троне сменилось 3 сеньора, причем последний, бездетный Ружер III, вынужден принести оммаж за город Каркассон своему двоюродному дяде Ружеру II — графу Фуа, который как внук Ружера I претендовал на Каркассон (Cart. Carcas., v. 5, p. 240).

1067 г. во многом изменил положение сеньориальной власти в Каркассоне. Виконтесса Эрменгарда¹⁶, наследовавшая каркассонский престол по завещанию своего бездетного брата Ружера III, нуждаясь в деньгах и не будучи в силах противостоять многочисленным претендентам¹⁷, ищет поддержку у своего дальнего родственника — барселонского графа Раймуна-Беренжера I¹⁸ и 2 марта 1067 г. заключает с ним три акта инфеодации¹⁹. В результате верховным сюзереном города стал барселонский граф, ему и его наследникам переходят все сеньориальные права и прерогативы на Ситэ и бурги Каркассона²⁰. Каркассонские же сеньоры попадают, таким образом, под двойной вассалитет (от Тулузы и Барселоны)²¹, что существенно ущемляет их иерархический статус, политический и экономический вес²².

Кризис сеньориальной власти в Каркассоне особенно обостряется в связи с убийством его сюзерена графа Раймуна-Беренжера II²³. В обстановке безвластия разыгрываются анархия и разбой окрестного рыцарства. Каркассонская хроника рассказывает, что в 1082 г. окрестные рыцари осаждали город, грабили и разоряли его предместья. Каркассонцам пришлось

¹⁶ Дочь каркассонского графа Пьера-Раймуна, жена Раймуна-Бернара Тренкавеля — виконта Альби и Нима.

¹⁷ Законность перехода власти к Эрменгарде оспаривалась ее двоюродными братьями и, особенно, дядей Ружером II, на основании того, что Ружер III нарушил запрещение своего отца — графа Пьера-Раймуна передавать престол по женской линии.

¹⁸ Своего двоюродного дяди, женатого на ее тетке Альмодии (Cart. Carcas., v. 5, p. 233).

¹⁹ I акт: продажа «за 1100 унций золотой монеты наследственного владения Эрменгарды в Каркассе, включая Каркассон с его бургами и всеми сеньориальными правами на него». II актом были продажа «графства Разес со всеми замками и аббатствами». III акт заключал обратное пожалование барселонским графом этих доменов, исключая город Каркассон с его бургами, епископством и всеми сеньориальными правами на него (HGL, t. 3, p. 360—363). Последние становятся доменальным владением барселонских графов и леном каркассонских виконтов.

²⁰ От Раймуна-Беренжера I каркассонский престол переходит к его сыну Раймуну-Беренжеру II, которому в 1076 г. каркассонцы приносят оммаж (Cart. Carcas., v. 5, p. 247).

²¹ Уже в 1071 г. тулузский граф Гильём заставил Раймуна-Беренжера I признать себя ленником Тулузы (Cart. Carcas., v. 5, p. 247).

²² Графская династия прекращается, каркассонские сеньоры называются отныне виконтами.

²³ Точные обстоятельства смерти графа не выяснены. (Различные версии см.: HGL, t. 3, p. 433). Из хроники следует, что 6 декабря 1082 г. он был убит (HGL, t. 5, Croniques, col. 31—32), вероятнее всего, разбойничавшими рыцарями близ Жероны в Каталонии.

с оружием в руках отстаивать город²⁴. Не исключено, что они держат организованную оборону, создают городское ополчение²⁵. В этом нельзя не видеть роли каркассонского рыцарства; да и мощные крепостные стены Ситэ имели немаловажное значение, но непременным условием успешной обороны должны были быть совместные действия жителей Ситэ и бургов.

По всей видимости, сообща — и рыцарями, и горожанами было принято решение в этих крайних обстоятельствах вступить в город Бернара-Ата Тренкавеля, виконта Безье и Нима, сына Эрменгарды и Раймуна-Бернара Тренкавеля²⁶. По этому поводу Ф. Энгельс замечает, что именно «вопреки осаждавшей город знати Каркассон отдает себя во власть виконта Безье»²⁷. Бернар-Ат со своим войском вступил в осажденный город, возглавил его оборону и снял осаду. Пользуясь малолетством наследника каркассонского престола, барселонского графа Раймуна-Беренжера III, он фактически становится сеньором Каркассона²⁸. Так произошла смена сеньоров, и каркассонский графский престол заняли виконты из рода Тренкавелей.

Совместные решения и действия каркассонцев в 1082 г. стали возможными прежде всего потому, что к этому времени уже сложились бурги Каркассона со значительным торгово-ремесленным населением, без которого и город теперь нельзя защитить и с которым нельзя было не считаться. Но вызваны были они крайними обстоятельствами: нужно было отстоять город от разбоя и разграбления.

Иное дело — консолидация горожан, проявившаяся в выступлении против сеньора в 1107 г. Не внешней опасностью она была продиктована, не политическими симпатиями или антипатиями подготовлена и совсем не исчерпывалась борьбой пробарселонской и пробезьерской партии. В самом деле, в это время политический вес Каркассона упрочился, а Бернар-Ат,

²⁴ «Каркассон был осажден окрестными рыцарями. Жители его, взявшись за оружие, противостоят их нападению» (ibid.).

²⁵ Как считает каркассонский архивариус (Cros-Mayrevielie. Les monuments, p. 12).

²⁶ Виконт обещает «защитить их и их имущество» и принимает условие, поставленное ему каркассонцами, что сюзереном города останется барселонский граф (HGL, t. 5, Croniques, ibid.).

²⁷ Энгельс Ф. О Франции в эпоху феодализма. — Архив Маркса и Энгельса, т. X. М., 1949, с. 230.

²⁸ В 1090 г. Бернар-Ат официально принимает титул виконта Каркассона, формально признавая сюзеренитет барселонского графа, фактически узурпирует все его prerogatives (Rouillan-Castex. Berhard Aton, p. 148).

его сеньор, укрепив свои позиции в городе и диоцезе, именуется себя виконтом Каркассона, Альби, Нима, Разеса, Безье и Агда²⁹. И этого-то местного сеньора, чья политика должна им быть более близка, каркассонцы изгоняют и инфеодируются за пиренейскому графу.

Что же подготовило консолидацию горожан перед лицом сеньора, вызвало первый всплеск антисеньориальной борьбы? Рассмотрим глубже противоречия между городом и сеньором, используя сведения, дошедшие от XI века³⁰. Уже с самого возникновения Каркассона как средневекового города жители его в полной мере испытывали тяжесть сеньориального гнета³¹. Сеньор, как земельный собственник, взимает в Каркассоне сугубо феодальные поборы с земли и держаний — «census» — «денежный чинш, «redditus» — чинш продуктами. За пользование сельскохозяйственными угодьями за стенами Ситэ — пастбищами, лугами, рыбными тонями, пустошами — горожане должны уплачивать поборы: «pascuaria», «grata», «piscatoria», «garricalia». При любом отчуждении недвижимости взимался «laudementum» — феодальный побор, ущемлявший горожан в праве распоряжения своим имуществом³². Десятин и начатков требовали с жителей Каркассона духовные сеньоры церквей, возникших не только в Ситэ, но и в бургах³³. Постепенно начинают складываться в городе феодальные баналитеты на хлебопечение и мельничное дело³⁴. Вероятно, и сеньори-

²⁹ Cart. Carcas., v. 5, p. 248.

³⁰ На основе документов: 1067 г. (акт продажи Эрменгардой Раймуну-Беренжеру I, графу барселонскому, своих прав на Каркассон — HGL, t. 5, col. 548—550); 1070 г. (акт оммажа Аделаиды, дочери графа каркассонского Пьера-Раймуна, графу барселонскому с передачей всех ее наследственных прав на Каркассон — HGL, t. 5, col. 579); 1071 г. (акт оммажа каркассонской графини Рангарды барселонскому графу Раймуну-Беренжеру — HGL, t. 5, col. 586); а также ряда других.

³¹ Раннему складыванию в городе системы сеньориальной эксплуатации способствовала полная и независимая власть: «Libere in omnibus potatur arbitrio», пожалованная каркассонским сеньором франкскими королями (Cart. Carcas., v. 5, p. 227).

³² Layettes du trésor des chartes; publ par A. Teulet, J. de Laborde. Paris, 1863, t. 1, p. 277.

³³ «Decimas et premitias ad ipsas ecclesias, quae in ipsa civitate et in ipsos burgos sunt» (акт 1067 г. HGL, t. 5, col. 548).

³⁴ Складывание сеньориальной монополии на хлебопечение можно заметить с конца XI в.: официально хлебопекарный банн учреждает в 1141 г. каркассонский виконт Ружер в бурге Сен-Венсен (HGL, t. 5, col. 1046—1047; Cart. Carcas., v. 5, p. 310). Мукомольный баналитет сложился в XII в., хотя сеньориальные права на помол муки в том же бурге распространяются уже с XI в. (HGL, t. 8, p. 74).

альная монополия на соляную торговлю возникает уже в XI в.³⁵

Уже в это время в городе несомненно складывается разветвленная система сеньориального обирательства ремесла и торговли. Торговые пошлины взимались с горожан и с приезжих купцов. Самый тяжелый побор — «ledda» — пошлина, взимаемая и с продавца, и с покупателя пропорционально стоимости торговой сделки³⁶. Рыночный побор — «mercata» — за право торговать и покупать на городском рынке. Разнообразные поборы: за пользование сеньориальными мерами и весами — «telonea», «gafega», за розничную продажу — «pedadges»³⁷, за транзитную торговлю — «travers»³⁸ — не только затрудняли торговлю, но и вели к удорожанию товаров. Этому же способствовало установление в Каркассоне сеньориальной монополии на чеканку монеты, что вело к ее порче³⁹. Вынуждены были горожане платить и произвольные поборы⁴⁰. Совокуп-

³⁵ «Соляные ворота» еще до учреждения («per portam Salinam») сеньориальной таможни служили местом обирательства солеторговцев, которые уплачивали здесь ледду и пеаж. Кроме того, сеньор взимал в этот период пошлины и за продажу соли на городском рынке (HGL, t. 7, poae 46, p. 185—186).

³⁶ Ледды зафиксированы в документах впервые в 1067 г. (HGL, t. 5, col. 548—550). Борьба за огромные доходы с этих торговых пошлин разгорелась особенно заметно в XII в. между светскими и духовными феодалами Каркассона, при этом епископ в 1106 г. вынужден заложить свою часть ледды сеньору (HGL, t. 5, col. 1461), но затем она в 1150 г. возвращена виконтом Ружером кафедральному капитулу Сен-Назер (*Molinier A. Etude sur l'administration féodale dans la Languedoc (900—1250)*. Toulouse, 1875, p. 193).

³⁷ До 1194 г. сеньоры взимали с горожан пеаж натурой также за сельскохозяйственные и ремесленные товары, провозимые через мост на Оде (*Cros-Mayrevieille M. Les monuments*, p. 93).

³⁸ HGL, t. 7, p. 174.

³⁹ Еще в 892 г. Эд, король Франции, дал каркассонским графам право собственной чеканки монеты (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 230), позднее создается монетная мастерская «*turris monetaria*». Содержание серебра уменьшилось с 24 зерен при графе Ружере I (1002—1112 гг.) до 16 зерен при виконте Ружере I (1030—1150); вес соответственно снизился с 4 гр 27 мл до 0 гр 85 мл (*Mémoires*, v. 2, p. 131—132).

⁴⁰ Особые поборы: гидаж (*guide*) — подать за предоставление защиты на территории города и сверхгидаж (*superguide*) — произвольный налог за пребывание в Ситэ паломников и приезжих купцов (HGL, t. 8, p. 374—375). Кроме того, сеньор взимал с каждого горожанина «беззаконный» дополнительный налог («*Scue de cens*» — HGL, t. 7, Note 46, p. 172). Право произвольного обложения было отменено в Каркассоне в 1150 г. (Завещание каркассонского виконта Ружера I — (HGL, t. 5, N 580).

ность сеньориальных прав юрисдикции: «*justitia*», «*placita*»⁴¹ существенно ущемляла личный статус горожанина⁴².

О силе сеньориальных повинностей свидетельствуют сугубо феодальные поборы с горожан: альберга — право постоя и фуражировки⁴³, менморт — «право мертвой руки»⁴⁴, талья — самый тяжелый и унижительный поголовный налог⁴⁵. Приведенные данные показывают, что в XI в. горожане Каркассона испытывали тяжелейший сеньориальный гнет. И эта система сеньориальной эксплуатации постоянно расширяется, угрожая самому существованию городского ремесла и торговли⁴⁶.

Хищническое обирательство горожан дает ресурсы молодому Тренкавелю узурпировать власть и присвоить себе в 1090 г. титул виконта каркассонского, что делает сюзеренитет Барселоны в Каркассоне достаточно номинальным⁴⁷. Напротив, авторитет и экономический вес виконта Тренкавеля усиливаются. Честолюбивый и энергичный Бернар-Ат, утвердившись на каркассонском престоле, не довольствуясь своими прежними сеньориальными поборами, ищет новых источников доходов. Постоянно нуждаясь в деньгах — то для того, чтобы откупиться от притязаний на Каркассон Ружера II — графа Фуа⁴⁸, то для того, чтобы с необыкновенной пышностью отпраздновать свое бракосочетание, а впоследствии — свадьбу дочери⁴⁹, то для участия в крестовых походах⁵⁰, — он об-

⁴¹ Акт 1067 г. (HGL, t. 5, col. 548—550).

⁴² Ibid. Сеньориальная курия в XI в. была «курией знатных» (*magnatibus curia*), сеньор диктовал ей свои решения (HGL, t. 5, col. 31—32).

⁴³ Акт от 1067 г. (HGL, t. 5, col. 548—550).

⁴⁴ Отменен менморт в 1184 г. по завещанию виконта Ружера II (HGL, t. 8, col. 374; t. 3, col. 156, *Cart. Carcas.*, v. 5, p. 338).

⁴⁵ Документы позднейшего времени показывают существование тальи вплоть до 1309 г. (HGL, t. 5, p. 458).

⁴⁶ На отрицании этого и утверждении, что феодальные пути в Каркассоне «не ставят никаких препятствий городскому производству», пытался обосновать А. Дюпон тезис о единстве интересов сеньора и горожан в Каркассоне (*Dupont A. Les cités*, p. 597—598) и концепцию о мирном перерождении сеньориальной власти в коммунальную.

⁴⁷ В 1096 г. граф Барселоны военной рукой попытался восстановить свои права на Каркассон, но без успеха (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 248—249).

⁴⁸ В 1095 г. граф Фуа за отказ от своих прав на Каркассон, которые он пытался реализовать и в 1067 г. и в 1082 г., потребовал от Бернара-Ата 1800 тулузских солидов (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 249).

⁴⁹ В 1083 г. он женится на Сесилии, дочери Бертрана II, графа Прованса (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 248). В 1105 г. он выдает замуж дочь Масечину (HGL, t. 3, p. 568).

⁵⁰ В 1101—1105 гг. Бернар-Ат вместе с сеньором Монпелье Гильёмом и графом Тулузы Раймундом участвует в экспедиции крестоносцев, горо-

лагал горожан чрезвычайными поборами⁵¹. Разумеется, горожане должны были в полной мере ощутить тяжелую руку местного сеньора. Ведь барселонский граф, находясь за Пиренеями, не мог так жестко и последовательно стричь городское накопление. В этих обстоятельствах в городе не могла не усииться пробарселонская партия.

Видимо, в стремлении укрепить свои сеньориальные права на Каркассон и Каркассэ, Бернар-Ат старался противопоставить опасному для него барселонскому сюзеренитету тулузский. Можно предположить, что Бернар-Ат выступал за активизацию торговых каналов с Тулузой, вопреки сложившейся во время сюзеренитета Барселоны ориентации каркассонцев на торговые связи с Испанией (торговля солью)⁵².

Недовольство разрасталось и, наконец, вылилось в 1107 г. в открытый бунт. Эти события описаны в каркассонской хронике⁵³, кроме того, сохранились два документа: оммаж каркассонцев Раймуну-Беренжеру II — барселонскому графу⁵⁴, и клятва верности каркассонцев Бернару-Ату, виконту Каркассона⁵⁵. Они не датированы⁵⁶. Мы считаем, что оба документа

жане при этом облагались военным побором — «*batalia*» (HGL, t. 5, col. 548—550; Cart. Carcas., v. 5, p. 229).

⁵¹ Они были отменены только в 1150 г. в завещании сына Бернара-Ата — виконта Ружера (HGL, t. 5, N 580).

⁵² Известно, что транспортировка соли в Тулузу уже с начала XI в. обременена сеньориальным обирательством: сеньоры Карамана накладывают пошлину на соль, привозимую жителями Каркассэ. Позднее тулузский граф Гильём IV незаконно обирает торговцев солью, скупая соль по заниженной цене (Стам С. М. Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза XI—XIII вв.). Саратов, 1969, с. 155—159).

⁵³ HGL, t. 5, Croniques, n. VI, col. 31—32.

⁵⁴ Mémoires, v. 1, p. 227—231.

⁵⁵ HGL, t. 5, col. 804.

⁵⁶ Датировка II акта оммажа ни у кого из историков не вызывает сомнения — 1107 г. (HGL, t. 5, col. 804). Но первый акт датируется по-разному: 1067 г. — дата совершенно неприемлемая, это явная описка копиистов «*Liber Feudorum Mayog*»; сомнительна и датировка Кро-Мэйрвейя — 1096 г. Ведь в момент убийства Раймуна-Беренжера II в 1082 г. его сыну не было и года, т. е. к 1096 г. ему исполнилось 14 лет. Видимо, вступление юного Раймуна-Беренжера III на барселонский престол в 1096 г. и склонило каркассонского архивариуса к датировке первого оммажа этим годом, так как весьма вероятно, что каркассонцы могли тут же принести ему клятву верности как верховному сюзерену. Однако текст оммажа показывает, что горожане клянутся быть верными не только Раймуну-Беренжеру III, но и его сыновьям, которых в 1096 г. у него еще не было. Обычное же обращение при оммаже: «сеньору и его потомству» — как в клятве верности 1082 г.

присяги относятся к 1107 г. и события, описанные в хронике, также должны датироваться 1107 г.⁵⁷

Что же произошло в 1107 г.? Источник сообщает, что горожане восстали по причине «несправедливостей и беззакония, которые они не имели более сил переносить»⁵⁸. Рыцари Ситэ приняли в восстании самое живое участие, как и в событиях 1082 г. Захвачен дворец виконта в Ситэ, и, будучи не в силах его отстоять, Бернар-Ат вынужден «к позорному бегству» из города. Изгнанному Тренкавелю оставался единственный выход, чтобы противостоять мятежному городу: обратиться за помощью к тулузскому графу. В этой обстановке горожане, собрав общий сход «*communicato consilio*», решили инфеодироваться барселонскому графу⁵⁹. Оммаж начинается короткой вступительной частью, в которой «люди Каркассона» признают своим законным сеньором Раймуна-Беренжера III и клянутся быть ему и его сыновьям верными соратниками против виконта Безьерского⁶⁰. Далее следует огромный список свидетелей (около 500 имен) без каких-либо сословных обозначений⁶¹, без какой-либо внутренней градации⁶².

Так может выступать только городская община с коллективной ответственностью, с общими целями в борьбе против сеньора⁶³. Есть основания предполагать совместные и энергич-

⁵⁷ Во «Всеобщей истории Лангедока» хроника неверно отнесена к 1096 г.

⁵⁸ «*Homines vero Carcassonnae videntes tantum injuriam, injustitiam, noluerunt diu sustinere*» (HGL, t. 5, col. 31—32).

⁵⁹ «*...reddiderunt se, civitatem domino suo avo vestro, sicut facere debuerunt*» (ibid.).

⁶⁰ «*Nos tui homines Carcassonnae... erimus tibi fidelis adjutores et defensores contra vicomitem bitterensem...*» (Mémoires, v. 1, p. 227).

⁶¹ А ведь до этих событий важнейшие акты скрепляет только каркассонское дворянство «*nobilium hominum*». (Так, 30 знатных людей Каркассона подписывают в 1054 г. акт дарения графом Пьером-Раймуном церкви Разеса (HGL, t. 5, cpl. 479).

⁶² Наш материал противоречит тезису Г. Фуркена, что освободительная борьба городов не сопровождается демократизацией городской жизни, что в ней преобладают аристократические элементы (Fourquin G. Histoire économiq. de l'Occident médiéval. Paris, 1969, p. 231—233). Напротив, участвующее в восстании рыцарство при оммаже совсем не подчеркивает свою знатность и единственное определение в списке — «*belli homini*». Документ подписывают как равные и ремесленники, и торговцы, и священники, и явно недавние сервы — выходцы из окрестных селений.

⁶³ «Представителями общины» называют инфеодирующихся каркассонцев Э. Лависс и А. Рамбо (Лависс Э., Рамбо А. Всеобщая история, т. 2. М., 1897, с. 391), подчеркивая, что «горожане играют роль инициаторов, а не немых свидетелей» (Они же: Эпоха крестовых походов, т. I. М., 1911, с. 394).

ные действия горожан и рыцарей при обороне города. Сколько времени она длилась — неизвестно, но каркассонцы выдерживали осаду Бернара-Ата, явившегося с войском тулузского графа, до тех пор, пока их посольство не вернулось обратно (а путь их был вдвое длиннее, чем у виконта!) с известием, что помощи от Барселоны не будет⁶⁴. В этих крайних обстоятельствах восставшие капитулируют, но не безоговорочно, они требуют от виконта гарантий сохранения жизни и имущества.

Но вот что примечательно: потерпевшие поражение, вынужденные к присяге ненавистному сеньору, каркассонцы в тексте оммажа Бернару-Ату в 1107 г. с достоинством называют себя: «Мы — отмеченные люди Каркассона: рыцари, горожане и весь другой его народ и пригородные жители»⁶⁵. Что стоит за этой формулой? Определением «мы — люди Каркассона» подчеркивается единство, известная спаянность мятежных каркассонцев. Последующая градация четко выявляет социальный состав этой массы, исключая ее гомогенность.

Что побудило рыцарей примкнуть к восстанию против Бернара-Ата?⁶⁶ Прежде всего то, что городское дворянство Каркассона, издавна жившее в Ситэ, несомненно имевшее недвижимость в городе и, вероятно, за его стенами, несшее охранную службу, участвующее в делах городской юстиции (сеньориальная курия), в какой-то степени должно было втянуться в городские занятия. Таким образом, рыцари включались в число жителей города⁶⁷. Это могло стать главной предпосылкой

⁶⁴ Нашествие альморавидов не позволило Раймуну-Беренжеру II оказать помощь каркассонцам (*Альтамира- и -Кревеа Р.* История Испании. М., 1951, с. 142—143).

⁶⁵ «Nos, noti homines Carcassonnae milites, burgenses et universus alius populus ejus et suburbanii» (HGL, t. 5, col. 804).

⁶⁶ Ведь то, что не они составляли ведущую силу оппозиции, видно уже по характеру репрессий, которыми подверг жителей Каркассона разгневаный сеньор, несмотря на свои клятвы и обещания. Хронист записал: «Огромное количество мятежников было схвачено, изувечено и с позором изгнано из города». Слепленные, с отрезанными носами, лишенные крова каркассонцы вынуждены искать приюта у барселонского графа (HGL, t. 5, col. 32).

⁶⁷ В этом отношении Каркассон не был исключением. Так, в Нарбонне (грамота от 1080 г.) «milites» включены в состав горожан — «civium»). Статуты арльского консулата 1142—1155 гг. составлены с общего согласия «militum et proborum virogum», в Ниме в 1161 г. видим Совет «proborum hominum civitatis et militum castri», в Тулузе в XII в. рыцарство утрачивает черты дворянской исключительности (*Стам С. М.* Экономическое и социальное развитие, с. 354—355). Можно заметить определенное сходство каркассонских «milites» с испанскими «cabaleros villanos», жившими в городе и имевшими значительное влияние (*Корсунский А. Р.* История Испании IX—XIII веков. М., 1976, с. 176—181).

сближения рыцарей с горожанами⁶⁸. Очевидно, сблизила военное сословие Ситэ с горожанами и совместная защита города в 1082 г. Вероятно, барселонский граф, почти не вмешивавшийся во внутреннюю жизнь города, в качестве сеньора больше устраивал дворян, чем Тренкавель, сидевший тут же, в Ситэ, и захвативший все бразды правления. Видимо, не устраивала этих городских землевладельцев и необходимость участвовать в бесконечных походах воинственного виконта, особенно в длительных крестоносных экспедициях.

Главным ядром восставших несомненно были «burgenses» — горожане, ремесленно-торговое население Каркассонских бургов⁶⁹. Их протест обуславливался жизненной необходимостью, стремлением освободиться от жесточайшей эксплуатации, резко усилившейся при Бернаре-Ате. Возросшее обирательство местным сеньором ремесла и торговли истощало городское накопление, высокие ледды и пеажи грозили прервать питающую город связь с деревенской округой. Кроме того, вероятно, только что начавшие налаживаться экономические связи с Испанией безьерским виконтом не поощрялись⁷⁰. Возможно, сказалось и то, что горожанам Каркассона стала известна политика барселонских графов по отношению к новым городам и они надеялись получить такие же послабления⁷¹.

Пригородные жители также называются среди восставших. Это вполне объяснимо. Конечно, они всегда солидаризовались с горожанами, ведь при всех неблагоприятных обстоятельствах

⁶⁸ Ведь протулузская политика Бернара-Ата уменьшила доходы дворянства, так как сократила и выгодную перепродажу испанской соли и прибыльное участие рыцарей в охране купеческих караванов от разбойников на горных перевалах Корьбьер и Восточных Пиренеев.

⁶⁹ Нельзя не подчеркнуть раннюю консолидацию городского сословия в Каркассоне. В более значительном городе Монпелье термин «burgenses», впервые, насколько нам известно, упоминается только в 1113 г. (*Liber instrumentorum memorialium*; éd. par A. Germain. Montpellier, 1884—1886, CXXXVII); в Тулузе в актах XII в. термин «burgenses» обозначает жителей Бурга в отличие от жителей Ситэ (*Стам С. М.* Экономическое и социальное развитие, с. 360).

⁷⁰ Об этом может свидетельствовать такой штрих: если до 1067 г. крупные акты купли-продажи производились в барселонской монете (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 242—243), то при Бернаре-Ате — в тулузской (*Cart. Carcas.*, v. 5, p. 249). И в монетной мастерской Ситэ Каркассона стала изготавливаться монета тулузского чекана «Raimondine», «Ugonencia» (*Moliner A. Etude*, p. 255).

⁷¹ Предоставление фуэрос городам с рядом льгот и привилегий. Так, Раймуну-Беренжером III статус вольных городов дарован Тортосе, Лериде, Аграмунту (*Альтамира- и -Кревеа Р.* История Испании, с. 242—243).

(войны, грабежи, разбой — повседневное явление в те времена) они искали прибежища внутри крепостных стен Ситэ. Но и горожане искали их поддержки, так как скот и запасы продовольствия были крайне необходимы в условиях осады.

Наконец, «другой народ» Каркассона — это, вероятно всего, мелкий люд Ситэ, живший в крепости для непосредственного обслуживания сеньориального и епископского двора. В его число могли входить и клирики, и министерялы, и представители свободных профессий. Скорее всего эти люди примкнули к оппозиции по инерции, дабы не противостоять общине.

Таким образом, при известном единстве всех жителей Каркассона в борьбе с сеньором восстание 1107 г. показало и определенную социальную неоднородность их. И если первое позволило каркассонцам вступить в вооруженную борьбу с сеньором, действовать решительно, сплоченно и организовано, последнее предопределило слабости этого первого антифеодального выступления горожан. Показателем незрелости явилась поспешная инфеодация барселонскому сюзерену, сам дух вассальной присяги с обязательством верой и правдой служить сеньору. Так в движении сказалось участие рыцарства. Да и горожане, многие из которых были еще недавними выходцами из окрестных деревень, и тем более субурбании, еще верят в доброго сеньора за Пиренеями, еще надеются на обещания виконта Тренкавеля.

Так в сложном переплетении гетерогенных элементов возникает городская община в Каркассоне, в сближении интересов всех ее слоев вызревает антифеодальная направленность движения.

События последующих лет, с 1112 по 1119, показывают, как в Каркассоне подспудно продолжала клокотать магма антифеодального сопротивления. В 1112⁷² и 1118⁷³ годах виконт Каркассона Бернар-Ат вынужден выдержать столкновения с

⁷² В 1112 г. Раймун-Беренжер III со значительным войском пытался отвоевать Каркассон у Тренкавеля. Однако при посредничестве архиепископа нарбоннского Ричарда, Бернар-Ат сумел избежать военного столкновения и заключил 8—9 июля 1112 г. соглашение с графом Барселоны. Но оставшись сеньором Каркассона, он вынужден под давлением горожан отказаться от союза с Тулузой (HGL, t. 5, col. 824; Cart. Carcas., v. 5, p. 233).

⁷³ Участие Бернара-Ата в 1118 г. в совместном с королем Арагона походе против мавров имело следствием введение разорительных военных поборов с горожан, что вызвало всеобщее недовольство. Этим недовольством и старался воспользоваться Раймун-Беренжер III, чтобы воцариться в Каркассоне (Flich A. L'Etat toulousain, p. 77).

барселонским графом. Видимо, каркассонцы опять стремились использовать Барселону, чтобы вытеснить своего сеньора. Это стремление, как и прежде, объединяет горожан Каркассона.

Небезынтересно, что документ от 1110 г. дает новое определение городского населения Каркассона «Знатные и многие другие достойные люди»⁷⁴. Примечательно, что здесь налицо разделение внутри самого понятия «probi viri» — т. е. почтенные горожане, недворянская верхушка города. Еще более показательным, что нобили включает себя в состав богатых бюргеров⁷⁵. Тут налицо сближение дворянского элемента с богатой верхушкой горожан, а за этим кроется столь характерный для южно-французских городов путь складывания патрициата через втягивание городского дворянства в специфически городские занятия (частично торговля и промыслы, а также ростовщичество). Конечно, в этот период речь может идти только о протопатрициате, ведь коммуна еще не оформилась, борьба не окончилась. То, что «нобили» не отслаиваются от «бургензес», а сближаются с ними, помогает понять такая формула, определяющая социальный состав жителей Каркассона: «как военный, так и простой народ»⁷⁶. Опять выделение двух прослоек: рыцари и горожане, и вновь, как и в определении 1110 г., нет их противопоставления. Это дает основания предположить, что внутренняя трансформация каркассонского дворянства сближает его с торгово-ремесленными слоями города и противопоставляет сеньориальной власти.

А система сеньориального обирательства все возрастает. Введение Бернаром-Атом между 1112 и 1113 гг. сеньориальной монополии на солеторговлю и официальное учреждение «Salinum» — соляной таможни⁷⁷ существенно сократило дохо-

⁷⁴ «Nobilium et multorum aliorum proborum virorum» (1110, HGL, t. 5, col. 812) — это 5 нобилей, среди них сын виконта Ата—Ружер Тренкавель, и многие знатные люди. К сожалению, нет возможности проследить их имущественный и социальный статус.

⁷⁵ Подобно этому в Тулузе в XII в. «probi homines» включали и рыцарей и бургожан, а «hobilis viri» (в XIII в.) назывались и рыцари и горожане (Стам С. М. Экономическое и социальное развитие, с. 358). В Арле в XIII в. понятия «burgenses» и «probi homines» близки (там же). В Монпелье «probi homines», «boni homines» в XII в. — это лица недворянского происхождения, разбогатевшие бюргеры (Осипов В. И. Основные этапы коммунального движения в Монпелье. — В кн.: Аспирантский сб. Саратов, 1966, с. 95).

⁷⁶ «Tam militaris, quam populus plebus», 1119 г. (HGL, t. 5, col. 881).

⁷⁷ HGL, t. 7, p. 185.

ды от этого выгоднейшего дела богатых горожан, а ремесленников, чьи промыслы были связаны с употреблением соли в больших количествах (мясники, сыромятники, дубильщики кож, изготовители грубых сукон), поставило на грань разорения.

Новое восстание было неизбежным, и оно разразилось в 1120 г. Сказался опыт прежних столкновений, — каркассонцы выбрали благоприятный момент: сеньор города Бернар-Ат отсутствовал⁷⁸, положение его сюзерена и защитника — тулузского графа серьезно пошатнулось⁷⁹.

24 августа 1120 г. вернувшийся из похода виконт Бернар-Ат оказался перед закрытыми воротами города⁸⁰. Начинается осада, перешедшая в блокаду. Поразительна длительность вооруженного сопротивления горожан (4 года), их единство и организованность. Восставшие хорошо ориентируются в политической обстановке и удачно используют ее⁸¹. Но самое главное — коммуналное сплочение горожан в борьбе с сеньором. Только образованием самоуправляющейся коммуны, активным участием всего населения города в вооруженном восстании можно объяснить его успех. Чувствуя свою силу, горожане не бросаются за помощью, не ищут себе нового сеньора, не идут на уступки Бернару-Ату.

К сожалению, источники не содержат никаких данных о том, как жил осажденный город, кто и как организовал оборону, какими были органы самоуправления. Лишь один любопытный штрих: в этот период (1120—1123 гг.) город самостоятельно чеканил свою монету, и в отличие от фальсифицированной виконтской она была полновесной⁸². Это означает, что каркассонцы сумели разрушить блокаду и установили контакты с

⁷⁸ Участвовал в походе против мавров, совместно с королем Арагона (Cart. Carcas., v. 5, p. 234).

⁷⁹ Между 1114 и 1123 годами тулузский престол узурпировал Гильём Аквитанский.

⁸⁰ HGL, t. 3, p. 650; «Anno Domini M^oC^oXX... Carcassona negata est viscomite Bernardo-Atonis ab hominibus ejusdem urbis».

⁸¹ Каркассонцы привлекают на свою сторону герцога Аквитанского и настраивают его против Бернара-Ата. Одновременно обращаются за помощью к графу Барселоны Раймуну-Беренжеру III.

⁸² Вместо имени сеньора города на монете отчеканено: «Carcassona civitates». Весь этот период монетная мастерская находилась под надзором городской коммуны, в лице одного из глав ее, рыцаря Арнауа Палайя (Serrand J. Origine du consulat dans la cité, le bourg de Carcassonne et les communautés avoisinantes. — Carcassonne et sa région, p. 158).

жителями округа⁸³. Но главное — городская община осознала себя как самостоятельного суверена.

Восстание было подавлено виконтом Тренкавелем только с помощью войск тулузского графа Альфонса Журдена в 1124 г.⁸⁴. Горожане были приведены к присяге⁸⁵. Начались жесточайшие репрессии. У нас данные только о том, как были наказаны мятежные рыцари Ситэ. Они изгоняются из города, их имущество конфискуется⁸⁶. Вместо них Бернар-Ат призывает 16 мелких дворян округа к несению военной службы в крепости, сначала в течение 4—8 месяцев в году, а затем и 12 месяцев⁸⁷. Виконт поселил новых рыцарей в крепостных башнях и наделил каждого ленным владением из конфискованного имущества прежних рыцарей Ситэ, таким образом создав слой привязанных к сеньору и обязанных служить ему верных вассалов⁸⁸.

В этих действиях сеньора очевидно не только опасение новых восстаний, на случай которых создавалась постоянная военная сила подавления, но также стремление расколоть союз рыцарей и горожан Каркассона и, значит, косвенное подтверждение реальности этого союза в событиях 1120—1124 годов.

Итак, второе антифеодальное выступление горожан Каркассона против их сеньора закончилось поражением. Но единство всех слоев городского населения, вооруженный характер выступления, антисеньориальная его сущность, существование в течение 4-х лет самоуправляющейся коммуны позволяют считать события 1120—1124 гг. апогеем первого этапа коммуналного движения в Каркассоне⁸⁹. И хотя этот начальный этап окон-

⁸³ На это предположение наталкивают находки монет нового каркассонского чекана в Арзенсе, городке Каркассэ (ibid.).

⁸⁴ HGL, t. 3, p. 655.

⁸⁵ HGL, t. 5, col. 917, 919; Cart. Carcas., t. 5, p. 256.

⁸⁶ HGL, t. 7, note 46, p. 141; HGL, t. 5, col. 921—926. Ограниченность числа репрессированных рыцарей (16) не позволяет считать восстание 1120—1124 гг. просто рыцарским, сепаратистским выступлением.

⁸⁷ HGL, t. 7, note 46, p. 141; HGL, t. 5, col. 921, 926.

⁸⁸ Вот пример подобного дарения Арно Пеларало: «Sic donamus tibi ad fevum et proprite castellaniam in tali convenientia ut per quemque annum cum tuis hominibus et tua familia factas stationem in Carcassona per 8 menses et predictam turrem custodire et gaitare facias omne tempora ut ipsam urbem custodias» (Cart. Carcas., v. 5, p. 237—239).

⁸⁹ По сравнению с ходом коммуналной борьбы в других городах провансальского юга, в Каркассоне она началась значительно раньше. В Безье в 1131 г., в Монпелье в 1141—1143 гг., в Нарбонне в 1148 г., в Тулузе в 1189 г. и т. д. (Castaldo A. Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc. Paris, 1974, p. 687).

чился поражением, он подготовил почву для дальнейшей освободительной борьбы горожан⁹⁰.

А. А. Сванидзе

СУД И ПРАВО В ШВЕДСКИХ ГОРОДАХ XIII—XV ВВ.

Проблема городского сословия — в ее экономическом, социальном, политическом и правовом аспектах — одна из наиболее сложных и важных в средневековой истории. Она важна вследствие той огромной (и еще до конца не ясной) роли, которую города и городское сословие сыграли в судьбе феодальной формации — в ее развитии и разложении. Она сложна из-за многогранности, социальной и функциональной пестроты самой городской жизни и ее связей с окружающей общественной средой. Каждая из таких граней и связей требует своего конкретного рассмотрения.

Средневековые шведские города не знали таких вольностей и привилегий, как многие города европейского континента. Их политическое положение в период классического средневековья было еще более подчиненным и подконтрольным, чем положение английских городов XIII — начала XIV века, и это обстоятельство является, в сущности, главным аргументом большинства шведских историков в пользу выдвигаемого ими положения о слабости средневекового шведского города. Однако более убедительными представляются аргументы Е. В. Гутновой, которая усматривает причину подобного же своеобразия политической жизни английских городов в наличии в стране уже в ранний период относительно сильной центральной власти¹. То, что процесс государственной централизации, способствовавший экономическому развитию городов, в то же время приводил к ограничению их политической роли, подтверждается материалами из истории других стран Европы. Это верно и в отношении Швеции, с ее ранней государственной централизацией, свободным крестьянством, пожизненностью ленов и относительно немногочисленной феодальной знатью.

⁹⁰ Второй этап его будет рассмотрен в следующей статье.

¹ Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента (Из истории английского общества и государства в XIII веке). М., 1960, с. 203.

Тем более что формально почти все города тогда принадлежали короне. Правда, в практической жизни города испытывали давление со стороны местных светских и духовных господ, ленников короля и губернаторов областей². Но характер и результаты борьбы городов за привилегии, муниципальное устройство шведских городов во многом определялись формальным отсутствием частно-сеньориального режима.

Наиболее отчетливо подчиненное, несамостоятельное положение шведских городов проявилось в области их управления и юрисдикции. Предлагаемая статья посвящается одному из аспектов муниципальной истории городов и городского сословия Швеции — вопросу о правах шведских горожан, преимущественно в период развитого феодализма. Он рассматривается здесь в свете данных о суде и правопорядке, главным образом на материале законодательно-правового характера, причем исходящем от центральной власти.

Известно, что сфера муниципального строя, в том числе городского права и судопроизводства, является одной из любимых в буржуазной урбанистике. Шведские ученые также сравнительно много писали о городском праве страны. Уже в первой обобщающей работе по истории шведских городов — книге К. Т. Уднера «К истории городов и городского сословия до 1633 г.»³ сюжет городского права получил доминирующие позиции. Проводя идею, что развитием своих городов Швеция обязана немецкому влиянию и королевскому покровительству, автор само это развитие видел прежде всего в формировании и эволюции городского права. Скрупулезный анализ последнего разворачивается в книге в двух направлениях: как отношение городского права — в качестве частного или иммунитетного — к всеобщему праву или идее государства, и в плане поисков генетических корней, прототипов, аналогий самих правовых норм. Связи между внутренней (особенно социально-экономической) историей городов и складыванием их правопорядка в книге специально не рассматриваются.

Заметной вехой в изучении шведского города явились труды А. Шюка, с наибольшей полнотой развившего на скандинавском материале теорию А. Пиренна. Его капитальная книга «Исследование о возникновении и раннем этапе развития

² Подробнее об этом см.: Сванидзе А. А. Городские хартии и распространение муниципальных привилегий в шведских городах середины XIII—XV веков. — В кн.: Средние века, вып. 35. М., 1973.

³ Odhner C. T. Bidrag till Städernas och Borgareståndets Historia före 1633. Uppsala, 1860.

шведских городов»⁴, которая обнимает период с VIII по XIII вв. и содержит экскурсы в историю городского строя XIV—XV вв., содержит множество ценных фактов и замечаний о различных сторонах генетики средневекового города. А. Шюк впервые в шведской историографии поставил на главное место при определении города его экономико-социальную характеристику. Второй стороной шюковского определения является сфера права, обеспечившая, по его мнению, единство города как общественного организма. Но поскольку экономическая жизнь города заключалась, по мнению ученого, прежде всего в торговле, особенно внешней, то и в области права его интересовало главным образом правовое оформление купеческого сообщества. Именно с этих позиций А. Шюк подробно проследил этапы муниципального оформления ранних шведских городов, формирования городского и торгового права. Большую роль в возникновении и развитии шведских городов он также отводит королевской власти, которая не только основала наиболее значительные города страны, но и стремилась создать все (в том числе правовые) условия для их процветания⁵.

Исследование Шюка стало возможным благодаря результативным археологическим и конкретно-историческим исследованиям конца XIX — начала XX вв. и, в свою очередь, дало сильный толчок серии работ по истории отдельных городов, как крупных, так и (хотя в меньшей мере) незначительных и мелких, жизнь которых почти не отразилась в документации до XV—XVI вв. Хотя в этих работах все более закрепляется представление о городе как центре коммерческой и вообще общественной жизни средневековой Швеции, однако главное внимание в них и теперь уделяется формированию муниципальных учреждений, порядков и городского права, поискам их германских прототипов⁶. Наибольшее внимание в ряду

⁴ Schück A. Studier rörande det svenska stadsbebyggelsens uppkomst och äldsta utveckling. Stockholm-Uppsala, 1926.

⁵ Schück A. Op cit., s. 1—2, 4, 53—54, 81.

⁶ Ahnlund N. Sundsvalls historia, del. 1. Stockholm, 1921; Bengtsson Ch. En bok om gamla Vadstena. Söderköping, 1921; Steckzen B. Umeå stads-historia 1588—1888. Umeå, 1922; Schück A. Skänninge stads historia. Linköping, 1929; Almquist H. Göteborgs historia, 1.2. Göteborg, 1929, 1935; Lindberg F. Västerviks historia 1275—1718. Stockholm, 1933; Hildebrand K.-G. Falu stads historia 1641—1687. Falun, 1946; Weibull C. Göta älvs myning. Göteborg, 1950; Forsell N. Borås stads historia, I, II. Borås, 1952, 1953; Beckman N. Vägar och städer i medeltidens Västergötland. En topo-

этих работ заслуживает исследование Н. Анлунда «История Стокгольма до Густава Васы»⁷. В рамках главной задачи автора — описания политической истории города в связи с политической историей страны и процессом государственной централизации — значительное место в его книге занял и анализ развития общегородского и торгового права.

Итак, проблема публично-правового оформления средневекового шведского города имеет не только давнюю традицию, но и ряд решений, освещающих различные стороны общественного места и роли городов и горожан. Более всего сделано для определения генетики городского права Швеции, его соотношения с общим правом, особенно выявления прав города применительно к его жителям и лицам, связанным с городом деловыми интересами и т. п. Менее всего, пожалуй, сделано для определения круга прав самих горожан, и особенно для выработки социально-дифференцированных оценок в отношении городского управления и правопорядка.

Многое в содержании и характере работ по шведскому городу и сословию горожан определяется особенностями и крайней ограниченностью источников. Во-первых, документальные свидетельства здесь (как и по истории в целом) появились относительно поздно: до XIII в., когда были записаны областные законы страны и ее первый городской судебник, письменные материалы поистине ничтожны. Вещные же памятники, достаточно обильные и позволяющие проследить материальные стороны городской жизни вплоть до самых ранних их истоков, в реконструкции муниципального устройства, области права и правовых институтов помочь почти не могут. Далее, вплоть до XVI в., в муниципальной истории городов Швеции преобладает публично-правовая документация: государственные законы и хартии, судебники и решения городских магистратов по судебным делам, различные уставы. Характерно, что среди этой документации, в свою очередь, преобладают материалы, исходящие от центральной власти, прежде всего

grafiskt-historiskt utkast. — «Göteborgs Handlingar», 1916. См. монографии Мюберга Х., Мюнте Г., Уден Б., Коппе В., Андерссона Б., Ханссона Х. (о Стокгольме), Хассельберга Г., Экхоффа Э. (о Висбю), Селлинга Д. (о Кальмаре), Уггласа С. Г. (о Людосе), Лангенфельда Г. (о Векше), Крафта С. и Линдберга Ф. (о Линчёпинге), Льюнда Х. (об Уппсале) Элфстранда П. (об Евле), Люберга Э. (о Фалуне), и др., а также популярные книги С. Льюнга (S. Ljung) по истории Сёдерчёпинга (1949), Арбуги (1949), Упсалы (1954), Енчёпинга (1963) и др.

⁷ Ahnlund N. Stockholm historia före Gustav Vasa. Stockholm, 1953.

общие уложения и хартии. Выходящий за этот круг более разнообразный материал, имеющийся по Стокгольму (налоговые описи, земельные книги и протоколы городского магистрата) и некоторым другим городам (протоколы городских магистратов Арбуги, Йёнчепинга, Кальмара, некоторые дипломы и др.) в подавляющем большинстве касаются лишь последних десятилетий интересующего нас периода и освещают прежде всего историю столицы⁸. При таких условиях муниципальная история, особенно отдельных городов, выглядит как повторение общих норм государственного и городского законодательства, с «добавлением» одной или нескольких хартий, жалованных специально данному городу или группе городов. И все-таки то особое место, которое в серии государственных законодательных уложений занимает законодательство о городе, свидетельствует о важной роли города в средневековом шведском обществе.

Так, в XIII в., в период кодификации обычных областных законов, был записан и городской судебник Биркрэттен⁹, развившийся из права торговых стоянок и к этому времени уже превратившийся в свод городских прав и привилегий. Вопросы юрисдикции и правопорядка занимают в Биркрэттене одно из основных мест, рисуя некоторые особенности молодого шведского бюргерства, права и обязанности, отражающие роль этого нового общественного слоя.

Биркрэттен действовал в шведских городах до середины XIV в.¹⁰, когда в стране прошла новая волна законодательных установлений. В 1347 г., во время правления короля Магнуса

⁸ Здесь и далее речь идет об опубликованных документах (см. о них в кн.: *Сванидзе А. А.* Ремесло и ремесленники средневековой Швеции, XIV—XV вв. М., 1967, с. 14—25). Архивы шведских городов много богаче.

⁹ Первое издание Биркрэттена было предпринято еще в конце XVII в. (*Björkå Rätten*. Utg. av J. Hadorph. Stockholm, 1687); затем он был переиздан в середине прошлого столетия в известной серии «Собрание древних законов Швеции» (*Samling af Sweriges Gamla Lagar*. Utg. af C. J. Schlyter (далее — Schlyter), v. VI; *Björkå Rätten*. Lund, 1844 (далее — Bjr.). Комментированный перевод Биркрэттена на современный шведский язык см. в серии: *Svenska landskapslagar*. Utg. av Å. Holmbäck och E. Wessén. Ser. 5. Stockholm—Uppsala, 1946. О названии, истории и содержании этого судебного кодекса см.: *Сванидзе А. А.* Из истории городского строя Швеции XIII в. — В кн.: *Средние века*, вып. 28, М., 1965.

¹⁰ Согласно хартиям, последним городом, получившим Биркрэттен, был г. Йёнчепинг (*Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer*. Del. 1. 1251—1523. Utg. av N. Herlitz. Stockholm, 1928 (далее — *Privilegier*), № 36 (1349 год).

Эрикссона, был кодифицирован первый общешведский свод законов (*Landslag*, «Закон страны»), имевший целью унифицировать, подчинить единой идее право исторических областей страны, а также привести их в соответствие с новыми нормами, развившимися к середине XIV века¹¹. Этот Ландслаг действовал до мая 1442 г., когда вступило в действие новое государственное уложение (короля Кристофера)¹², явившееся, однако, лишь частичной переработкой и расширением Ландслага Магнуса. Городская жизнь также получила некоторое освещение в обоих Ландслагах, но связанные с нею вопросы сконцентрированы в специальном «Законе городов» (*Stads-lag*), принятом между 1350 и 1375 гг.¹³

Во много раз превосходя Биркрэттен по номенклатуре решаемых вопросов (и почти сравнявшись с Ландслагами по общему объему материала), Стадслаг «подвел итоги» развития городов к середине XIV в. Он состоит из 16 глав; из них специально о суде и правопорядке в городах говорит гл. 8 («О судопроизводстве» — *Radzstuffwu balker, RB*¹⁴), но и другие главы так или иначе касаются этих вопросов. Городское уложение Магнуса Эрикссона оставалось основным законом для шведских городов до первой половины XVII в., обогащаясь по мере хода времени дополнениями и поправками, которые вносились в основной текст Стадслага, в его отдельные списки или оформлялись путем особых указов и привилегий.

Хартии королей и правителей Швеции, содержащие привилегии отдельным или всем городам страны, на протяжении XIII—XV вв. появлялись все чаще. Известно (и по большей части издано) более 500 хартий городам¹⁵. Из них немногим

¹¹ *Konung Magnus Erikssons Landslag*. — Schlyter, v. X, 1862 (далее — М. Е. Landslag).

¹² *Konung Christoffers Landslag*. — Schlyter, v. XII, 1869 (далее — К. Landslag).

¹³ *Konung Magnus Erikssons Stads-lag*. — Schlyter, v. XI, 1865 (далее — *Stads-lag*).

¹⁴ Здесь и далее сокращение наименований глав дается согласно принятому в литературе порядку.

¹⁵ Помимо публикации Н. Херлитца (*Privilegier...*), хартии городам включены и в некоторые другие издания: сборники дипломов или сборники документов по истории отдельных городов (см.: *Сванидзе А. А.* Ремесло и ремесленники, с. 17). При подсчете общего числа хартий мы учитывали готландский город Висбу, города финских провинций (тогда подлежавших власти Швеции), а также областей Сконе, Халланд и Блекинге, которые, входя по большей части в состав Дании, испытывали большое воздействие шведских распоряжений, особенно в период полуторастолетней Кальмарской унии.

более 330 содержат данные о городских вольностях, перечень новых или подтверждение старых привилегий, либо какую-нибудь косвенную информацию о них¹⁶.

Специальный анализ сохранившихся хартий, их содержания и распределения по городам страны показал¹⁷, что привилегии городам, содержащиеся в хартиях, никогда не превышали нормы, зафиксированной в Биркрэттене, а затем в Стадслаге. Наибольших привилегий добивались города, сумевшие получить хартию на полное городское право, т. е. подпасть под действие общегосударственных городских законов. Такие города именовались «торговыми городами» (*köpstad*), в отличие от не имеющих полных городских прав «торговых местечек» (*köping, villa forensis*). Из 52 городов страны, обозначенных в сохранившихся документах и получивших до конца XV в. хартии-привилегии, лишь 40 стали полноправными: три — в XIII в., 14 — в XIV в. и еще 23 — в XV в., остальные же города получали лишь отдельные привилегии.

Что же касается содержания самих прав и привилегий, то в этом вопросе, как в вопросе о любых общественных нормах, надлежит различать две стороны. Первая — это официальные установления, закрепленные в законодательных документах. Имея в виду происхождение Биркрэттена и Стадслага, можно заключить, что эти документы отражают наиболее «разработанные», зрелые, терминологически и нормативно отстоявшиеся итоги соглашения по поводу городов и бюргерства, достигнутого между самим бюргерством и верховной властью. И для реконструкции этой стороны публично-правовой жизни шведских городов данные кодексы, безусловно, — главный и вполне достоверный источник. Другая сторона вопроса — это реальное воплощение формальных статей, их соотношение с практикой повседневной жизни, с обычными нормами. Таких фактов у нас крайне мало, что, конечно, сужает обзор, позволяя судить более уверенно о том, каким обществом, те или иные его слои, социальные ячейки, учреждения желали себя видеть, нежели о том, каковы они были в действительности.

¹⁶ Остальные содержат либо подтверждение более ранних, часто нам неизвестных привилегий, либо предписания хозяйственного характера, к нашему сюжету не относящиеся. Текст некоторых хартий вообще не сохранился.

¹⁷ Сванидзе А. А. Городские хартии и распространение муниципальных привилегий в шведских городах с середины XIII по XV в. — В кн.: Средние века, вып. 35. М., 1972.

Органы судопроизводства в шведских городах были тесно сращены с органами городского управления в целом, поэтому прежде всего надлежит коротко обрисовать систему муниципального устройства городов. Последняя состояла из четырех главных элементов: 1) городской тинг (*byating, byamot, communitas civium*), т. е. какое-то собрание горожан; 2) городской совет (*råd*), состоящий из выборных советников; 3) выборные бургомистры; 4) управляющий — фогд.

Решающая роль во всех городских делах в XIII в. принадлежала королевскому фогду, который в числе прочих дел принимал участие также в судебных разбирательствах и утверждал все решения городских властей¹⁸. Решающая роль королевской власти в городах, осуществляемая через королевских фогдов, явилась результатом укрепления государства, государство же в Швеции укрепилось¹⁹ раньше, чем выросли и в масштабах общества заявили о себе города. Поэтому в том же XIII в. и позднее уже происходил, как это видно из наших документов, процесс некоторого отступления короны с позиций прямого и безоговорочного утверждения своего диктата в городах. Об этом процессе свидетельствуют, в частности, изменения в порядке замещения должности фогда.

Вообще наши документы употребляют обычно термин «королевский фогд», «наш (т. е. короля. — А. С.) фогд» или просто «фогд» (*fogde, konungs fogde, vor fogde*). Но по существу фогды делились на две категории: городские фогды, специально назначенные королем для службы в городе, и поместные или дворцовые (замковые) фогды, управлявшие городом наряду с замком и усадьбами короля, расположенными в данном районе. Право иметь «своего» фогда, закрепляющее собственную юрисдикцию городов, отличную от юрисдикции херада (сотни), возникло, судя по всему, еще до XIII в. и входило в право *villa forensis*. Затем оно стало распространяться на все города, получающие Биркрэттен, позднее — Стадслаг, т. е. на все полноправные (или «торговые») города. В XIV в. города стали активно добиваться большего: права иметь выборного фогда. Привилегия выбирать фогда не входила в число прав торгового города и встречалась нечасто: в XV в. ею обладало вряд ли многом более 25 городов²⁰. Выборный фогд (*byfogde*)

¹⁸ О позициях государства в городах см., например: Bjr., б. 4, 8, 21.

¹⁹ Ср.: *Arbman H. Birka. Sveriges äldsta handelsstad*. Stockholm, 1939, s. 35 f.

²⁰ *Privilegier*, № 53, 67, 79, 90, 96 mm.

утверждался королем, но выдвигался он из числа горожан и мог быть смещен бургомистрами и советом²¹; он не мог без участия городского совета вершить суд²² (что, вероятно, позволял себе поместный фогд) и вообще более всего занимался финансовыми вопросами, интересовавшими казну.

По мере умаления власти королевского фогда главным органом управления в шведских городах все более становился городской совет (*råd*), который существовал во всех полноправных городах и избирался по традиции 22 апреля; тогда же избирались и бургомистры (или консулы). Большие города могли избирать по 30—36 членов совета-родманов (проконсулов) и по 6 бургомистров, меньшие — по 28, 24, 12 и даже 6 родманов и по 4—2 бургомистра. Выборы происходили как ежегодно, так и, в зависимости от численности совета, раз в 2—3 года; в последнем случае члены совета и бургомистры правили поочередно, так что их состав ежегодно сменялся целиком, на $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{3}$ ²³. Городской совет избирался в присутствии фогда, утверждался королем, и даже в XV в. король подчас мог влиять на состав родманов и бургомистров, добиваясь смещения неугодных ему лиц²⁴.

Городские советы, помимо законодательной и административной власти в пределах города и его округа, обладали также и судебной властью, разбирая всякого рода тяжбы. Поэтому для нашего сюжета особое значение приобретает вопрос о порядке замещения и составе городского совета и бургомистров. В Биркбрэттене сведений по этому вопросу не содержится. Стадслаг также не раскрывает порядок выборов, но состав и социальный характер органов городской власти характеризует достаточно отчетливо.

Членом городского совета или бургомистром мог быть только оседлый, полноправный бюргер, имевший в городе наследственную недвижимость и безупречную репутацию. Но прак-

²¹ Privilegier, № 72 (Вестервик, 1421), 356 (Уддевалла, 1498).

²² Privilegier, № 270 (Хальмстад, 1327).

²³ Bjr, b. 12 (§ 3, 4), 14; Stadslag, KgB, b. 1, 2, 3, 6; Privilegier, № 7, 43; Malmö stads urkundsbok. Utg. av L. Weibull. Bd. 1. Malmö, 1917 (далее — MSUB), s. 6(1360 г.); Jönköpings stads tänkebok, 1456—1548, hf. 1. Utg. av Ramm A. Jönköping, 1907, s. 35; Sylvander G. V. Kalmar stotts och stads historia, afd. 1. Kalmar, 1865, s. 55, 59; Lindberg F. Västerviks historia, s. 28—29.

²⁴ Так, г. Ландскруна был на полном городском праве с 1413 г., но еще в привилегиях 1440 г. особо оговаривается право короля назначать и смещать там бургомистров (Privilegier, № 285, 299). Правда, Ландскруна была очень важной в стратегическом отношении крепостью.

тически круг лиц, из числа которых формировались органы городского самоуправления, был гораздо уже. Детальное исследование состава городских муниципалитетов в XIV—XV вв., проведенное шведскими историками (на материалах главным образом Стокгольма и ряда других городов), показало, что места в городских советах были заняты по преимуществу крупными купцами-экспортерами, обладавшими недвижимой собственностью не только в городах, но и в деревне; в меньшей мере там участвовали представители привилегированных ремесел, в частности, ювелиры. И, наконец, там были представлены городские домо- и землевладельцы. Рядовые ремесленники вовсе не включались в городские советы таких крупных городов, как Стокгольм, Сёдерчёпинг, Кальмар, и лишь эпизодически попадали в муниципалитеты прочих городов, причем, чем крупнее был город, тем более узким (по количеству представленных семей) и избранным (по социальному статусу членов) был городской совет²⁵.

Биркбрэттен предписывает судить все правонарушения, имевшие место в городе, лишь по городскому праву; он требует наказывать каждого, кто, не удовлетворившись решением суда в том городе, где было совершено правонарушение, пытается добиться пересмотра дела в другом городе. Жители данного города обладали правом судиться лишь в родном городе и могли требовать передачи дела туда в тех случаях, когда нарушали закон в ином месте. Иначе говоря, житель города, обладавшего судебным иммунитетом, имел право и был обязан подлежать судебному разбирательству в своем городе и по его обычаям. За соблюдением этого круга прав-обязанностей горожан органы муниципалитета следили очень строго²⁶.

²⁵ Anteckningar om Norrköping stad, del. 1. Utg. av F. Hertzman och L. Ringborg Norrköping, 1851, s. 29; Sjöden C. C. Op. cit.; Ruuth J. W.

Bidrag till Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. Hf. 1. Helsingfors, 1909, s. 100—102; Lindberg F. Op. cit., s. 29—30. Уже в Стадслаг предписывается, что среди бургомистров и родманов не должно быть братьев (родных?) и может быть не более четырех (!) членов одного рода (slekt). — Stadslag, KgB, b. IV. Не исключено, что в связи с этим несколько уменьшалось и число членов городских советов: не желая допускать в советы лиц из средних и низших слоев населения, представители крупного купечества уже не могли «набрать» прежнего числа советников, не нарушая постановление Стадслага об ограничении семейных связей в городских муниципалитетах. Поименные составы городских проконсулов и высших чиновников известны лишь по Стокгольму XV в. (Stockholms stads ämbetsbok 1419—1544. Utg. av J. A. Almquist. Stockholm, 1927).

²⁶ Bjr, b. 4, 13, 14 (§ 9, 10), 32 (§ 1) o. a.

Судебные функции принадлежали городскому совету, на заседаниях которого вершился и суд. Его производили бургомистры и советники в присутствии фогда. Возможно, что среди родманов уже были особые судьи (*domare*), т. е. лица, выполнявшие в органах городского самоуправления специфически судебные функции. Лица, недовольные решением их дела городским советом (*inför sittande råd*), на основании городского права имели право апеллировать к другим инстанциям: требовать публичного разбирательства дела на городском тинге (*almänningx byämot*) и даже требовать публичного оглашения соответствующих глав канонического права (*biskopens lagbok*) и «другого записанного права»²⁷ (видимо, земского — областного или общегосударственного). Таким образом, в пределах судебных прав города его конкретные решения по делам, касающимся местных жителей, не должны были кардинально расходиться с лишь недавно кодифицированным обычным правом и церковными законами.

Что касается тинга, то в XIII в., судя по ряду предписаний Биркрэттена, он имел главным образом именно судебные функции²⁸. На нем разбирали прежде всего дела, связанные с кредитными и долговыми обязательствами, с отчуждением наследственной земли и другими хозяйственными и коммерческими делами частных лиц (но не города в целом)²⁹. Круг вопросов, выносившихся на тинг, показывает, что это общее собрание граждан было наиболее древним судебным органом в городе, перешедшим туда еще из догородской общественной организации. Об этом же свидетельствует и обычай прочтения там областных законов и судебного канонического права. В XIII в., как это видно из законодательства, тинг все еще играл значительную роль, хотя, возможно, и меньшую, чем это видно из записей Биркрэттена, фиксирующих традиционные нормы.

Состав городского тинга неясен. Биркрэттен именует его *almänningx byämot* — «общее собрание горожан». Можно предположить, что тинг в шведских городах в то время действительно представлял все юридически дееспособное население, т. е. полноправных бюргеров. О публичном характере тинга, как широкого сборища на площади, свидетельствует и процедура «оглашения», которая применялась, например, к зло-

²⁷ Bjr, b. 7.

²⁸ Сванидзе А. А. Городской строй Швеции XIII в. — В кн.: Средние века, вып. 28. М., 1965, с. 85—86.

²⁹ Bjr, b. 1, 37.

стым должникам (которых призывали к уплате долга «на трех тингах») ³⁰. Участие в тинге, в свою очередь, также было правом-обязанностью горожанина.

Законодательство XIV в. и хартии XIV—XV вв. сохранили о суде и правопорядке в отношении горожан несколько больше сведений. Так, из Стадслага явствует, что все текущие дела горожан разбирались на особых заседаниях, которые собирались до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и субботам). Судебные сессии были двух типов³¹: основная сессия, по-прежнему проводившаяся в самом магистрате (*inne a Radhstufwonne*), и выездная сессия, которая собиралась в те же дни «на торге» (*a torgheno vte*), — вероятно, на главной (она же рыночная) городской площади. Эти сессии собирались в разном составе. В магистрате судили фогд, бургомистры и родманы, отправлявшие должности в текущем году; на повестку дня каждой сессии выносилось обычно не более трех дел. Суд на торге вершили три лица; из них один был уполномоченным фогда и, таким образом, представлял там короля, а двое других были представителями «от города» (*a stadzens waeghna*). Эти двое «от города» (до реформы 1471 г. — один швед и один немец³²) и были городскими судьями. Суд на торге разбирал жалобы в порядке поступления и не более одной на каждом заседании³³.

Компетенции обоих судов — *in pleno* и выездного — была различной. Это вытекает не только из их состава, но и из порядка апелляции по судебным решениям. Так, лицо, не удовлетворившееся решением суда на торге, могло обратиться за пересмотром дела «к фогду и родманам», внеся обязательный залог в 2 эре наличными. Если суд *in pleno* подтверждал решение выездного суда, жалобщик терял свой залог, который делился поровну между фогдом, бургомистрами и родманами. Если же магистрат удовлетворял жалобу, пострадавший забирал свой залог и, кроме того, получал 1/2 марки, как бы «в возмещение обиды», причем эти деньги собирались поровну с фогда, бургомистра и родманов³⁴.

³⁰ Bjr, b. 1, 37.

³¹ Stadslag, RB, b. II, V.

³² О национальном составе городских магистратов Швеции того времени, населения городов вообще и эволюции национального вопроса в связи с экономическим и политическим развитием страны см. в нашей статье «К исследованию демографии шведского города XIV—XV вв.», ч. II (Средние века, вып. 32, 1969, с. 220—227).

³³ Stadslag, RB, b. I, II, V, XI.

³⁴ Stadslag, b. V, § 1.

Недовольный судом *in re*по также имел право апелляции, но уже к «суду короля»; такая апелляция была возможна в течение 8 дней после приговора и сопровождалась внесением залога в 20 марок деньгами или материальными ценностями. Одновременно вносили залог в 40 марок фогд, бургомистры и родманы, вынесшие оспариваемый приговор, которые, таким образом, выступали здесь уже в качестве коллективного ответчика. Выигравшая сторона забирала оба залога³⁵.

Большой залог с пострадавшего — при сомнительном исходе дела — превращал королевский суд в малодоступную инстанцию для подавляющего большинства городского населения. Поэтому тот, «кто не удовлетворился судом фогда и бургомистров, но не хочет прибегать к королю», имеет еще одну возможность получить правосудие: он просит «прочитать в своем присутствии городскую книгу» (*bidher stadzens book laesa fore sik*). Проситель при этом выкладывает 5 эре наличными «на стол перед фогдом и бургомистрами» (которые затем делят эти деньги между собой, выделив 1 эре городскому писцу). И после этого «пусть городская книга будет прочитана» (*ok laesi stadzens book*)³⁶.

Здесь не вполне ясно, за что платит свои 5 эре лицо, апеллирующее к тексту городского закона, т. е. текста Стадслага, хранившегося в данном городе: то ли это плата за самое чтение городской книги и потраченное на это время и труд (читал книгу, видимо, городской писец)³⁷, то ли обычный при апелляциях залог. Но в Стадслагге не оговорено, что получает жалобщик в том случае, если приговор не совпадает с указаниями городского закона, и чем должны в этом случае полатиться неправые судьи. И само указание «пусть городская книга будет прочитана» (после распределения 5 эре) имеется не во всех текстах Стадслага.

Кроме того, в Городском уложении есть следующая примечательная запись: если кто-либо просит суда у фогдов, бургомистров и совета, просьба должна быть удовлетворена не позднее третьего заседания, считая со дня заявления. Однако дело может быть неясным, спорным; в этом случае родманы должны предварительно провести его коллективное расследование, но так, чтобы само судебное разбирательство было отложено не более, чем на одно заседание. В случае большей

³⁵ Stadslag, RB, b. III, IV.

³⁶ Stadslag, RB, b. VI.

³⁷ Stadslag, s. 191, anm. 28, 29.

задержки фогд, бургомистры и совет платят штраф истцу, городу и королю, если только они не сумеют объяснить эту задержку тем, «что они не знали закона, или что этот закон не записан (в городскую книгу?)»³⁸.

Конечно, можно допустить, что некоторые члены совета, особенно избранные впервые, не знали досконально всех предписаний Стадслага. Но в данном случае более интересно другое замечание: о том, что тот или иной «закон» не вписан в Городское уложение. Нет никаких сомнений в том, что в гражданских и уголовных разделах Стадслага, составленных по принципу записи обычного права и представлявших собою перечень отдельных, вероятно, наиболее типичных, казусов, не могли быть предусмотрены все возможные варианты правонарушений, особенно связанные с новыми ситуациями, возникающими по мере развития городской жизни. И если спорный случай не находил аналогий в письменном тексте Городского уложения, суд, вероятно, руководствовался обычным правом в его устной традиции. Интересно, что хотя предписание об ежегодном публичном чтении «книги городского закона» (*stadzens lagh book*), т. е. принадлежащей данному городу рукописи Стадслага, вписано в Стадслаг как обязательное, в XV в. оно уже могло быть обойдено. Так, в хартии Стокгольму от 1436 г. в числе других привилегий и предписаний говорится о праве города в известных случаях судить «без книги (городского?) закона»³⁹.

Теперь отчасти становится понятной нечеткость главы об апелляции к городскому закону. Действительно, если устная традиция городского права применялась наряду с его записью, какова могла быть гарантия того, что городской суд, согласившись (за определенную плату) еще раз прослушать текст Городского уложения, не сможет доказать, что данный казус там отсутствует и был решен судом на основании не вписанной в Стадслаг (старой или новой) традиции, допускающей именно такое решение? Таким образом, хотя по закону каждый горожанин был вправе опротестовать судебное решение на основании Городского уложения и даже апеллировать к королю, практически исход дела почти целиком зависел от городского суда, так как «суд короля» был доступен лишь богатой городской верхушке (или иностранным купцам, обычно связанным с нею многими узами), а «чтение городского закона» могло

³⁸ Stadslag, RB, b. XIII.

³⁹ Privilegier, № 79.

быть превращено в формальность. Эта формальность была даже удобна для городских властей, так как давала им возможность продемонстрировать свою готовность к соблюдению справедливости и переложить вину за неправый суд с самих судей на обычаи страны.

Не исключено, что городские власти с большой охотой поддерживали традицию об апелляции, и не только из демагогических соображений. Так, Стадслаг запрещал брать за опротестование судебного решения, вынесенного на торге, залог свыше 2 эре⁴⁰ и особо оговаривал, что залог лица, апеллировавшего к королевскому суду и проигравшего дело, должен быть поделен между теми членами магистрата, «которые судили», а тем, кто на данном заседании не присутствовал, ничего не причитается⁴¹. Проигранные апелляции могли, таким образом, являться для фогда, бургомистров и родманов источником дополнительного дохода. А поскольку судебные и административные функции в городском управлении были совмещены и к тому же сосредоточены в руках сравнительно узкого круга городского патрициата, можно заключить, что система общего управления в сколько-нибудь значительных городах страны в XIV—XV вв. ставила массу городского населения в большую зависимость от наделенной властью городской верхушки, чем это следует из буквального прочтения городских законов.

Вместе с тем степень аристократизации городского строя не следует преувеличивать. Отсутствие крепостного права и сильные общинные традиции не могли не поддерживать авторитет общественного мнения, в том числе и в судебной сфере. Этому способствовал, во-первых, обычай приглашать сопряжников (до 12 человек), который создавал определенные препятствия судебному произволу. Во-вторых, в уголовных и гражданских судоразбирательствах существовала практика своего рода третейского суда. Так, если фогд, бургомистры и совет, т. е. городской суд *in pléno*, признали кого-либо виновным в совершении уголовного преступления, а ответчик отрицал свою вину («*hin sigher ney*»), то суд должен до вынесения приговора обратиться к двум горожанам для определения того, справедливо ли обвинение. Если истец оказывался клеветником, то его наказывали 40 марками штрафа (сумма, по тем временам, очень значительная) в пользу короля, города и от-

⁴⁰ Stadslag, b. V, § 1.

⁴¹ Stadslag, b. III.

ветчика. Если суд отказывался послать за этими двумя лицами-экспертами или картина преступления еще не полностью раскрыта («*kelleræg eig openbart*»), приговор вообще не может быть вынесен⁴².

Наконец, в разборе и решении ряда серьезных дел, влекущих за собою конфискацию имущества, тюремное заключение или лишение жизни, решающей инстанцией еще оставался городской тинг. Вопрос о роли тинга в шведском городе после XIII в. очень интересен и далеко еще не разъяснен. Стадслаг о тинге почти не упоминает. В гл. XVIII «Законов о воровстве» (*Thiuffwa balker*) говорится, что если кто-либо самовольно увел чужую скотину, взял лодку или корабль и причинил им ущерб, то истец должен повести виновного «на тинг или в городской совет», где это дело будет рассматриваться в соответствии с законами о воровстве⁴³. Предписание об обязательном ежегодном чтении в городе Стадслага, возможно, также является каким-то свидетельством о тинге — общем собрании горожан, где присутствуют и иностранные купцы («середина лета», когда надлежало читать вслух Стадслаг, — как раз время активной навигации на Балтике)⁴⁴.

Не исключено, что в некоторых крупных городах, для которых в первую очередь предназначался Стадслаг, прежде всего в Стокгольме, роль городского тинга в это время уже практически сошла на нет⁴⁵; в других городах он как-то слился с выездной сессией суда, собиравшейся на торге и, возможно, имевшей более публичный, гласный характер, нежели заседание в совете. Но так было не всюду. В привилегиях г. Сигтуне от 1350 г. особо оговаривается вопрос о проведении там «*placitacionum, dictos folklandzthing*»⁴⁶. В Вестервике, где был особый городской суд, большую роль играл тинг, но не городской, как в Сигтуне, а уездный⁴⁷. В больших сконских городах Лунде и Мальме в середине XIV в. городской тинг оставался «*exklusivt fogum*» для горожан: именно там они мог-

⁴² Stadslag, RB, b. X. Расследование, проводимое третьими лицами, было, в частности, обычным при взыскании долгов (*ibid.*, RB, b. XV; ср. *ibid.*, RB, b. XXI).

⁴³ Stadslag, ThjB, b. XVIII.

⁴⁴ В некоторых случаях иностранцев избавляли от штрафов за нарушение городских предписаний, если они «не знали городского закона».

⁴⁵ Н. Анлунд (*Stockholms historia*, s. 182) говорит, что тинг (*byamot*) в Стокгольме в рассматриваемый период был лишен власти, стал рудиментом.

⁴⁶ Privilegier, № 38.

⁴⁷ Lindberg F. *Västerviks historia*, s. 36.

ли не только высказать свое мнение по общим вопросам городской политики («swara på stadzens wårdande ährender»), но и изложить оправдания (talaen), избавляющие их от наказания, наложенного городским судом; спорные вопросы, затрагивающие интересы короны, также могли решаться лишь в совете либо на тинге и т. д.⁴⁸ В ряде случаев тинг оставался высшей судебной инстанцией вплоть до конца XV в.: именно так расценивается bytinget в привилегиях сконского города Хальмстада от 1498 года⁴⁹. Уклонение от явки на тинг вызванных туда лиц каралось штрафом⁵⁰.

В мелких и даже средних городах тинг, без сомнения, сохранялся дольше и прежде всего именно как судебная инстанция, особенно по вопросам высшей юрисдикции («королевского мира»), подпадавшей под общегосударственное законодательство, хотя в вопросах городского управления, в коммерческих и гражданских делах общее собрание бюргеров к XV в. в целом уже утратило свое решающее значение.

Не исключено, что сохранение тинга или, точнее, его значительных рудиментов, в шведских городах было в этот период одним из средств сопротивления со стороны бюргеров растущему влиянию городской верхушки, завладевшей и судебной властью в городах. Возможно, что сохранение тинга стало даже одной из форм борьбы за судебный иммунитет города. Ясно лишь, что эта традиция сохранялась и поддерживалась «снизу», а не «сверху». Очень характерно в этой связи, что данные о тинге по указанному периоду мы находим более всего не в Стадслагге, а в хартиях отдельных городов, где отражены их конкретные просьбы, связанные с реальными жизненными ситуациями каждого такого города (а не некоего «среднего» города, о котором поневоле вынуждено говорить общегосударственное городское законодательство). Из этого можно сделать вывод, что политика правительства была направлена на усиление роли суда магистрата, в противовес традициям общественного судебного разбирательства, что позволяло не только усилить контроль короны за жизнью горожан, но объективно означало поддержку власти городского патрициата. В свете данных о судопроизводстве союз городов и королевской власти в Швеции может расшифровываться как

⁴⁸ См. хартии Мальмё (1353) и Лунду (1361).—Privilegier, № 276, 278.

⁴⁹ Privilegier, № 347.

⁵⁰ MSUB, s. 48 (a. 1487).

союз королевской власти с городским патрициатом. Оставляя пока в стороне политическую и финансовую стороны этого союза, мы можем констатировать, что именно городской патрициат получал от правительства и реальную возможность пользоваться судом короны, и поддержку в усилении своей власти над рядовыми горожанами.

Однако позиция самого патрициата была сложной. Ведь усиление, например, городского суда означало и усиление вмешательства короны в дела города, в чем патрициат далеко не всегда был заинтересован. С другой стороны, городским верхам приходилось считаться с настроениями горожан, среди которых приходила их будничная жизнь, с определенными общественными традициями, взрывать которые было опасно, но которые можно было приспособить для своих целей, опираясь на авторитет денег и власти. Поэтому не исключено, что городская верхушка, уже тогда понявшая все выгоды излюбленного буржуа правила «золотой середины» и стремившаяся сохранить status quo, балансируя между силами нажима сверху и снизу, не противилась сохранению некоторых демократических норм городского быта; это и нашло отражение в выговариваемых ею хартиях, где среди судебных органов и инстанций, наряду с бургомистрами и советом, упоминается и «община» города⁵¹.

К этому следует добавить, что, судя по некоторым источникам, даже в XV в. и даже в полноправных городах сохранялось значительное влияние губернатора области, как представителя центральной власти⁵². В других же случаях — и нередких — города страдали от произвола местных землевладельцев, нарушавших права города, в том числе его судебную монополию и иммунитет⁵³.

Возвращаясь вновь к вопросу о компетенции городского суда (суда магистрата), мы можем констатировать, что он был двух-трех-ступенчатым. «Суд на торге» являлся низшей инстанцией, разбирал мелкие правонарушения, возможно, случившиеся там же, в этой наиболее оживленной части города.

⁵¹ Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 1314—1787. Utg. av Kjellberg C. M. Uppsala, 1907 (далее — USP), № 16 (1469 г.).

⁵² Так, за соблюдением границ марки г. Норрчёпинга в конце XIV в. должен был следить губернатор Эстерйётланда Эрик Карлссон (Anteckningar om Norrköping stad, s. 29; ср. Privilegier, № 58).

⁵³ Несколько подробнее см.: Сванидзе А. А. Городские хартии, с. 147—151.

«Суд в избе совета» разбирал более крупные дела, а непременно присутствие там фогда позволяло этому суду пользоваться рядом прав высшей юрисдикции⁵⁴, подлежащей суду короля. Последний в принципе мог служить высшей инстанцией и при решении других дел, но эта инстанция рядовым горожанам практически была мало доступна.

Какова была сфера действия городского суда? Прежде всего ему подлежали все постоянные жители города и городской округи («*innan sik stadz mark*») ⁵⁵. Как уже говорилось ранее, подлежать суду города было правом и обязанностью его жителей, и если какой-либо горожанин терял гражданство вследствие судебного приговора (например, по делу об убийстве), восстановить его в гражданских правах мог только тот же суд⁵⁶. Городскому суду подлежали также лица, временно проживавшие в городе и его округе (*wdenbyss man*), прежде всего, конечно, купцы (*gaest*). Привилегии в области суда включали также право вести судебное разбирательство и выносить приговор согласно городскому праву — «*stadsins gaett*» (о чем в иной связи также говорилось выше)⁵⁷. В 1335 г. это правило было весьма категорично сформулировано в привилегиях г. Упсалы: любой человек, «который проживает в городе и его округе, кто бы он ни был и у кого бы ни служил», судится по городскому праву: «*secundum sepedicte jus et consuetudinem approbatam*» (за исключением, конечно, представителей высших сословий)⁵⁸.

Подробнее всего вопрос о судебной монополии городов освещен в Городском уложении, где предусмотрены как различная гражданская принадлежность тяжущихся сторон (два горожанина, горожанин и иногородний, два иногородних), так и варианты местопребывания истца и ответчика в момент возникновения споры и в момент судебного разбирательства. Если два лица, независимо от их гражданской принадлежности, затеяли тяжбу во время пребывания в одном городе вне шведского государства, но не помирились до приезда в пределы

⁵⁴ Stadslag, RB, b. XXXV. Король был истцом лишь в случае государственных преступлений (предательство, злоумышление против короля или члена Гос. совета). В делах об убийстве, поджоге и колдовстве город выступал соистцом (Stadslag, HB, b. I—XI).

⁵⁵ Это было зафиксировано еще в Биркрэттене (Bjr, b. 32, § 1).

⁵⁶ MSUB, s. 16 (1360 г.). См. также Stadslag, RB, b. XII.

⁵⁷ Stadslag, RB, b. XII; MSUB, s. 17 (1360 г.), 55 (1487 г.).

⁵⁸ См. USP, № 4, и подтверждение этого правила в 1469 г. (там же,

городской марки какого-либо шведского города, то судиться и нести наказание они будут только по городскому праву Швеции судом первого же города, в который они прибыли. Судебные штрафы взимаются там же, и попытка уклониться от их уплаты строго карается⁵⁹.

Город также регулирует отношения между своими жителями и жителями деревни, отдавая предпочтение горожанам, как лицам в его глазах более надежным при всякого рода свидетельствах и более дееспособным. Если горожане заключают (между собой?) торговую сделку (*kör*) в деревне, то свидетелей надлежит брать в городе. Если сделка заключается между горожанином и жителем деревни, то свидетелей можно брать с обеих сторон. Жители деревни, ставшие очевидцами уголовного правонарушения, могут выступать по этому делу свидетелями, если они «оседлые люди» («*bofasta maen*»), но по делу «о деньгах и тому подобном, что к ним относится, жители деревни не могут быть свидетелями... [в городе]». Сельский житель может выступать в городе поручителем или брать в долг деньги (*skuld wm giaeld*), но только в том случае, если имеет письменное или устное свидетельство от горожан, подтверждающее его кредитоспособность. Если в городе он таких не найдет, то должен представить соответствующее письменное поручительство от приходской церкви (*prestens bref*), если он проживает в ближайшем приходе (*soknen*), либо от наместника херада (*haeratzhofdingians bref*), «если он из херада», и не менее 12 «добрых людей в качестве свидетелей (XII goda manne witna)». Если не имеет свидетелей, то оплачивает сделку наличными или его имущество конфискуется «в размере долга». Вообще же все кредитные операции и сделки между горожанами, как в городах, так и в деревне, оформляются исключительно в соответствии с городскими законами⁶⁰.

Таким образом, город рассматривает деревенских контрагентов как чужаков, их отношения со своими жителями подчиняет городскому закону и обставляет усложненными формальностями. «Неоседлые» (т. е. не имеющие своего хозяйства) жители деревни не являются для городского суда юриди-

⁵⁹ Если ответчик скрылся, за него платят поручители там же.

⁶⁰ Stadslag, RB, b. XXVI. Подробнее см. в нашей статье «Кредитно-долговые отношения и городское законодательство в средневековой Швеции (XII—XIV века)». — Средневековый город, вып. 3. Саратов, 1976.

чески дееспособными, так что принцип оседлости при определении юридического полноправия последовательно соблюдается городом в отношении не только горожан, но и жителей деревни. Все эти положения (за исключением оседлости) в равной мере распространяются и на иностранцев, торгующих в городе (*gaeste*), и на жителей других городов⁶¹.

Судебная власть шведского города вплоть до конца XV в. не была полной. Не говоря уже об активнейшем вмешательстве в городские дела непосредственно представителей центральной власти, горожане в ряде случаев оказывались подсудными дворцовым королевским фогдам в тех многих городах, где были королевские замки и усадьбы, а также фогду сензора или монастыря, когда расположенные в городе замок или усадьба принадлежали последним. О попытке городов разграничить сферы городской и дворцовой юрисдикции свидетельствуют привилегии богатого, тесно связанного с Ганзой готландского города Висбю, полученные им в 1411 г.; но и там это разграничение прокламируется в общем виде: дела города должен разбирать город, а дела дворца — дворцовый фогд⁶².

Но не только в этом проявлялась ограниченность формальной юрисдикции городского суда (о фактических ее нарушениях отчасти уже говорилось). Так, посадить в тюрьму за долги в городе можно было любых лиц, «независимо от того, кто они и каково их имущество, кроме членов Королевского совета, рыцарей, пасторов, служителей епископа и клириков, или тех, кто выполняет поручение короля»⁶³. Следовательно, на живущих в городе представителей духовенства, высших дворян и государственных чиновников, даже если они и судились в городском суде, распространялись не все нормы городского права.

Но были ли они одинаковыми для прочих жителей города и его округа, подсудных городскому суду, а именно, для неподатного сословия, бондов и их арендаторов, купцов и членов городской общины (так перечисляются категории лиц, подсуд-

⁶¹ Ibid.

⁶² Privilegier, № 66.

⁶³ Stadslag, RB, b. XVIII. Что касается членов Королевского совета и лиц, находящихся на королевской службе, то только «сам король решает», посадить ли нарушителя в городскую тюрьму или подвергнуть его другому наказанию (*ibid.*, b. XXXV).

ных городу, в привилегиях Упсалы от 1488 г.)⁶⁴? Оказывается, нет. Это видно, например, из правил о ношении в городе оружия. Так, служилые дворяне, приехавшие в город по своим делам или выполняя поручение короля, «в городе, как и всюду, оружие не снимают». Бонды — свободные сельские домо- и землевладельцы, — подобно слугам (!), за ношение оружия в городе привлекаются к суду. «Иноземные гости» (*«utlaenske gaeste»*), т. е. купцы-иностранцы, могли носить оружие лишь с разрешения фогда и совета. Что же касается оседлых горожан, то «житель (*byaman*) любого города в государстве (*i hvarium stadh inrikis*) не может носить оружие... если только он не имеет собственной наследственной недвижимости (*eghit arff*) или не менее чем на 40 марок движимого имущества (*til XL marka görelikt godz*), будь то в городе, или вне его»⁶⁵. Иначе говоря, право носить оружие, которое являлось привилегией высших сословий в государстве, в городах могло осуществляться лишь полноправными и «крепкими» бюргерами. Таким образом, деньги, вообще имущество, могли приравнять горожанина к дворянину в той же мере, в какой они, согласно Земским уложениям, делали фрельсисманом любого бонда, который был в состоянии нести рыцарскую (конную) службу королю.

И, наконец, городской закон далеко не поровну делил между жителями города доверие суда. Это ясно видно из законов о свидетельстве и поручительстве. Так, человек, обязавшийся внести залог за освобождение из тюрьмы некредитоспособного должника, должен сам не иметь обязательств по штрафам и долгам и быть непременно оседлым (*bofaster, boolfaster*), т. е. постоянным жителем города. Если же он «неоседлый», то должен дать еще залог за себя и принести клятву. Свидетелями при любом деле могут выступать только «люди добрые и основательные» (*«mannum ghodhum ok skiaelikin»*)⁶⁶ и т. п.

⁶⁴ «...friborna frelsesmaen, bonder, landbo, meniga almoge..., koptaen» (USP, № 17, 1488 г.). Под *meniga almoge*, т. е. общинниками, применительно к городу следует понимать основную массу городского населения — ремесленников, лиц, занятых трудом по найму, рыбаков, промысловиков других специальностей и прочее производительное население, которое в наших документах, в чем легко убедиться, отделяется как от купеческой прослойки города, так и от других сословий, вместе с их приближенными и прислугой.

⁶⁵ Stadslag, RB, b. XXXIV. Оружие в городе могли носить также бургомистры и члены городского совета, которые в большинстве случаев относились к имущественной верхушке города.

⁶⁶ Stadslag, RB, b. XX, XXXI.

Разумность подобных требований, предъявляемых к свидетелям и поручителям, неоспорима, но в условиях имущественного неравенства неизбежно получалось так, что гарантией честности становилось богатство, а порядочность измерялась материальным благосостоянием. «Не обязан штрафами и долгами», — значит, если они и были, смог их выплатить. «Оседлый» — значит самостоятельный хозяин, домовладелец или владелец усадьбы, в большинстве случаев, конечно, полноправный бюргер. А если «не оседлый», — то зажиточный человек, который может внести сразу два залога. Что же касается критериев морального плана — «доброты» (т. е. добропорядочности) и «разумности», то, конечно, они также прежде всего относились к «хозяевам». Кроме того, по логике вещей, использовать право на залог, которым номинально пользовались все горожане⁶⁷, могли лишь те лица, за которых было кому внести залог (т. е. принадлежавшие к тому же имуществу слою).

О чем говорят все эти предписания Стадслэга? Обязанность подчиняться городскому суду и городскому праву распространялась на всех горожан. Правом же пользоваться — в полном объеме — защитой городского закона и привилегий фактически располагала лишь городская верхушка. Несколько меньшими были возможности средних слоев городского населения, людей обеспеченных и пользовавшихся известностью в городе. Городские низы — слуги, подмастерья, бедные ремесленники, не говоря уже о поденщиках и лицах, перебивавшихся случайными заработками, практически не могли пользоваться большинством льгот, предоставляемых городским правом, за все должны были расплачиваться самой дорогой ценой.

Городская верхушка наживалась и на городской юрисдикции. Это отчетливо видно из данных о распределении судебных штрафов. Оно было многовариантным; чаще всего штраф делили между собой: 1) истец и город; 2) истец, город и король; 3) город и король; 4) бургомистры и родманы; 5) бургомистры, родманы и фогд; 6) истец, город, фогд, бургомистры и родманы; 7) фогд, бургомистры, город и король. Кроме того, часть судебных издержек перепадала городским служащим: писцам, посыльным и т. д. Истец получал часть штрафа лишь при членовредительстве; во всех остальных случаях, когда истцом выступало частное лицо, оно получало лишь компенсацию за материальный ущерб, а сами штрафы шли властям.

⁶⁷ Stadslag, RB, b. XXXV.

Последние получали также все штрафы за нарушение городской торговой монополии (в этом случае сополучателем части штрафа могли стать цех или гильдия) и общих положений городского права вообще, а также часть конфискованного имущества осужденных или дохода от их отработки⁶⁸.

Конечно, превращение городов в сферу действия особого городского права, оформление их юрисдикции и судебной монополии было выгодно всем жителям города, так как в немалой мере защищали их от притеснений и беззаконий, чинимых феодалами. Но наибольшую выгоду из городского права, из городского суда и порядка судопроизводства, из правового обособления городов извлекала их имущая и правящая верхушка. При этом соблюдались и интересы фогда, как посредника между городом и центральной властью и, конечно, в первую голову удовлетворялись аппетиты короны, получавшей огромные доходы от городских судов и контролировавшей их деятельность через своих фогдов⁶⁹.

Все то, о чем говорилось выше, относится к городам, имевшим судебный иммунитет (в его шведском варианте). Насколько же была распространена судебная независимость городов в тогдашней Швеции? Особые хартии на право иметь свой суд в Швеции в рассматриваемый период, судя по имеющимся материалам, как будто не выдавались. Но ведь вопросы городской юрисдикции и правопорядка трактовались в Стадслэге, и, соответственно, каждый город, получивший привилегию пользоваться городским уложением (а еще раньше — Биркрэттеном), т. е. каждый полноправный город, пользовался городским правом и имел свой суд. В привилегиях г. Уддевалле прямо сказано, что город получает право на городской закон (на свою «lagbok») и на $\frac{1}{3}$ штрафов («sakören»)⁷⁰, т. е. может выступать сополучателем штрафов наряду с истцом и короной. Не исключено, что, поскольку судебные и административные функции в шведских городах были объединены в руках магистрата, свой суд имели все те города, которые обладали правом самоуправления, т. е. могли выбирать бургомистров и совет (хотя это предположение нуждается в проверке). Но даже если считать, что свой суд имели только полноправные

⁶⁸ MSUB, s. 16, 44, 54; Stadslag, BgB, b. XV, XVI; JB, b. XIV; KGB, b. I, II, XII; RB, b. II, VII, XIV, XXII, XXXII o. a.; Jönköpings tänkebok, s. 14; Privilegier, № 89, 118.

⁶⁹ Так, в 1324 г. штрафы в пользу короны с одних только горожан Або исчислялись в 100 марок (Ruuth J. W. Abo historia, hf. III, s. 45).

⁷⁰ Privilegier, № 356.

города («торговые города»), и это означает, что судебной привилегией пользовалось большинство шведских городов.

В шведской медиевистике принято мнение, что основой средневекового городского права в Швеции были немецкие или римские образцы, и с этими утверждениями можно согласиться. Римское право дало Швеции, как и другим странам Западной Европы, нормы правового оформления отношений частной собственности и социального неравенства; Германия, имея в XIV—XV вв. самые тесные сношения со Швецией и оказывая на многие стороны ее жизни сильное влияние, передала менее развитому соседу некоторые важные формальные атрибуты своего глубоко разработанного и изощренного городского права. Но совершенно очевидно, что юрисдикция шведских городов, их право и судебная организация по существу своему очень отчетливо отражали специфику шведской социальной структуры этой эпохи, относительно консервативной и соответственно менее дифференцированной, нежели социальная организация передовых европейских стран того же времени.

М. М. Яброва

ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЕДИТА И ЕГО РАЗВИТИЕ В АНГЛИИ XIII—XV ВВ.

Развитие товарного производства, возникновение раннекапиталистических отношений неизбежно связаны с развитием кредита, совершенствованием его орудий, расширением его функций.

Одной из самых ранних форм кредита являлось ростовщичество, которое Маркс относит к «допотопным формам капитала»¹. Оно задолго предшествовало капиталистическому способу производства.

Маркс четко определяет две характерные формы ростовщического капитала в период, предшествующий капиталистическому способу производства. «Эти две формы следующие: *во-первых*, ростовщичество путем предоставления денежных ссуд расточительной знати, преимущественно земельным соб-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 142.

ственникам; *во-вторых*, ростовщичество путем предоставления денежных ссуд мелким, владеющим условиями своего труда производителям»². Феодалы, как правило, обращались к ростовщику, когда им нужны были деньги на ведение войн, приобретение оружия, предметов роскоши, для устройства пиров и турниров и т. д. Мелкие производители брали деньги в ссуду для уплаты ренты собственникам земли, налогов, иногда для покупки орудий труда и т. д. Под мелким производителем подразумеваются не только крестьяне, но и ремесленники, попавшие в затруднительное положение и вынужденные обращаться к ростовщику. В подавляющем большинстве случаев мелкий производитель, обратившийся к ростовщику, уже не в состоянии был выползти из этой паутины и неизбежно разорился. Да и феодалов не мог не разорить высокий ростовщический процент. Таким образом, хотя по сути своей ростовщичество консервативно и стремилось сохранить данный способ производства, ибо оно эксплуатировало его и должно было «иметь возможность эксплуатировать его снова и снова»³, оно фактически содействовало его разложению. В этом объективно заключается определенная революционизирующая роль ростовщического капитала. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что ростовщичество, как и купеческий капитал, способствует концентрации денежных богатств, и в странах, где налицо предпосылки развития капиталистического способа производства, это имело немалое значение.

Однако на определенном этапе развития общества, с дальнейшим расширением товарно-денежных и особенно с возникновением раннекапиталистических отношений, старая форма кредита, типа ростовщчества, неизбежно должна отойти на второй план. Конкретные причины этого кроются в ряде обстоятельств. Прежде всего надо иметь в виду, что ростовщичество, «как характерная форма капитала, приносящего проценты, соответствует преобладанию мелкого производства крестьян, живущих своим трудом, и мелких мастеров-ремесленников»⁴. С зарождением капиталистического способа производства наемный рабочий *в качестве производителя* не имеет нужды обращаться к ростовщику, ибо он не является собственником условий своего труда и продукта. Капиталист также не может обращаться к ростовщику, ибо ростовщический процент отни-

² Там же, с. 143.

³ Там же, с. 159.

⁴ Там же, с. 143.

мает «всю прибавочную стоимость»⁵. И для промышленника-капиталиста, и для купца — это разорение. «...Не следует забывать, — пишет К. Маркс, — что полная экспроприация у работника условий его труда является не результатом, к которому стремится капиталистический способ производства, а готовой предпосылкой, из которой он исходит»⁶. Если же ростовщик присосется к зарождающемуся капиталистическому способу производства, будет паразитировать на нем, то неизбежно он доведет его до жалкого состояния⁷. В таком варианте реакционная роль ростовщичества не вызывает сомнений. Поэтому априори можно ожидать, что зарождающиеся потенциальные капиталисты должны были как-то обезопасить себя от ростовщика.

Необходимо учитывать и еще одно обстоятельство. С ростом товарно-денежного хозяйства все больше ощущалась нужда в деньгах на рынке, и ростовщик попросту не мог удовлетворить спрос на наличность. Недостаток денег с ростом товарного производства можно в какой-то степени снизить, если ускорить процесс их обращения. Ростовщичество же с его тенденцией к накоплению сокровищ в данном случае являлось прямой помехой⁸. Отсюда вытекает противоречие между развивающейся торговлей и ростовщичеством. Суть его вскрыта Марксом: «Чем незначительнее та роль, которую в общественном воспроизводстве играет обращение, тем больше расцветает ростовщичество»⁹.

Соответственно с расширением производства и обращения товаров «монополия старомодного ростовщичества, базировавшегося на бедности»¹⁰, исчезает. В тех странах, где развивались торговля и мануфактура, ростовщический капитал неизбежно должен был подчиниться торговому и промышленному. Там возникали другие формы кредита. Для ростовщичества это реально значило снижение процента. Историческая действительность показывает, что самый низкий процент был в странах, где развивался капитализм: для рассматриваемого периода — в итальянских городах, для XVII века — в Голландии.

⁵ Там же, с. 144.

⁶ Там же, с. 144—145.

⁷ Там же, с. 145.

⁸ «...образование сокровищ становится реальным только при ростовщичестве и в ростовщичестве его мечта осуществляется» (Маркс К., *Энгельс Ф.* Соч., т. 25, ч. II, с. 147).

⁹ Там же, с. 160.

¹⁰ Там же, с. 152.

дии. Значит ли это, что ростовщичество исчезает? Нет. Оно не могло исчезнуть, ибо без сокровищ, накопленных ростовщиками, общество еще не могло обойтись, объективно важно было втянуть их в развивающуюся торговлю, промышленность, максимально снизить норму процента и ускорить обращение.

Очень характерно, и это еще раз подчеркивает саму суть ростовщичества, что оно сохраняется, «когда речь идет о таких лицах, классах или отношениях, которые исключают возможность займа в смысле, соответствующем капиталистическому способу производства...»¹¹. Цель таких займов остается по существу прежней: расточительство, непосредственное потребление; или для нужд производства — это в тех случаях, когда ростовщику противостоит еще сохранившийся мелкий производитель-ремесленник, крестьянин, т. е. производитель, как отмечает Маркс, некапиталистический¹². Возможно обращение к ростовщику и капиталистического производителя, но только в тех случаях, когда он оперирует в ничтожно малых масштабах и по существу приближается к производителям некапиталистического типа.

К числу примитивных форм кредита наряду с ростовщичеством относится так называемый потребительский кредит. У каждого более или менее значительного феодала были свои поставщики восточных тканей, ювелирных изделий, пряностей и т. д. Все это могло поставяться в кредит (т. е. можно было обойтись без ростовщика) и предназначено было для непосредственного потребления. В данном случае сталкивались два обстоятельства: вечная нужда в деньгах у феодала (ибо он чаще всего выступал в роли потребителя) и необходимость расширить рынок продуктов у торговца.

Потребительский кредит не потерял полностью своего значения и в последующие века. Достаточно познакомиться с некоторыми источниками. Завещание лорда Скрупена составлено в 1488 году. По нему мы можем судить, что владения лорда находились в различных частях Англии и были довольно велики. Это создавало определенные гарантии, и лорд широко пользовался кредитом пивовара, портного, бакалейщика, оружейника, рыборотковца, торговца предметами роскоши и других. Долги его были немалые: от 50 до 100 марок каждому постав-

¹¹ Там же, с. 149—150.

¹² Там же, с. 150.

щику¹³. О том же свидетельствует и ряд других источников¹⁴.

Своеобразная форма кредита скрывалась и за так называемой коммендой. Этот вопрос заслуживает специального рассмотрения. Размеры статьи не позволяют сделать этого. Между развитием кредита и коммендой связь совершенно очевидна, ибо эти явления вызваны к жизни одними и теми же причинами: ростом товарности хозяйства, расширением торговли и соответственно недостатком наличных денег.

Первоначальная форма комменды предполагала объединение предприимчивого дельца с владельцем денег, который по каким-либо причинам не мог пустить их самостоятельно в оборот. В ряде случаев в качестве партнеров выступали купец и духовный или светский феодал. Очень часто объединялись купец и капитан корабля. Купец давал деньги или товары, реализация их возлагалась на капитана (иногда агента)¹⁵. Постепенно оформлялся союз равноправных партнеров, т. е. двух-трех купцов, а от этого уже небольшой шаг до мелких и более крупных компаний¹⁶. Во всех названных случаях (кроме последнего) выступали кредитор и заемщик, но от ситуации ростовщик — заемщик они отличались. В комменде кредитор в случае неудачной торговой сделки тоже терпит убыток (ростовщик — нет!), т. е. степень риска кредитора и заемщика одинакова. По существу кредитор в этом объединении выступает тоже как торговец. Само по себе создание комменды, ее функционирование — это объективно стремление обойтись без ростовщика.

Качественный скачок в развитии кредита происходит с возникновением коммерческого кредита. Необходимость его в условиях расширяющегося товарооборота совершенно очевидна. Она обусловлена рядом обстоятельств, в первую очередь несовпадением времени производства товаров и возможности их реализации. У одного купца может накопиться значительное количество товаров, которые надо продать, у другого как раз

¹³ Calendar of Close Rolls. Preserved in the Public Record office, Henry VII, v. I. 1485—1500. L., 1955, p. 88—89.

¹⁴ Calendar of Patent Rolls, 1467—1476. L., 1900, p. 257, 577, 578 etc.

¹⁵ О различных вариантах мелких объединений довольно подробно пишет Постан (см.: *Postan M. M. Partnership in English Medieval Commerce. Studi in Onore di Armando Sapori. Milano, 1957*).

¹⁶ Думается, что как раз от этих мелких торговых объединений ведут свое начало английские паевые компании, известные как компании joint-stock.

в это время нет необходимого количества наличных денег, которые могут появиться позже, а вместе с тем он заинтересован в данном товаре. Маркс отмечает, что «с развитием товарного обращения развиваются отношения, благодаря которым отчуждение товаров отделяется во времени от реализации их цены»¹⁷.

Именно коммерческий кредит «образует основу кредитной системы»¹⁸. Маркс определяет коммерческий кредит как кредит, «который оказывают друг другу капиталисты, занятые в процессе воспроизводства»¹⁹. Определяющей чертой коммерческого кредита является то, что заемщик никогда не использует кредит для личного потребления. Он всегда идет в производство, в торговлю.

Коммерческий кредит не был безвозмездным. Но разница между ним и ростовщичеством в этом плане была весьма существенна. Если ростовщический процент съедал всю прибыль (а частенько замахивался и на часть необходимого продукта), то коммерческий кредит поглощал лишь часть прибавочной стоимости, оставляя возможности для расширенного воспроизводства и торговли.

Характерной чертой коммерческого кредита является его многоступенчатость. Суконщик мог продавать товары в кредит какому-нибудь крупному оптовику и в то же время скупал сукно тоже в кредит. Поистине «каждый дает кредит одной рукой и получает кредит другой»²⁰. Таким образом, коммерческий кредит мог охватить значительно более широкую массу людей, чем все предшествующие формы, причем все они были в той или иной степени участниками воспроизводства. Но в силу взаимного характера кредита «платежеспособность одного зависит в то же время от платежеспособности другого»²¹, иными словами, его неплатежеспособность может повлечь за собой разорение целого ряда лиц, своеобразной цепочки.

Развитие коммерческого кредита и его орудий (платежных обязательств, долговых расписок, векселей и т. д.) не исключало полностью нужды в звонкой монете. Особенно наличные деньги нужны были при окончательной расплате, а кредитор, который одновременно мог являться и заемщиком, не всегда

¹⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 146.

¹⁸ Там же, т. 25, ч. II, с. 21.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же, с. 22.

именно в данный момент располагал наличностью²². Поэтому, хотя коммерческий кредит резко оттеснял ростовщичество на задний план, он в течение длительного времени не мог полностью освободиться от него.

В рассматриваемый период коммерческий кредит представляли друг другу зарождающиеся мануфактуристы и купцы. Это не исключало предоставления кредита мелким товаропроизводителям и розничным торговцам. В обстановке развивающегося товарного хозяйства мелкий производитель неизбежно попадает в зависимость от крупного торгового капитала, и в установлении этой зависимости кредит, все его формы, в том числе и коммерческий, играют не последнюю роль. С расширением рынка мелкому производителю все более несподручно и невыгодно покупать сырье у разных лиц, к тому же такой мелкий производитель в условиях общей нехватки денег чаще всего не имеет достаточного количества наличности, звонкой монеты. Без сырья совершенно реален перерыв в производстве, губительный для мелкого производителя. Товарный кредит в этих условиях представляется ему благом. А от предоставления непосредственному производителю сырья в кредит (или мелкому торговцу товаров) до их полного подчинения — один шаг²³.

Различные аспекты кредита в XIV—XV веках, очень важные для понимания ряда проблем экономической жизни английского города интересующей нас эпохи, к сожалению, почти не изучены в советской историографии и получили только частичное освещение в английской исторической литературе.

О роли кредита в английской торговле специально писал М. М. Постан. Его статья «Кредит в средневековой торговле» вышла почти полвека тому назад, а затем в 1955 и в 1973 го-

²² Там же, с. 23. С развитием и расширением сферы деятельности коммерческого кредита мы неоднократно сталкиваемся с такими фактами. В 1482 г. купец Мидуинтер, который являлся поставщиком шерсти для известного в тот период в Англии семейного торгового объединения Сели, не сразу смог закупить шерсть, так как фермеры, с которыми он был связан, почему-то потребовали наличных денег, тогда как прежде продавали в кредит. Сели к тому времени еще не расплатился с Мидуинтером, и последний, естественно, попал в весьма затруднительное положение (см.: Power E. E. The wool Trade in the Fifteenth Century. — In: Studies in English Trade in the Fifteenth Century. Ed. by Power E. E. and Postan M. M. N. Y., 1933, p. 63).

²³ Очень тонкий анализ этих процессов дан в работе В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, гл. VI).

дах без изменений была перепечатана²⁴. Вплотную к ней при-
мыкают еще две статьи того же автора²⁵. Более или менее компактный материал по кредиту, главным образом относительно Кале, приведен в работе Е. Пауэр «Торговля шерстью в пятнадцатом веке»²⁶.

Постановка ряда вопросов в статьях М. М. Поста́на представляет несомненный интерес. Не вызывает возражений его положение о многоступенчатости коммерческого кредита уже в XIV веке, особенно в таких развитых отраслях, как виноторговля и торговля шерстью. Представляются обоснованными соображения автора о связи комменды с развитием кредитного дела и ряд других. Однако Поста́н склонен игнорировать социальную сторону кредита. Разумеется, он не может не видеть, что в роли кредитора иногда выступал не продавец, а покупатель. В основном, отмечает Поста́н, это происходило при взаимоотношениях с итальянцами, у которых были деньги, и они могли авансировать монастыри, скупая у них шерсть²⁷. А во внутренней торговле? М. М. Поста́н вынужден отметить, что богатые продавцы имели возможность открыть потребителю кредит, а нуждающиеся требовали полной оплаты или даже платы вперед²⁸. Сам по себе этот тезис не вызывает сомнений, кроме, пожалуй, весьма общей терминологии. Но какие цели преследовал богатый купец, финансируя «нуждающегося»? В каком положении оказывался последний, если не мог вовремя выплатить долг? Эти и ряд других связанных с ними вопросов остаются за пределами внимания автора. С таких же позиций Поста́н трактует мелкие объединения типа комменды. Его стремление отнести к равноправным компаньонам слугу и хозяина, крупного торговца и его агента по существу снимает социальное содержание этих процессов. Само собой разумеет-

²⁴ Postan M. M. Credit in medieval Trade. — «The Economic History Review», 1928, January, v. 1, N 2; Essays in Economic History. Ed. by Carus-Wilson E. M. L., 1955; Postan M. M. Medieval trade and finance. Cambridge, 1973.

²⁵ Postan M. M. Parthnership in English Medieval Commerce. Studi in Onore di Armando Saponi. Milano, 1957; Эта же статья перепечатана в кн.: Postan M. M. Medieval trade and finance...; Postan M. M. Private financial instruments in medieval England. — In: Postan M. M. Medieval trade and finance...

²⁶ Power E. E. The wool Trade in the Fifteenth Century. Studies in English Trade the Fifteenth Century. Ed. by Power E. E. and Postan M. M. N. J., 1933, p. 39—91.

²⁷ Postan M. M. Medieval trade and finance... p. 10—11.

²⁸ Ibid., p. 23.

ся, что при этом никаких социальных противоречий ни в этих «равноправных» объединениях, ни тем более между кредитором и заемщиком автор не видит.

В статье Е. Пауэр привлечен интересный материал о торговле шерстью в Кале. Широкие масштабы этой торговли в XV веке предопределили и значительное развитие коммерческого кредита. Это убедительно показано автором. При этом статья не свободна от известной модернизации, стремления осовременить денежные отношения XV века.

В советской историографии проблема кредита нашла весьма основательное и интересное освещение в монографии В. И. Рутенбурга²⁹. Несомненно, Италия с ее ранним капитализмом намного опередила остальные страны Европы, и это неизбежно сказалось на развитии кредита, многообразии и определенности его форм. Материал монографии свидетельствует об этом достаточно убедительно.

Совсем недавно появилась статья А. А. Сванидзе³⁰. На основании малоизученного материала шведских источников, главным образом законодательных памятников, автор рассматривает пути развития кредита в средневековой Швеции и взаимоотношения его с различными формами торговли. Известная архаичность развития Швеции не могла не отразиться на формах кредита, и тем не менее приведенный материал дает основания для ряда сопоставлений с аналогичными явлениями в других странах.

История непосредственно английского кредита пока еще не привлекла внимания советских историков.

Разумеется, данная статья не претендует на полноту изложения проблемы. Нас интересует, каким образом зарождение коммерческого кредита — этот качественный скачок в развитии кредита вообще — сказался на судьбах ростовщичества. И попутно, естественно, возникают вопросы о времени зарождения и развития коммерческого кредита, его распространенности.

Источники, которыми мы располагаем, довольно разнообразны: это законодательные памятники, фиксация частных-правовых сделок, материалы судебных расследований, в том числе ярмарочных курий, и некоторые другие, опубликованные в

²⁹ Рутенбург В. И. Очерки из истории раннего капитализма в Италии. М.—Л., 1951.

³⁰ Сванидзе А. А. Кредитно-долговые отношения и городское законодательство в средневековой Швеции (XIII—XIV века). — В кн.: Средневековый город, вып. 3. Саратов, 1976.

разных сборниках³¹. К сожалению, зачастую материал фрагментарен, и это значительно затрудняет исследование вопроса.

Об известной распространенности коммерческого кредита с полной уверенностью можно говорить уже для последней четверти XIII века. Основания для такого утверждения дают и ряд судебных разбирательств, и законодательные акты, исходящие от английских королей.

Сохранились дела курии, функционировавшей на ярмарке, находящейся во владениях аббата Рамсея (графство Гантингдоншир)³². Решения по различным искам от конца XIII века свидетельствуют не только о наличии продажи в кредит, но и об известном оформлении этих торговых сделок. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с иском Генри Кэртейса из Лейстера к торговому объединению из трех лиц³³, Джона Эбингдона, лондонского суконщика, к некоему Вильяму Мартину³⁴, и другими делами³⁵.

Коммерческий кредит возник и развился в первую очередь во внешней торговле, и это вполне закономерно. Здесь необходимы были большие оборотные средства и «старомодный ростовщик» никак не мог удовлетворить все растущих потребностей. Поэтому неудивительно, что коммерческий кредит широко развивается в тех отраслях торговли, которые сопряжены с внешним рынком. Уже в конце XIII века богатые лондонские виноторговцы регулярно получали вино в кредит от иноземных импортеров, и, по всей вероятности прав Постан, который считает, что здесь налицо больше, чем одноактный кредит³⁶.

Оптовая торговля в рассматриваемый период вообще была

³¹ Statutes of the Realm, L., 1810, v. I; Calendar of Wills, London, 1258—1688, Ed. by Sharpe R. L., 1890; Calendar of Patent Rolls, 1467—76, L., 1900; Calendar of Plea and Memoranda Rolls, (1458—1482), Ed. by Jones Ph. E. Cambridge, 1951; Select Cases concerning the Law Merchant, 1270—1638 by Charles Gross. Ph. D. L., 1908, v. 1 etc.

³² Эта ярмарка была пожалована аббату Рамсею хартией Генриха I в 1100 году. Судебные разбирательства опубликованы в кн.: Select Cases concerning the Law Merchant, 1270—1638, Ed. by Gross Ph. D. L., 1908, v. I.

³³ Ibid., p. 26—27.

³⁴ Ibid., p. 65.

³⁵ Ibid., p. 59, 62—63, etc.

³⁶ Essays in Economic History, p. 66. Виноторговля была одной из самых разных отраслей торговли в конце XIV — начале XV века. Достаточно вспомнить, что в Лондоне с его 40-тысячным населением в 1309 г. было 354 таверны и 1334 пивные лавки (Williams G. A. Medieval London. From Commune to Capital, L., 1970, p. 21—22). Однако 2/3 этой торговли находилось в руках иноземных импортеров, в частности гасконских купцов (см.: Carus-Wilson E. M. Medieval Merchant Ventures, L., 1967, p. XXVI).

почти полностью импортной и в роли кредиторов выступали главным образом иностранцы. Об этом говорит ряд фактов. Так, в 1292 году произошел любопытный случай. Лондонский рыбороторговец Томас Лукас, находясь в городе Линн, купил у немецкого купца рыбы на 30 ф. и какое-то количество строительного леса; не уплатив за покупку, он ночью сбежал. Преследуемый продавцом, он бежал через Бостон, Линкольн и Халл, где был схвачен, препровожден в Лондон и посажен в Тауэр. Лондонская корпорация рыбороторговцев настаивала перед королевской стражей, чтобы Томаса Лукаса не выпускали из Тауэра, ибо из-за него они не могут больше покупать в кредит у немецких купцов, тогда как прежде они брали товаров на 500—800 ф. единовременно³⁷. В данном случае можно уже предполагать наличие регулярного коммерческого кредита.

Как раз к концу XIII века относятся и первые известные нам правительственные статуты, пытающиеся создать определенные гарантии для безопасной торговли, в том числе торговли в кредит. Они в первую очередь защищали интересы иноземных купцов, прибывающих в Англию. Мы имеем в виду статуты 1283 и 1285 годов. Мотивировка статута 1283 года свидетельствует об этом. В ней идет речь о том, что купцы не желают приезжать в королевство, так как страдают из-за отсутствия в стране закона, который обеспечивал бы им возвращение долга в назначенный день³⁸. Попутно этот статут защищал и интересы крупных лондонских купцов, которые начинали предоставлять свои товары в кредит. Издание его явилось итогом предшествующего развития коммерческого кредита и одновременно способствовало его дальнейшему распространению. Кроме защиты новых форм кредитования, привлекает внимание в этих статутах: во-первых, порядок фиксации сделки и оформление документов, во-вторых — и это самое главное — порядок востребования неуплаченного долга. Процедура эта в подробностях растолкована в статуте 1283 г., и она очень проста. Достаточно предъявить мэру соответствующим образом оформленный документ, и он без суда собственной властью привлечет должника к ответственности. Мера этой ответственности очень велика: продажа движимого имущества (на сумму долга), тюремное заключение (специально оговорено, что тюремное содержание должник оплачивает сам)³⁹.

³⁷ Williams G. A. Medieval London, p. 165.

³⁸ Statutes of the Realm. L., 1810, v. I, p. 53—54, 98—100.

³⁹ Ibid.

По-видимому, практика показала, что статут 1283 г. требовал ряда уточнений и конкретизации. Это было сделано в последующие годы. В 1285 г. был издан еще один статут. Для нас он интересен тем, что дает довольно прямое определение злоупотреблений, ложного толкования шерифами предыдущего статута⁴⁰. В 1311 г. значительно четче определяется действие закона — он должен применяться только по отношению к долгам, возникшим в результате торговли. Кроме того, было расширено количество городов, которые могли выносить заключения по искам. Вместо прежних трех (Лондон, Йорк, Бристоль) число их довели до 12, т. е. сфера распространения коммерческого кредита существенно расширяется⁴¹. По всей вероятности, эти статуты защищали также и интересы крупных банковско-ростовщических компаний, в первую очередь флорентийских, как раз в этот период укреплявшихся в стране, но нет сомнений, что они очень содействовали развитию коммерческого кредита вообще. Если относительно конца XIII века речь шла о зарождении и известной распространенности коммерческого кредита, то XIV—XV века — это время его развития.

Сведения о развитии кредита в XIV веке можно почерпнуть из ряда источников, в первую очередь завещаний английских купцов. В массе своей авторы их — это люди достаточно состоятельные, ведущие активную торговлю. Задолженность многих из них очень велика, для покрытия ее требуется продажа части движимого или недвижимого имущества. После этого, как можно судить по завещаниям, остается еще значительная доля, которая, согласно обычаю города Лондона, делится между женой и детьми, а часть предназначается для целей благотворительности, заупокойных служб и т. д. Завещание торговца предметами роскоши Томаса Сейнера от 1361 г. предполагает, что «все его владения (tenements) и ренты в Лондоне должны быть проданы для уплаты его долгов»⁴². Это не означало разорения, ибо он смог еще оставить немало на благотвори-

⁴⁰ Ibid., p. 99. Несколько иные аспекты этого статута достаточно подробно рассмотрены в статье Е. В. Гутновой «Политика королевской власти по отношению к городам Англии XIII—XIV вв.» (Средние века, вып. 12. М., 1958, с. 53—54).

⁴¹ Statutes of Realm, v. I, p. 165. Это Лондон, Бристоль, Йорк, Ноттингем, Экзетер, Линкольн, Нортгемптон, Кентербери, Шрюсбери, Норич, Ньюкастл, Саутгемптон.

⁴² Calendar of Wills, London, 1258—1688. Ed. by Sharpe R. L., 1890, p. 37.

рительные цели (на строительство лондонского моста и дорог вокруг Сити), родственникам и другим лицам⁴³. Торговец предметами роскоши Джон Картон товары и все движимое имущество оставил сыну; как можно судить по завещанию, дочь еще прежде получила свою часть наследства. Владения предписывалось продать для уплаты долгов⁴⁴ (завещание составлено в 1362 году). По завещанию торговца веревками (corder) Джона де Харспефельда от 1362 г. можно судить, что долги составляли, примерно, половину его имущества. Распоряжения об уплате долгов содержатся в ряде других завещаний: виноторговца Уильяма Докета от 1363 года, сукошника Уильяма Дика от 1365 г., портного Джона Рауфа от 1368 г., рыбо-торговца Джона Яксли от 1375 г. и т. д.⁴⁵

В XIV веке коммерческий кредит получает известное распространение в межгородской торговле, т. е. в торговле лондонских купцов с провинциальными. Письма лондонских мэров от 50—60-х годов XIV в. муниципалитетам различных английских городов с требованием содействовать возвращению долгов позволяют выяснить их происхождение, конкретные размеры. Чаще всего это долги за товары⁴⁶. Суммы самые разнообразные: от 41 ш. до 200 ф.⁴⁷

Еще более очевидные факты распространности коммерческого кредита относятся к XV веку. В петиции в суд лорда-канцлера от начала XV века изложено содержание любопытной истории. Некие розничные торговцы купили какое-то количество шерстяных одеял, перепродали их двум виноторговцам, те, в свою очередь, перепродали их кому-то еще. На каждой ступени за исключением первой (о которой неизвестно ничего) одеяла продавались в кредит⁴⁸. О том же свидетельствует и опись движимого имущества богатого купца-складчика Уильяма Линна, которую в 1424 году представили городские власти. Общая сумма 4842 ф. 7 ш. 2 п. Из нее только 955 ф. были в наличных деньгах, около 3027 ф. — в суммах, которые должны были купцу многие лица в Англии и за границей. Он в свою очередь должен был различным персонам 1637 ф. 1 ш.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., p. 70.

⁴⁵ Ibid., p. 71, 78, 89, 113, 177 etc.

⁴⁶ Calendar of letters from the mayors and the corporation of the City of London, 1350—1370. Ed. Sharpe R. R. L., 1885, p. 76, 82, 84, 108 etc.

⁴⁷ Ibid., p. 84, 108.

⁴⁸ Essays in Economic History... p. 66—67.

2 п.⁴⁹. Известные в XV веке английские купцы Сели продавали шерсть в кредит в 11 и 12 случаев⁵⁰.

Очень знаменательно, что в 1469 году было установлено, что олдермен должен располагать имущественным цензом в 1000 ф. стерлингов, заключенных в товарах, домовладениях и долгах⁵¹.

О распространенности коммерческого кредита свидетельствует и то, что одни и те же лица, имея ряд должников, в то же время сами широко пользовались кредитом. В декабре 1474 г. было распродано имущество умершего олдермена Джорджа Эланда. Учитывались суммы, которые ему должны были различные лица, и выручка должна была пойти на уплату его собственных долгов⁵². Оставались еще деньги на заупокойные службы. Видимо, торговые связи его были достаточно широки, ибо поверенному в делах разрешалось собирать долги не только внутри Сиги, но и за морем⁵³.

Каким образом это зарождение и распространение коммерческого кредита соотносилось с ростовщичеством? Нельзя не видеть, что само его появление — это одновременно и реакция на высокий, немудимый ростовщический процент, и стремление обойти нужду в наличности.

Сама фиксация долговых обязательств, соответствующее их оформление является первой ступенькой к возможности передвижения этих расписок вместо наличности. Это тоже было способом избавиться от ростовщика. Тенденция к передаче долговых обязательств, к расплате ими намечается уже с конца XIII века, правда, еще в зачаточном состоянии. Долговые обязательства можно было предъявлять к оплате не лично, а через поверенных⁵⁴. С начала XIV века мы встречаемся со случаями передачи долговых обязательств от каких-либо лиц своим

⁴⁹ Ibid., p. 81.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ «Sperate debts», т. е. долги, которые кредитор надеялся наверняка получить (Beaven A. B. The alderman of the City of London. I., 1908—13, v. II, p. XXXIX).

⁵² Calendar of Plea and Memoranda Rolls (1458—82), p. 88—89.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Select Cases..., p. 65. В 1293 г. ответчик Уильм Мартин не пожелал платить по предъявленному ему долговому обязательству и потребовал, чтобы предъявитель документально доказал свой статус поверенного от заимодавца (подлинность долгового обязательства он подтвердил) — *ibid.* Само требование показывает, что долговые обязательства попадали в руки не только поверенных, и, по всей вероятности, на практике чаще всего обходились без такой специальной проверки.

компаньонам по торговой сделке⁵⁵. По-видимому, они принимались в расчет при определении торговой прибыли и т. д.

Но уже в статуте 1283 года содержится прямое указание на активную борьбу с ростовщиками — здесь налицо оговорка, что под защиту не берутся долги евреям, т. е. ростовщикам.

С XIV века лондонское купечество ведет эту борьбу последовательно и настойчиво. Определение закона 1311 г., что он относится только к долгам, возникшим в результате торговли, начисто лишало ростовщика какой-либо надежды на защиту.

Указ Эдуарда III от 1363 года, содержание которого излагает Эшли⁵⁶, свидетельствует о том, что борьба с ростовщичеством со стороны купеческих кругов шла задолго до этого постановления. Недаром король одобряет действия городских властей Лондона в борьбе с этим «страшным пороком и мошенничеством»⁵⁷. В этом же году были составлены постановления лондонского муниципалитета, в которых осуждались различные махинации, покрывающие ростовщичество, и дано было очень любопытное определение, по существу раскрывающее истинную цель данного постановления. В нем указано, что ростовщичество «расстраивает всякую правильную и честную торговлю»⁵⁸. Видимо, данное постановление плохо выполнялось, ибо менее чем через 30 лет снова потребовалось вмешательство мэров и олдерменов⁵⁹. Вновь эта борьба против ростовщичества разгорелась уже при Тюдорах⁶⁰. Она с совершенной очевидностью показала, что лондонская буржуазия объективно воевала не против ростовщичества вообще, а за низкий ссудный процент. Недаром после длительной борьбы и дебатов уже в 70-е годы XVI века был восстановлен прежде

⁵⁵ Ibid., p. 98—99.

⁵⁶ Ashley W. An Introduction to English Economic History and Theory, part II. L., 1893, p. 462—463. (Русский перевод: Эшли У. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897, с. 768).

⁵⁷ Согласно этому указу учреждался специальный трибунал, состоявший из должностных лиц лондонского муниципалитета во главе с мэром, для разбора дел о ростовщиках (там же).

⁵⁸ Отрывки из этого постановления приводит Cunningham W. The Growth of English Industry and Commerce in Early and Middle Age. L., 1890, p. 326. (Русский перевод: Кеннингем У. Рост английской промышленности и торговли в ранний период и средние века. М., 1904, с. 310).

⁵⁹ Имеется в виду указ лондонского мэра и олдерменов от 1391 года, где точно определено, кого можно считать ростовщиком (см.: Ashley W., p. 463).

⁶⁰ О борьбе вокруг этого статута см.: Штокмар В. В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. Л., 1962, с. 76—77.

отмененный статут Генриха VIII от 1545 года, официально разрешавший ростовщичество, но ограниченное 10%.

Разумеется, во всех актах против ростовщиков, исходивших от королевской власти, начиная с конца XIII века, монархи защищали в первую очередь свои интересы. Нужду в деньгах английские короли испытывали всегда, а с конца XII века, в период окончательного покорения Уэльса, и особенно в связи с войнами в Шотландии, эта нехватка денег была особенно острой. Обращение королей к ростовщикам было делом привычным. Займы требовались солидные, и английские купцы и ростовщики в XII—XIV веках еще не в состоянии были удовлетворить аппетиты королевской казны. Со второй половины XIII века в Англии функционировали флорентийские банковско-ростовщические компании. XIV век является периодом наиболее активной их деятельности⁶¹. Только с конца этого столетия, и особенно в начале XV века, падает значение флорентийских компаний, и они вытесняются английскими купцами. Отныне король получил ссуду из расчета 12% годовых (вместо 18%, которые приходилось платить флорентийцам). Кроме ростовщического процента английские купцы получали различные торговые привилегии (часть которых прежде тоже принадлежала флорентийцам). Если король брал ссуду из расчета 12% плюс различные торговые привилегии займодавцу, то можно с полной уверенностью утверждать, что обычный ростовщический процент в значительной мере превосходил названную цифру. Некоторые данные, очень немногочисленные (ростовщический процент, как известно, отнюдь не рекламировали!), подтверждают это положение. Так, сохранилась расписка от 1509 года некоего Уолтера Прайса, который под залог земель взял ссуду 20 ф. у компании суконщиков из расчета 20 ш. квартальных⁶², т. е. 20% годовых. Вполне понятно, что на такой процент можно было согласиться только в крайности. В высоте его и крылась причина взаимной ненависти купцов и ростовщиков, их интересы вместе с развитием товарно-денежных отношений начинают все резче расходиться. Высокий процент порожден неразвитым товарным обращением, но он же и затрудняет его развитие. Поэтому борьба за снижение процента жизненно необходима зарождающейся буржуа-

⁶¹ Подробнее об этом см.: Рутенбург В. И. Очерки из истории раннего капитализма..., с. 86—90.

⁶² Johnson A. H. The History of the worshipful company of Drapers of London. Oxford, 1914, v. I. Appendix, p. 370.

зни. С другой стороны, полная отмена ростовщичества невозможна для той же буржуазии до тех пор, пока она сама не мобилизует своих капиталов. Деньги, законсервированные ростовщиками, необходимы были в производстве и торговле. И в этом крылось одно из противоречий в отношении купечества к ростовщикам. Только банковское дело могло сконцентрировать и выбросить на денежный рынок «все бездействующие денежные резервы»⁶³. Но это уже явилось итогом той длительной и упорной борьбы, истоки которой мы наблюдаем в XIII—XIV веках. Объективно это было началом борьбы, разгоревшейся в Англии последующих веков, за то, «чтобы капитал, приносящий проценты, подчинить торговому и промышленному капиталу, а не наоборот»⁶⁴. В течение этой длительной борьбы ростовщичество вынуждено было приспособляться к новым условиям и в процессе приспособления несколько видоизменилось. Коммерческий кредит несет в себе заряд нового, что является основным, но ему свойствен на этих ранних этапах развития и ряд черт, заимствованных у более примитивных форм кредитования.

Все эти явления могут быть осмыслены в полной мере только с учетом различных сторон коммерческого кредита, о чем будет идти речь особо⁶⁵.

Л. П. Репина

ГОРОДСКОЕ СОСЛОВИЕ В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ XIV В.

Вопрос об участии горожан в парламенте весьма важен для уяснения городского сословия. Создатель вигской концепции истории английского парламента У. Стаббс в своей «Конституционной истории Англии»¹, указывая на союз горожан с рыцарством как на причину образования Палаты общин, в то же время отмечал, что роль городского элемента в парламенте была второстепенной и «битва общин» (т. е. борьба за

⁶³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 153.

⁶⁴ Там же, с. 152.

⁶⁵ Статья, посвященная коммерческому кредиту в Англии XIV—XV веков, будет опубликована в очередном сборнике «Средневековый город».

¹ Stubbs W. The constitutional history of England, v. II. Oxford, 1875.

контроль над правительством) была выиграна лишь благодаря рыцарству. Последующие многочисленные исследования по истории английского парламента, в том числе и современные, внесли мало нового в постановку и решение этой проблемы: подходя к ней с политико-юридических позиций, они не разрабатывали ее социальных аспектов. По содержанию следует выделить монографию М. Мак-Кизак, специально посвященную парламентскому представительству городов в средние века². В ней освещаются вопросы об условиях выборов городских представителей, о принципе приглашения городов в парламент, о посещаемости сессий представителями разных городов, о личном и социальном составе городских парламентариев, об их деятельности и полномочиях. Многие частные вопросы истории парламента и специально его нижней палаты разбираются с «конституционных» позиций в ряде статей, однако о роли представителей городов в них либо ничего не говорится, либо просто декларируется ее второстепенность³. Отсюда редкое единодушие в этом вопросе: положение У. Стаббса разделяют историки всех направлений, как его последователи, так и критики⁴.

В советской медиевистике наметился совсем иной подход к истории сословно-представительных учреждений. В монографии Е. В. Гутновой⁵ вопросы представительства и полномочий горожан в парламенте поставлены в тесную связь с анализом

² McKisack M. The Parliamentary representation of the English boroughs during the Middle Ages. L., 1962.

³ Edwards J. G. The personnel of the Commons in Parliament under Edward I and Edward II. — In: Essays in medieval history presented to T. F. Tout. Manchester, 1925; Edwards J. G. The Parliamentary Committee of 1398. — «English Historical Review», L., 1925, v. 40; Lewis N. B. — Re-election to Parliament in the reign of Richard II. — «English Historical Review», L., 1933, v. 48; Palmer J. J. N. The Parliament of 1385 and the constitutional crisis of 1386. — «Speculum», Cambridge (Mass.), 1971, v. 46; Richardson H. G. and Sayles G. O. The Parliaments of Edward III — «Bulletin of the Institute of Historical Research», L., 1931—32, v. 9; Richardson H. G. The Commons and medieval politics. — «Transactions of Royal Historical Society». Fourth ser., L., 1946, v. 28; Tout T. F. Parliament and public opinion, 1376—1388. — «Historical studies of the English Parliaments». Ed. by E. B. Fryde and Ed. Miller, v. I. Cambridge, 1970; Tuck J. A. The Cambridge Parliament, 1388. — «English Historical Review», L., 1969, v. 84.

⁴ Ср.: Stubbs W., v. II, p. 616; McKisack M., p. 119; Haskins G. L. The growth of English representative government. New York, 1960, p. 84; Trevelyan G. M. England in the age of Wycliffe. L., 1900, p. 14; Richardson H. G. The Commons..., p. 35; Green V. H. H. The later Plantagenets. L., 1966, p. 99 etc.

⁵ Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960.

конкретной расстановки социальных сил в стране, с выявлением роли городов в процессе государственной централизации, с характеристикой соответствующего этапа консолидации городского сословия и определением его перспектив.

В настоящей статье вопрос об участии и роли горожан в парламенте XIV века рассматривается с точки зрения социально-политического развития городского сословия, с одной стороны, и с точки зрения развития английской сословной монархии — с другой. Место горожан в системе английского феодального государства в XIV в. не может быть понято вне парламента, пережившего в этот период бурный подъем.

Представители городов (*cives et burgenses*) были одним из основных образующих элементов парламента с самого начала его существования, хотя постоянными его участниками они стали только после 1297 г. При Эдуарде I в парламент приглашались 177 городов, но в каждый парламент в среднем не более 1/2 общего числа «парламентских» городов, причем только 58 из них посылали своих представителей более или менее регулярно⁶. Среднее число городов, представленных в каждом парламенте Эдуарда II, — 67—70, общее число — 110, причем 8 из них не были представлены ранее. В то же время 59 мелких городов, которые ранее получали нерегулярные приглашения, теперь совсем исчезли из числа «парламентских». На парламентских сессиях при Эдуарде III каждый раз в среднем присутствовали представители от 75 городов, прибавилось 7 новых «парламентских» городов. В каждом парламенте Ричарда II в среднем было представлено 83 города и не упоминается ни одного, который бы не участвовал в парламентских сессиях ранее⁷.

Итак, на протяжении XIV в. четко прослеживается рост числа городов, регулярно представленных в парламенте, и отсев ряда мелких городов из числа «парламентских». Как показала в своей монографии Е. В. Гутнова, регулярность приглашения городов в парламент зависела прежде всего от их экономического значения и административного положения в графстве⁸. Причина увеличения числа городов в каждом парламенте коренилась, очевидно, в том, что некоторые города, которые ранее были совершенно незначительными и мало отличались

⁶ Там же, с. 388—391.

⁷ McKisack M., p. 24—30.

⁸ Гутнова Е. В. Возникновение..., с. 397.

от деревень, в XIV в. укрепились экономически и приобрели определенный вес в графствах.

Приглашения, как и в XIII в., посылались не непосредственно городам, а через шерифов графств, которым предписывалось дать указание *каждому* городу и бургу провести выборы своих представителей в парламент⁹. Поскольку в них не указывалось, сколько городов должно быть представлено и какие именно, то шериф сам решал этот вопрос. Если в XIII в. был достаточный простор для трактовки терминов «город» и «бург», то в XIV в. положение изменяется: в силу вступает традиция. Большое число городов, представленных в парламентах Эдуарда I, продолжает посылать своих депутатов и в последующее время. М. Мак-Кизак убедительно доказала, что участие горожан в парламентах XIV в. было регулярным, и опровергла точку зрения тех историков, которые считали, что города не были заинтересованы в посещении парламента, так как это якобы обязывало платить большую квоту налога¹⁰: в действительности все города, независимо от их участия в парламентском представительстве, платили одинаковую квоту налогов¹¹. Напротив, городам было выгоднее посылать своих полномочных представителей в парламент, где они, совместно с рыцарями графств, имели какую-то возможность контролировать налогообложение. Кроме того, установлено, что даже в ряде случаев, когда город не успевал ответить на повестку шерифа, его представители участвовали в парламентской сессии¹².

Изучение состава горожан-парламентариев показывает, что несмотря на разнообразие процедур выборов в различных городах Англии, они повсюду находились под контролем городской верхушки¹³. Те же лица, которые занимали ключевые позиции в городском самоуправлении, захватили в свои руки и представительство в парламенте. Отсюда немало случаев переизбрания одних и тех же лиц на несколько парламентов. 45% представителей Лондона в парламентах XIV в. были избраны по одному разу, но 27% посетили от 3 до 7 парламентских сессий. Из них выделялся Джон Хэдли, который был изб-

⁹ Форма повесток стала стереотипной (см.: *The Parliamentary writs and writs of military summons*. Ed. by F. Palgrave. L., 1827, p. 85).

¹⁰ См., например: *Maitland F. W. The constitutional history of England*, Cambridge, 1926, p. 174.

¹¹ McKisack M., p. 28—29, 77—78.

¹² Edwards J. G. *The personnel of the Commons...*, p. 206—207.

¹³ McKisack M., p. 33—38.

ран 11 раз¹⁴. В Норидже с 1307 по 1399 гг. были избраны 152 представителя города в парламент, но эту обязанность выполняли всего 60 человек. Из них Уолтер Бикстон — 15 раз, Томас Бат — 12 раз и т. д. Уильям Граа из Йорка заседал в 14-ти парламентах, его сын Томас — в 12-ти: Уильям де Гейль из Ярмута — в 18-ти¹⁵. В мелких городах выбор был еще более ограничен¹⁶. Все это значит, что в XIV в., как и в XIII, «городское представительство в парламенте являлось представителем самых богатых и влиятельных слоев населения экономически наиболее развитых городов Англии»¹⁷. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в XIV в. оно стало регулярным и более четко оформившимся.

Роль парламента в XIV в. значительно возросла. В политических столкновениях этого периода родились новые его функции, укрепилась старые. Несмотря на серьезные расхождения в интерпретации термина «la Communalte du Roialme» заключительной фразы Йоркского статута 1322 г.¹⁸, остается бесспорным тот факт, что этот знаменитый законодательный акт закрепил политические успехи представительного элемента в английском парламенте и способствовал его дальнейшему прогрессу. К началу 40-х гг. XIV в. относится образование Палаты общин, происшедшее на основе постепенного сближения двух сословий: рыцарства и горожан, прочно связанных общими экономическими интересами. Во II половине XIV в. в результате упорной борьбы за контроль над правительством парламент приобретает некоторые ревизионные полномочия, хотя и недостаточно широкие: он добивается подотчетности королевских министров по вопросу о расходовании парламентских субсидий и налогов, права «импичмента». Кроме того, общины, опираясь на свою самую ценную политическую привилегию — санкционирование налогов, берут на себя задачу «советовать» королю по некоторым вопросам государственного управления и внешней политики. С тех пор как устанавливается контроль общин над прямым налогообложением, почти в каждом парламенте разрешению ассигнований предшествует билль, содержащий требования, удовлетворение которых

¹⁴ Thrupp S. The merchant class of medieval London. Chicago, 1948, p. 57.

¹⁵ McKisack M., p. 40.

¹⁶ Edwards J. G. The personnel..., p. 202 (Table D.).

¹⁷ Гутнова Е. В. Возникновение..., p. 413.

¹⁸ Statutes of the Realm, 1101—1713, v. I. L., 1810, p. 189.

являлось условием согласия налогоплательщиков¹⁹. С 1340 г. формально, а после нескольких подтверждений и фактически контроль над таможенными пошлинами также переходит к парламенту²⁰.

В XIV в. на повестке дня парламентских сессий стояли важнейшие вопросы политического и дипломатического характера. В 1343 г. «рыцарям графств и общинам» было предписано обсудить между собой предложения о мире с Францией²¹, в 1348 г. «рыцарям и другим из общин» — планы ведения войны²². Следует отметить, что вопросы, связанные со Столетней войной, были далеко не безразличны горожанам, а точнее английскому купечеству: обеспечение рынка сбыта английской шерсти во Фландрии, свобода и безопасность судоходства в проливах, надежность английского владычества в Гасконии являлись жизненно важными условиями для развития двух основных направлений английской внешней торговли — экспорта шерсти и импорта вина, в которых главным образом были заинтересованы члены Стапельной компании во главе с крупными лондонскими купцами и купеческая верхушка Бристоля²³. Поэтому можно предположить, что в борьбе за контроль над средствами, предоставленными короне для ведения войны, горожане в парламенте, наряду с рыцарством, сыграли немалую роль.

Одним из важнейших направлений деятельности общин XIV в. была выработка Рабочего законодательства, в котором, хотя и в меньшей степени, чем рыцарство, была заинтересована и городская верхушка, эксплуатировавшая труд подмастерьев и наемных рабочих. В Рабочем законодательстве союз рыцарства и верхушки городского сословия заявил о себе в полной мере, но здесь же проявилось неравноправное положение горожан, относительная слабость их позиций в парламенте. Об этом говорит целый ряд моментов: недостаточная тщательность в регламентации условий работы и оплаты подмастерьев и наемных рабочих, и, наконец, постановление 1388 г., запре-

¹⁹ Rotuli Parliamentorum; ut et petitiones et placita in Parlamento, 1278—1503, v. II. L., 1832 (далее — R. P.), p. 127, 139, 148, 160, 200, 238, 252, 269, 276; III, p. 90, 204, 213, 221, 245, 248 etc.

²⁰ См.: Репина Л. П. Взаимоотношения государства и купечества в области торговли и финансов в Англии XIV в. — В кн.: Средние века, вып. 37. М., 1973.

²¹ R. P., II, p. 136.

²² R. P., II, p. 164—165.

²³ Репина Л. П. Указ. ст., с. 230—249.

тившие лицам, занятым в сельском хозяйстве, поступать в ученики к мастерам-ремесленникам. В этом постановлении «ясно чувствуется стремление сохранить дешевую рабочую силу в деревне, прекратить отлив этой рабочей силы в города»²⁴.

Однако общее возрастание роли городов в английском сословном представительстве нашло свое отражение в политическом трактате «О порядке ведения парламента»²⁵, согласно которому «*cives et burgenses*», хотя и представляют собой низший, шестой ранг пэров (VI. *De gradibus parium Parliamenti*), но являются неотъемлемой частью общин, обладающих исключительным правом пожалований королю (XXIII. *De auxiliis regis*). Этот политический памфлет в ряде вопросов отражает не установившуюся традицию, а рекомендации автора, но и они очень важны, так как, по-видимому, основываются если не на современном общественном мнении, то, по крайней мере, на политических воззрениях какой-то группы должностных лиц, тесно связанных в своей повседневной работе с деятельностью парламента. Примечательно, что для принятия решений в особо трудных случаях автор считает необходимым создание специального комитета из 25 человек с привлечением 5 рыцарей, 5 «*civis*» и 5 «*burgensis*» (XVII. *De casibus et judiciis difficilibus*). По всей вероятности, подобный проект учитывал возрастание роли общин в ходе политических конфликтов I четв. XIV в. и, в какой-то мере, укрепление позиций городского сословия в парламенте.

К сожалению, парламентские протоколы не зафиксировали переговоров и дебатов в самой Палате общин. Однако они все же дают некоторые сведения о деятельности городских представителей, получавших иногда назначение в какую-нибудь парламентскую комиссию. В мартовском парламенте 1340 г. 12 рыцарей и 6 горожан, по распоряжению короля, были избраны общинами, для участия совместно с баронами в заслушивании петиций и подготовке статута на их основе. В майском парламенте 1382 г. была назначена специальная комиссия куп-

²⁴ Кириллова А. А. Рабочее законодательство в английском городе XIV—XV вв. — «Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1969, № 294, с. 118.

²⁵ Датируется 20-ми гг. XIV в., авторство приписывается Уильяму Эйрмину, хранителю свитков канцелярии с 1316 по 1324 гг., а позднее казначею Эдуарда III (Taylor J. Medieval historical writing in Yorkshire. York, 1961, p. 23); латинский текст трактата, составленный на основе сличения 17 ранних рукописей, опубликован в кн.: Clarke M. V. Medieval representation and consent. New York, 1964, p. 373—384.

цов с целью выявить возможности предоставления займа короне²⁶. Однако эти факты были скорее исключением, большинство парламентских комиссий не имело в своем составе представителей городов. Характерно, что в комиссию, которая была избрана парламентом 1398 г. в Шрузбери и фактически приняла на себя его функции, от Палаты общин вошло 4 рыцаря и ни одного горожанина²⁷. Ни один из городских парламентариев не избирался в этот период спикером²⁸.

О деятельности Палаты общин, и в том числе депутатов-горожан, можно судить по «*petitions des communes*». Законодательная функция английского парламента оформилась именно в XIV в. Если в правление Эдуарда I почти все парламентские акты исходили от короля или совета, то в рассматриваемый период установилась новая законодательная процедура — по петиции, или биллю, общин. Появление первой «*petition des communes*» относится к 1333 г., хотя и до этого времени, еще в правление Эдуарда II, рыцари и горожане в парламенте подавали как совместные с баронами и прелатами, так иногда и отдельные петиции²⁹. В январском парламенте 1333 г. в королевский совет была подана «*petitio communitalis*» из 17 статей³⁰: ст. 1 требовала немедленных мер «для спасения Шотландской марки», ст. 2 — соблюдения статута о королевских закупках продуктов питания, ст. 3—5, 7 и 9 — урегулирования местного самоуправления и судопроизводства в графствах, ст. 6 и 14 — своевременного ответа на все петиции общин в парламенте, ст. 8 — соблюдения постановлений о торговле вином, ст. 10 — предоставления покровительства заморским ткачам. В ст. 11 высказывалось пожелание, чтобы сборщиками королевских пошлин в городах назначались те лица, которые владеют в них землями и держаниями в достаточном количестве. В ст. 13 излагается просьба общин, чтобы пойманный пират Джон Краб, который «грабил и убивал купцов», был наказан, «как он того заслуживает». Ст. 12 и 16 касались усовершенствования практики в королевских судах, ст. 15 — нужд непосредственных держателей короны. В ст. 17 содержалась жалоба на нарушение суконной ассизы. Рас-

²⁶ R. P., II, p. 113; III, p. 123.

²⁷ Edwards J. G. The Parliamentary Committee..., p. 321—333.

²⁸ Marsden Ph. The officers of the Commons. L., 1966; Roskell J. S. The Commons and their Speakers. Manchester, 1965.

²⁹ R. P., I, p. 289, 299, 371, 372, 375, 430.

³⁰ Rotuli Parliamentorum Angliae hactenus inediti, 1279—1373. L., 1935 (далее — R. P. (hac. ined.), p. 224—230.

смотренный билль содержит, таким образом: 1) чисто рыцарские требования, 2) требования, общие для рыцарей и горожан и 3) специфически городские требования, отражавшие интересы купеческой верхушки, которая составляла основной контингент горожан-парламентариев. Петиция общин 1334 г. состоит из 20 пунктов³¹: в ст. 1 говорится о необходимости соблюдения Хартии вольностей, Лесной хартии и всех законов, ст. 2—5, 10—11 и 19 касаются вопросов судопроизводства и местного управления в графствах, ст. 6—7 — злоупотреблений в центральных судах, ст. 8—9 содержат требования о разграничении светской и церковной юрисдикции, ст. 12 — об изменении порядков опекуинства в городах с целью оградить подопечных от разорения в результате произвола и махинаций опекунов. В ст. 13 и 18 затрагиваются взаимоотношения короны с вассалами. В ст. 14 говорится о том, что в результате раздоров между Ярмутом и Литл-Ярмутом цена сельди резко повысилась и горожане Лондона, Пяти Портов и других городов, а также иностранные купцы считают, что можно ожидать еще худших последствий, если не будут приняты решительные меры, о чем общины и просят короля. Ст. 15 содержит требование обеспечить соблюдение суконной ассизы, ст. 16 — запретить вывоз полноценной английской монеты из страны, ст. 17 касается «вечной» темы о королевских захватах и реквизициях товаров на ярмарках и рынках, ст. 20 требует отмены Стап-ля. Таким образом, и в этой петиции общин мы наблюдаем сочетание единых интересов горожан и рыцарства со специфическими интересами каждого из этих социальных слоев. Характерно, что в ней присутствует целый ряд требований, касающихся вопросов экономической политики, где особенно тесно переплетаются насущные потребности обоих сословий, глубоко вовлеченных в сферу товарно-денежных отношений. Однако по вопросам судебно-административного характера преобладают требования рыцарства. К аналогичным выводам приводит и анализ всех опубликованных к настоящему времени петиций общин XIV века³².

Каковы основные сюжеты «городских» статей петиции общин? Это чаще всего — соблюдение городских вольностей и привилегий (как в общей, так иногда и в развернутой форму-

³¹ R. P. (hac. ined.), p. 232—239.

³² Всего опубликовано 43 петиции общин: 3 — в R. P. (hac. ined.) и 40 — в R. P., II, III. О некоторых из них см.: Репина Л. П. Указ. ст. и ниже. с. 70—72.

лировке) и подтверждение хартий, затем большое количество статей, посвященных вопросам городской торговли и ремесла³³. Многие статьи исходят от различных групп английского купечества, вернее его верхушки: монополистов лондонского рынка и купцов, занимавшихся внешней торговлей³⁴. В последней четверти XIV в. почти в каждом парламенте в петиции общин включались статьи, касающиеся привилегий Лондона, а также ряда вопросов, связанных с противоречиями и конфликтами внутри города³⁵. Тем не менее в основном «городские» статьи этих петиций выражали наиболее общие интересы горожан, носили общесословный характер. Они демонстрируют значительную степень осознания горожанами своей экономической и социальной общности. Поскольку наиболее общие материальные предпосылки развития городов в определенной мере разделялись и рыцарством, их совместные требования приобретали больший вес, возможность их воплощения в жизнь становилась более реальной.

Деятельность горожан-парламентариев не ограничивалась участием в выработке петиций общин, она имела еще один аспект, на важность которого впервые указала М. Мак-Кизак. Найденные ею в архивах Нориджа, Линна, Кембриджа и Лондона отчеты представителей городов в парламентах второй половины XIV в. и наказания депутатам свидетельствуют о том, что им предписывалось всеми силами содействовать принятию петиций их городов и получению на них положительных ответов³⁶. «Парламентские свитки» содержат большое число петиций от отдельных городских корпораций. Их можно разделить по содержанию на несколько видов: 1) просьбы о подтверждении и соблюдении вольностей и о получении дополнительных привилегий³⁷; 2) просьбы уменьшить или отсрочить уплату фирмы или принять меры для увеличения городских

³³ Следует подчеркнуть, что в XIII в. вопросы городского ремесла и торговли, а также вопрос о пошлинах, никогда не возбуждались в парламенте (Гутнова Е. В. Городское представительство в английском парламенте конца XIII — начала XIV вв. — В кн.: Средние века, вып. 4. М., 1953, с. 130).

³⁴ R. P., II, p. 143, 169, 171, 230, 241, 287, 296, 319—20, 365; III, p. 42—47, 67—68, 87 etc.

³⁵ R. P., II, p. 296, 367; III, p. 16—17, 141—143, 173—174, 291—293.

³⁶ McKisack M., p. 134.

³⁷ R. P., I, p. 377 (Гастингс), p. 381 (Гуль), p. 394 (Беверли), p. 404 (Певенси), p. 426 (Дэнвич), p. 432 (Гуль); II, p. 41 (Норидж), p. 47 (Кембридж), p. 51 (Йорк, Оксфорд) и т. д.

доходов «в помощь фирме»³⁸; 3) просьбы об охране торговли в городе, купцов этого города, торговых путей и т. п.³⁹; 4) жалобы на беспорядки, злоупотребления чиновников и других лиц или корпораций и нарушение судопроизводства в городе⁴⁰. Естественно, петиции отдельных городов касаются частных, локальных проблем, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что именно в них содержатся в первоначальном виде основные общесловные требования горожан, которые затем появляются в биллях общин, уже потеряв свое конкретное, «инцидентное» воплощение.

В связи с этим следует остановиться на уникальной по своей форме петиции 1372 г. Этот билль общин содержит особо озаглавленную группу статей — «Les petitions des Citizens et Burgeis»⁴¹. Она состоит из 4-х пунктов: 1) о соблюдении вольностей и привилегий Лондона и других городов и бургов королевства; 2) просьба отменить Ордонанс о конфискации имущества у английских купцов, нарушивших постановление Стапельного ордонанса 1353 г. о запрещении для них экспорта шерсти⁴², и вернуть им конфискованное имущество; 3) отменить постановление о конфискации вина, закупленного английскими купцами в Гаскони сверх определенного для них максимума (100 бочек), и возместить убытки от ранее произведенных конфискаций; 4) просьба о том, чтобы купцам, которые вывозят шерсть, кожи и овчины по королевским патентам, была гарантирована безопасность, и чтобы в настоящем парламенте было установлено точное местопребывание Стапеля, так как частое его перемещение «приносит вред королю и его стране». Совершенно ясно, что в этой петиции выражены прежде всего интересы купечества, а точнее — крупного купечества, занимающегося внешней торговлей. Первая статья по форме явно скопирована с традиционных вступительных статей петиций общин, но скрывает под своей оболочкой новую

³⁸ R. P., I, p. 383 (Виндзор), p. 397 (Колчестер), p. 412 (Дэвнич), p. 414 (Ярмут, Литл-Ярмут, Линн и Дэвнич), p. 433 (Линкольн), p. 438 (Ньюкасл); II, p. 85 (Нортгемптон), p. 178 (Ньюкасл), p. 210—211 (Дэвнич) и т. д.

³⁹ R. P., I, p. 278 (Лондон), p. 290 (Линкольн), p. 340 (Винчестер), p. 331 (Линн), p. 410 (Йорк), p. 412 (Гримсби), p. 414 (Честер), p. 467 (Бервик); II, p. 87 (Винчестер и Солсбери), p. 93 (Айл) и т. д.

⁴⁰ R. P., I, p. 331 (Линн), p. 434 (Бристоль); II, p. 26 (Честер), p. 28 (Скарборо), p. 44 (Дэвнич), p. 51 (Оксфорд), p. 92 (Бедфорд), p. 97 (Скарборо), p. 213 (Линкольн), p. 367 (Лондон) и т. д.

⁴¹ R. P., II, p. 314—315.

⁴² См.: *Репина Л. П.* Указ. ст., с. 238—242.

попытку торгового населения английских городов воздействовать на правительство в вопросе об исключении иностранных купцов из внутренней торговли, борьба вокруг которого обострилась во второй половине XIV века⁴³. Таким образом, и эта «общегородская» петиция отражала интересы купечества, что естественно: депутаты от городов представляли прежде всего купеческую верхушку и защищали ее экономические интересы.

К 70-м гг. XIV в. относится обострение социально-политической борьбы в Англии. Борьба эта протекала в основном на парламентской арене и инициатива в политическом конфликте принадлежала общинам. Специально о роли представителей городов в знаменитом «Добром» парламенте 1376 г. ни протоколы, ни хроники ничего не сообщают⁴⁴, они упоминают лишь о деятельности общин в целом. Тем не менее, единодушная поддержка спикера де ла Мара всеми депутатами Палаты общин⁴⁵, а также содержание петиций, представленных им, не оставляют сомнения в том, что последние явились плодом сотрудничества двух сословий, их совместной борьбы против чрезмерного государственного налогообложения и злоупотреблений исполнительной власти на местах и в центре. Именно в «Добром» парламенте союз горожан и рыцарства нашел свое наиболее яркое выражение. Билль общин насчитывал 142 пункта⁴⁶. Среди них была группа статей, выражавших требования городского населения, точнее — его купеческой, и частично цеховой верхушки: ст. 3 об отмене тех статей хартий отдельных внутригородских корпораций, которые ограничивают полномочия мэра и бейлифов; ст. 7, 9 и 101 о лишении королевского покровительства и высылке из страны ломбардских купцов-простовицков; ст. 8 — о соблюдении монополии фрименов данного города в торговле внутри городов, ст. 10 и 57 — об усилении мер по осуществлению рабочего законодательства, в том числе и в городах; ст. 19 — о предоставлении мэрам портовых городов дополнительных полномочий; ст. 31, 74 и 77 — о прекращении незаконных арестов кораблей; ст. 36 — о регламен-

⁴³ Подробно об этом там же, с. 235—236.

⁴⁴ Сохранились два подробных неофициальных отчета о «Добром» парламенте (Chronicon Angliae, 1328—1388. Rolls series. L., 1874, p. 68—81; The Anonimale Chronicle 1333 to 1381. Manch., 1970, p. 79—95); кроме того, об отдельных заседаниях Палаты общин в этом парламенте Anonimale Chronicle, p. 79—83). Упоминаются три докладчика — все рыцари.

⁴⁵ См.: Tout T. F. Parliament and public opinion..., p. 305—306.

⁴⁶ R. P., II, p. 331—360.

тации торговли вином; ст. 41 — об ограничении юрисдикции стюардов и маршалов; ст. 80 — о погашении королевского долга общинам многих городов и бургов; ст. 85 — о снижении фирмы; ст. 106 — о привлечении жителей предместий к уплате фирмы и других городских налогов; ст. 116 — о соблюдении городских вольностей и подтверждении хартий. Как всегда, доля специфически городских статей в петициях общин была невелика, но следует учитывать, что горожане были заинтересованы и в многочисленных общих требованиях, касающихся экономических вопросов, фискальной политики короны, судебных и административных злоупотреблений, а также, в осуществлении задач политического характера, связанных с деятельностью парламента, королевского совета, обороной страны, отношениями с римской курией и т. п. В билле общин значительное место занимали также локальные петиции от отдельных городов. Политическая платформа городского сословия в «Добром» парламенте не свободна от духа корпоративизма, локальных тенденций, социальных контрверз, но именно в этом конфликте она предстает в наиболее полном и развернутом виде.

Подведем некоторые итоги.

1. По сравнению с XIII в. позиции городов в парламенте XIV в. значительно укрепились, что было связано с ростом экономического и социального значения городов, а также с общим прогрессом сословного представительства в Англии.

2. На основе вовлечения рыцарства в рыночные отношения, постепенно, начиная с конца XIII в., происходит процесс сближения экономических интересов рыцарей и горожан, который приводит в середине XIV в. к оформлению их союза в Палате общин. Роль лидера в Палате общин, безусловно, принадлежала рыцарству, но «теневое» положение горожан не должно скрывать тот факт, что позиции их парламентских представителей обеспечивали достаточно эффективную защиту основных требований городского сословия, поскольку они совпадали с интересами его союзника, или хотя бы не противоречили им. Однако не стоит и преувеличивать прочность и гармонию внутри этого альянса, по крайней мере, на той стадии, в которой он находился в рассматриваемый период. Союз рыцарства и горожан не был избавлен от серьезных противоречий, в первую очередь по вопросу о монополиях в экспортной торговле и о привилегиях иностранных купцов в Англии⁴⁷.

⁴⁷ Подробнее об этом см. указ. статью автора (Средние века, вып. 37, М., 1973).

3. В XIV в. процесс консолидации средневекового сословия горожан переходит в свою заключительную фазу. Если в социально-экономическом и правовом отношении городское сословие складывается на протяжении XII—XIII вв.⁴⁸, то в XIV в. оно получает четкое политическое оформление, ставшее возможным в результате укрепления позиций парламента в системе английского феодального государства. Именно в парламенте нашли свое выражение общесословные интересы горожан, здесь они были впервые осознаны как таковые. Следует подчеркнуть, что большинство «общегородских» петиций составлено на базе материальных интересов наиболее влиятельного и развитого в политическом отношении слоя городского населения — купечества.

4. Союз горожан и рыцарства в парламенте обусловил как консолидацию Палаты общин, так и невыделенность, неотчлененность позиций представителей городов в ней. Однако именно союз между горожанами и низшим дворянством (который был невозможен во Франции, где наблюдаются жесткие границы и ярко выраженная рознь между сословиями⁴⁹) явился главным фактором, обеспечившим большой вес английского парламента в политической жизни страны и, одновременно, реальные условия для осуществления основных требований верхушки горожан, возможность оказывать известное влияние на законодательство государства и действия его исполнительной власти.

Н. И. Девятайкина

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В «ИСПОВЕДИ» ПЕТРАРКИ

Интерес к мировоззрению Петрарки не угасает шесть веков, он особенно возрос в последние десятилетия. Исследователей прежде всего занимает вопрос о смысле идейных исканий Петрарки, их историческом месте и значении.

⁴⁸ Гутнова Е. В. Предпосылки централизации английского государства в XII—XIII вв. — В кн.: Средние века, вып. 9, М., 1957, с. 246.

⁴⁹ Характеристику городского представительства во Франции см.: Денисова Н. А. К вопросу о политической роли горожан на Генеральных Штатах Франции начала XIV века. — «Вестник МГУ. Сер. ист.», М., 1966, № 3.

Старые авторы почти единодушно признавали, что Петрарка — первый гуманист, родоначальник идейного движения, противоположного средневековому мирозерцанию¹, или, по крайней мере, самый близкий предшественник Возрождения². И хотя зачастую они толковали гуманизм Петрарки весьма односторонне как восстановление античных норм и правил в моральной философии, политике, научных поисках, хотя почти не поднимался вопрос о противоречиях в его мировоззрении, огромную важность имеет вывод этих историков о принципиальном размежевании новой идейной системы со старой, христианско-церковной.

Но сегодня в западной историографии весьма отчетливо проявляется тенденция как к переосмыслению сущности гуманизма в целом, так и к переоценке роли Петрарки в нем. Клерикальные авторы, вслед за Ф. Арцем, считавшим Петрарку преданным учеником Августина, причисляют его к правоверным христианам, одним из многих искренне благочестивых и созерцательных августинистов, как уверенно заявляет Папини³. Сторонники этой точки зрения видят в авторе «Канцоньере» верного сына церкви, полностью удовлетворенного ее догмами и не нуждавшегося в другом руководстве. Они подчеркивают дух твердой религиозной ортодоксии его трудов и мыслей, аскетизм жизненных правил⁴. Каррара и Петронио объявляют Петрарку средневековым писателем, живущим чи-

¹ Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Спб., 1876. Körtling G. Petrarkas Leben und Werke. Leipzig, 1878; Nolhac P. Petrarque et l'humanisme. P., 1882; Owen J. The sceptics of the Italian Renaissance. L., 1893. В русской историографии первое место в изучении Петрарки принадлежит М. С. Корелину, который видел значение его трактатов в том, что в них впервые философская мысль отрывается от богословской почвы (см.: Корелин М. С. Очерки из истории философской мысли в эпоху Возрождения. Мирозерцание Франческо Петрарки. М., 1896).

² De Sanctis Fr. Saggio critico sul Petrarca. Milano, 1869; Гаспару А. История итальянской литературы. М., 1895; Овett А. История итальянской литературы. Спб., 1908.

³ См.: Artz F. R. The Mind of Middle Ages. A. D. 200—1500. N. Y., 1958, p. 437—438; Papini G. L'aurora della letteratura italiana. Firenze, 1956, p. 261—262.

⁴ См.: Nachod H. Introduction to the treatise «De sui ipsius et multorum ignorantia». — In: Renaissance philosophy of Man. Chicago, 1948, p. 24—27; Gabrieli G. Petrarca e gli arabi. — In: Rivista di cultura classica e medioevale. 1956, t. 1, p. 493—494; Iliescu N. IL Canzoniere petrarchesco e Sant'Agostino. Roma, 1962, cap. 1; Bishop M. Petrarch and his world. L., 1964, p. 353—355.

сто «готическими идеалами»⁵. Все эти авторы не признают в нем гуманиста, не усматривают ничего общего между ним и деятелями Возрождения XV—XVI вв.

Несколько иным по форме, но сходным по существу, является пересмотр мировоззрения Петрарки сторонниками концепции т. н. «христианского гуманизма», число которых в последнее время (особенно в Италии) сильно возросло. Подобно В. Патеру и К. Бурдаху, они не отрицают гуманизма как явления, Петрарку — как гуманиста, но, например, из энергичных утверждений Фр. Татео становится ясно, что эти авторы совершенно не приемлют «давно оставленную» точку зрения старых исследователей, «схематически» и «несостоятельно» рассматривавших гуманизм как революционную противоположность средневековому мирозерцанию⁶. В приложении к Петрарке эта концепция получила фундаментальную разработку еще в сочинении П. Джерозы «Христианский гуманизм Фр. Петрарки» (1925), основная идея которого состоит в том, что Петраркой, как и другими мыслителями Возрождения, было лишь воспринято и углублено то, что он называет «исконным христианским гуманизмом» — стремление души вырваться из телесной оболочки и устремиться к небу. Автор постоянно подчеркивает тесное родство духовных исканий Петрарки с его «учителем» Августином⁷.

Позднее данный тезис получил развитие в работах К. Калькатерры, который, следуя «эластичной» формулировке Дж. Тоффанина, определял гуманизм как гармоническое единство античной философии и глубоко интимного восприятия христианства. «Петрарка, — пишет К. Калькатерра, — в своем гуманизме соединял, сливал, а не разделял то, что он получил от античных классиков, и то, что от христианских. Римское наследие и библейско-христианская традиция оформляются в его мировоззрении через чувства, фантазию, созерцание»⁸. Эта идея лежит в основе многих исследований 50—60 гг. (А. Рено-

⁵ См.: Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956, с. 6—7.

⁶ Tateo Fr. Dialogo interiore e polemica ideologica nel «Secretum» del Petrarca. Firenze, 1965, p. 1—11 etc.

⁷ Gerosa P. Umanesimo cristiano del Petrarca. Torino, 1966 (led. — 1925). Основные выводы этой работы в 30-е годы развивали Де Гандильяк и Буш (см.: De Gandillac, Maurice, Petrarque et son démon. — In: Essais sur Kierregard, Petrarque, Goethe. P., 1934, p. 166, 199; Bush D. The Renaissance and English humanism. Toronto, 1939, p. 68).

⁸ Calcaterra C. Il Petrarca e il petrarchismo. — «Questioni e correnti di storia di letteratura». Milano, 1963, vol. 3, p. 183—190.

де, Л. Бальдаччи, А. Вискарди, М. Скьявоне). Скьявоне, например, пришел к «бесспорному» выводу, что «оригинальность и новизна Петрарки — в полном примирении между классицизмом и христианством, Цицероном и Августином»⁹.

Часть исследователей, признавая самобытный и светский характер Возрождения, оставляют Петрарку за его рамками, еще целиком в старой цивилизации (У. Боско, Р. Романо)¹⁰, или видят в нем мыслителя переходного, предренессансного периода (М. Лобе, А. Бернардо, Б. Курато, Т. Берген, Б. Пулэн)¹¹.

Но в современной западной историографии встречаются также попытки иного подхода к творчеству Петрарки. Некоторые авторы (Г. Леви, В. Дьюрент, У. Дотти) подчеркивают, что заслуга Петрарки состоит в полном перемещении человеческого внимания с иррационального на естественное, в формировании человеческой личности, в освобождении индивида от всякого духовного ярма и прославлении со всей энергией этого мира. Певца Лауры признают подлинным отцом Ренессанса¹².

Весьма плодотворную характеристику Петрарке дает один из наиболее глубоких в современной Италии историков ренессансной философии Дж. Саитта. Он приходит к выводу, что традиционные вопросы — творения, провидения бога, бессмертия души еще занимают Петрарку, но получают совершенно новое толкование. В поисках человека он проникает в глубину нашей сущности, восстанавливает веру в наши силы, в воз-

⁹ Renaudet A. Ethique humaniste et spiritualité de Petrarque. — «Travaux d'humanisme et Renaissance», 1958, vol. 30, p. 54, 72; Baldacci L. Fr. Petrarca. — «Dizionario Enciclopedico». Toronto, 1959, vol. 9, p. 1061; Viscardi A. Storia della letteratura italiana. Milano, 1960, p. 357; Schiavone M. Note sul pensiero filosofico di Fr. Petrarca. — In: Problemi e aspetti dell'umanesimo. Milano, 1969, p. 41.

¹⁰ Bosco U. Petrarca. Bari, 1961, p. 119—122; Romano R. L'Italia nella crisi del XIV secolo. — «Nuova rivista storica», fasc. V, VII, 1966.

¹¹ Lobet M. Le secret de Petrarque pénitent. — In: Ecrivains en aveu. Bruxelles-Paris, 1962, p. 44; Bernardo A. Petrarch, Scipio and the «Africa». The birth of Humanisms dream. Baltimor, 1962, p. 202; Curato B. Introduzione a Petrarca. Cremona, 1963, p. 12; Bergin T. G. Petrarch. N. Y., 1970, p. 21; Pullan B. A history of early Renaissance Italy. L., 1973, p. 189.

¹² Levi G. Pensiero classico e pensiero cristiano nel «Secretum» del Petrarca. — «Atene e Roma», 1933, 35, p. 46; Durant W. The Renaissance. A history of civilisation in Italy from the birth of Petrarch to the death of Titian. 1304 to 1576. N. Y., 1953, p. 9—10; Dotti U. La formazione dell'umanesimo nel Petrarca. — «Belfagor». Firenze, 1968, sett. anno 23, N 5, p. 544—545.

можности преобразования человечества. Он возвращает этому миру всю его важность и ценность. Петрарка начал великую гуманистическую революцию: именно с него новый дух, современная мысль проявляются во всех сферах жизни¹³.

Г. Барон, более тридцати лет занимающийся творчеством Петрарки, приходит в одной из последних статей к важному выводу: роль автора «Канцоньере» в гуманизме состоит не только в том, что он был творцом нового взгляда на человека, но и в том, что он стал сознавать зияющую пропасть между религиозным образом жизни своего времени и теми ценностями, которыми сам восхищался¹⁴.

Особенно горячие споры идут по поводу идейных исканий Петрарки. Сторонники «христианского гуманизма» находят в них ясные свидетельства мистицизма, в конфликтах — точное повторение пережитого Августином, Амвросием и другими отцами церкви¹⁵. Есть и иная тенденция — внутренняя борьба Петрарки объясняется как конфликт разума с чувствами: сознательно он стремился сохранить и укрепить в себе старое, примирить с ним свои новые идеалы¹⁶. Отдельными исследователями высказывается противоположное мнение, — что колебания и внутренняя борьба первого гуманиста были результатом его неспособности и нежелания отказаться от новых взглядов и ценностей¹⁷.

Большинство советских исследователей истории Возрождения придерживаются точки зрения, высказанной в книге В. И. Рутенбурга «Италия и Европа накануне нового времени»: формальное облачение петрарковской философии — средневеково-христианское, фактическое содержание — новое, гуманистическое¹⁸. Один из крупнейших советских историков Возрождения М. А. Гуковский отмечал, что победа нового над старым, с такой определенностью закрепляемая в политической и социально-экономической жизни Италии XIV века, приводит к осознанному торжеству новых идеалов уже у Петрарки. Ис-

¹³ Saïtta G. Il pensiero Italiano nell'umanesimo e nel Rinascimento. Bologna, 1950, prem., p. 90, 107, 72.

¹⁴ Baron H. Petrarch: His inner struggle and the humanistic discovery of man's nature. — In: Florilegium historiale. Toronto, 1971, p. 32.

¹⁵ Biondolillo F. La religiosita di Fr. Petrarca. — In: Saggi e ricerche. Catania, 1926, p. 39—40; Papini G. Op. cit., p. 245—246; Heitmann K. Augustins Lehre in Petrarca's «Secretum». — «Bibliotèque d'humanisme et Renaissance», t. 22, 1960, p. 51; Tateo Fr. Op. cit., p. 12—15.

¹⁶ Curato B. Op. cit., p. 11; Diekstra. Introduction to «A dialogue between reason and adversity». Assen, 1968, p. 40.

¹⁷ Baron H. Op. cit., p. 32.

следователь многократно подчеркивал именно эту осознанность отказа, резкое отличие трактатов Петрарки от средневековых невиданным раньше интересом к человеческой личности¹⁹.

Единственное пока в советской литературе исследование творчества Петрарки принадлежит перу Р. И. Хлодовского. Он считает началом новой гуманистической эры знаменитую речь Петрарки на Капитолии, за которой стояла смена системы мировоззренческих координат; был сделан первый шаг в создании светской, атеологической и по существу антиклерикальной культуры. Автор справедливо подчеркивает, что гуманисты, как правило, не были атеистами, но бог оказался вынесенным за пределы новой идеологии: в системе нового, гуманистического мировоззрения человек занял то самое место, которое до этого принадлежало богу. Что касается Петрарки, то он, по мнению Р. И. Хлодовского, не сошел с почвы христианского религиозного сознания, но это сознание получило новое направление — от бога к человеку, от средневекового аскетизма к жизнерадостному свободомыслию. Петрарка сделал первый шаг к реабилитации человека как существа высокодуховного, творческого, способного активно воздействовать на окружающий мир²⁰.

С какой бы стороны исследователь ни подходил к Петрарке, он не может миновать его «Secretum», сочинения краеугольной значимости. (Недаром эта книга, написанная по-латыни, была уже в начале XV века переведена на итальянский, а в последующие столетия — на все европейские языки и даже на японский). «Secretum», первое из философских сочинений Петрарки, написанное им примерно в сорок лет, часто называют «Исповедью» (именно так озаглавил свой перевод М. О. Гершензон в публикации 1915 г.), ярчайшим свидетельством внутреннего конфликта, напряженных идейных поисков. В самом деле, эта «Книга бесед о презрении к миру» имеет подзаголовок «De secreto conflictu curarum mearum» («О тайном раздоре моих устремлений»). Проблемы, поднятые в книге, были столь важны для ее автора, что он, как показал еще

¹⁸ Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974, с. 202.

¹⁹ Гуковский М. А. Итальянское Возрождение, т. I. Л., 1947, с. 249—263.

²⁰ Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. М., 1974, с. 49—76.

Г. Кёртинг, многократно возвращался к рукописи, размышлял над нею, добавлял и переделывал²¹.

Несомненно, для понимания Петрарки «Secretum» имеет исключительную роль: здесь было сформулировано многое из того, что нашло дальнейшее осмысление в более поздних трактатах и письмах. Максимальное внимание «Моей тайне» необходимо уделить еще и потому, что весьма многие авторы считают ее отражением морального и религиозного кризиса Петрарки, закончившегося его духовным очищением и обращением, аналогичным августиновскому²². «Мою тайну» считают двойником «Исповеди» Августина, находят в ней прямое влияние «Soliloquia» («Монологов») и «De vera religione» (гиппонского епископа)²³.

Насколько обоснована такая постановка вопроса? Почему книга Петрарки называется также «О презрении к миру», — проповедует ли она доктрину аскетизма? Если да, то почему — «Моя тайна»? (Выяснено, что книга увидела свет только после смерти автора в 1378—1379 гг.)²⁴. Августин, скажем, с самого начала предназначил свою «Исповедь» для читателя, желая возбудить в людях «неусыпную любовь к милосердию божью и его благим путям»²⁵. Также поступил в начале XIII века и папа Иннокентий III со своей книгой «О презрении к миру», «двойником которой также иногда полагают «Мою тайну»²⁶.

Задача данной статьи — прежде всего выяснить, что же побудило Петрарку взяться за диалог «Моей тайны»? Почему беседником в них избран Августин? Соглашается или полемизирует с ним Петрарка о жизни и смерти, об отношении к земному миру и потустороннему бытию, мирской и небесной славе, т. е. по коренным моментам средневекового мировоззрения? Можно ли провести грань между старым и новым во

²¹ Körtling G. Op. cit., 649. Г. Барон провел интересное исследование диалогов, которые перерабатывались или вставлялись в «Тайну» вплоть до 1360 г. (см.: Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni. Chicago, 1968, p. 2).

²² См.: Wilkins E. H. A history of italian literature. L., 1954, p. 89; Bosco U. Op. cit., p. 277.

²³ Tateo Fr. Op. cit., p. 17; Amaturio R. Petrarca. — «La letteratura italiana. Storia e testi», 1971, t. 1, cap. 3, p. 121—122.

²⁴ Amaturio R. Op. cit., p. 119.

²⁵ Augustinus A. Confessiones, X, 4; I, 13.

²⁶ См.: Renaudet A. Op. cit., p. 63; Viscardi A. Petrarca e petrarcismo. Milano, 1966, p. 135—136.

взглядах Петрарки? Насколько он сознавал эту грань сам и кем же был, в конце концов, — благочестивым христианином или бунтующим гуманистом?

Уже первые слова «Моей тайны»: «Часто и с сокрушением я размышляю о том, как я вошел в эту жизнь и как мне придется уйти из нее»²⁷, показывают, что Петрарке необходимо было выяснить, в первую очередь для самого себя, отношение к земному бытию. Но разве христианская теологическая литература за тысячу лет своего развития не смогла дать ответа на этот вопрос? Разве автор «Моей тайны» не знал сочинений хотя бы современных ему схоластов? Конечно, знал. Но обратившись к ним, увидел «чудовищный род учености», налагающий оковы на ум и дающий повод к бесконечным спорам. Пытливый философ не смог найти истины у тех, кто на все вопросы «имеют готовый ответ» и не смущаются, если лишены ясного представления об определяемом предмете (I, 62—63)²⁸. Впоследствии он назовет современных теологов «пустыми и болтливыми невеждами, безрассудно болтающими о божестве», а их сочинения — «безумными софизмами»²⁹. Отсюда ясно, почему в «Моей тайне» обойдена вся средневековая богословская литература: там нет ни одной ссылки на схоластов, лишь три — прямо на сочинения Августина и Библию (и напротив, десятки раз — на Вергилия, Горация, Цицерона).

Современные ему философы не уменьшили, а, скорее, усилили потребность Петрарки разобраться в мучивших его вопросах. Многие страницы «Моей тайны» ярко свидетельствуют о борениях и неудовлетворенности ее автора. Он говорит о своем большом духе, блужданиях (I, 25), внутреннем раздоре, многочисленных и разнообразных заботах, которые непримиримо борются друг с другом (I, 79—80), о вечном чувстве неудовлетворенности в сердце (II, 108). Порою ему кажется, что он «беспомощно мечется то туда, то сюда в странной нерешительности и ничему не отдается вполне всей душой» (I, 79). Он может назвать свои надежды «пустыми», заботы — «ненуж-

²⁷ Моя тайна, I. — Франческо Петрарка. Избранное. Пер. с латинского М. О. Гершензона, М., 1974, с. 25. (Далее страницы русского перевода будут указываться непосредственно за цитируемым текстом).

²⁸ Secretum, I: «...plerunque autem, quid ipsum vere sit, quod loquuntur, ignorant... veram sibi rei diffinite notitiam non adesse» (Opera di Francesco Petrarca (A cura di Emilio Bigi). Milano, Mursia, 1966, p. 544).

²⁹ Petrarca Fr. De remediis utriusque fortunae, libr. I, dial. 46. — Francisci Petrarcae Florentini philosophi, oratoris et poetae clarissimi Opera, quae extant omnia. Baseleae, 1581.

ными» (II, 83); сказать, что талант, знания, красноречие принесли ему «малую пользу» (II, 91). Иногда отказывается от желаний спорить (I, 49), скорбит, что с годами христианские добродетели в нем умалились (III, 173). Нередко почти аскетически осуждает «плотские похоти», горько жалея, «зачем не родился бесчувственным»³⁰. (Забегая вперед, отметим, что в «Тайне» об этом внутреннем раздоре и беспокойствах почти всегда говорит Августин, а не Франциск. Августину как бы позволено обвинять и обличать. Хотя скорее бы Франциску нужно сожалеть и каяться перед лицом святого).

Духовные борения, противоречия, непоследовательность проходят через всю жизнь и творчество Петрарки. Вряд ли правомерно считать их выдумкой, а диалоги «Моей тайны» — риторикой и слабым подражанием, как полагают некоторые новейшие критики³¹. Напротив, факт внутреннего разлада Петрарки — очень важный симптом: вероятно, он уже начал чувствовать, что его помыслы и устремления, идеалы все больше расходятся с этическими принципами христианства. Он излагает свои размышления в форме диалогов и называет их «Моя тайна». «...Ты, моя книжечка, должна избегать людских сборищ и, верная своему имени, довольствоваться моим обществом», — многозначительно записывает он вначале (Вступление, 30).

Разговор ведут Франциск и Августин в присутствии молчащей Истины. Диалогический характер «Моей тайны» порождает прежде всего вопрос о том, чьими устами говорит автор? Одни исследователи считают, что «Тайна» — диалог между эгоистическим, «чувственным» импульсом Петрарки (Франциск) и его сознанием, совестью, лучшей, критической половиной его души (Августин). Иными словами, Петрарка — в обоих персонажах диалога. Августин — это религиозный идеал автора, глашатай его разума, выражение побеждающего христианского сознания. В конечном счете автор «Моей тайны» возвращается к средневековой духовности³².

³⁰ О напряженности внутренних исканий говорят и письма: «Нет ничего труднее для человека, чем спор со своей душой и привычками, нигде нет меньше надежды на перемирие, — ведь война идет внутри стен» (Petrarca Fr. Familiarum rerum, XII, 2, 6. — Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca. Firenze, 1945—1968, vol. X—XIII).

³¹ Billanovich G. Petrarca e il Ventoso. — «Italia Medioevale e Humanistica», 1966, 9, p. 389-401.

³² Trinkaus Ch. E. Adversity's Noblemen. N. V., 1940, p. 42, 84—85; Bishop M. Op. cit., p. 193; Tateo Fr. Op. cit., p. 6, 60; Tripet A. Petrarque ou la connaissance de soi. Geneve, 1967, p. 104, 168; Wilkins E. H. History..., p. 89.

Напротив, многие авторы склоняются к точке зрения Дж. Саятты, — что Августин представляет противоположное Франциску (и Петрарке) средневековое мировоззрение; или, во всяком случае, как полагают П. Кристеллер и Г. Барон, Августин лишь отчасти выступает в качестве духовного гида автора³³. Существует немало и промежуточных точек зрения по этому вопросу.

Но вернемся к особенностям данного диалога. Если бы Петрарка во всех принципиально важных моментах был вполне согласен с Августином и лишь хотел покаяться в заблуждениях юности, стал ли бы он писать лишь для самого себя, тщательно скрывая трактат от людских глаз? Ведь хорошо известно, что исторический Августин в «Исповеди» публично кается в своих грехах, — и очень пылко, не щадя слов и красок. Но, вслед за покаянием, он еще более горячо проповедует новые христианские убеждения, отрекаясь от того, чему поклонялся, и поклонившись тому, от чего отрекался в язычестве. Такой проповеди покаяния, такого отречения от всего, что ему стало дорого, мы в «Тайне» Петрарки не найдем.

Видимо, Петрарка еще смотрит на христианство как на свою религию, ее этические ценности еще не вполне утратили свое значение в его глазах, — он далеко еще не «готовый гуманист». Но несомненно, — он уже почувствовал, что в чем-то начинает расходиться с ортодоксией. Именно отсюда те душевные борения, которых Данте (по существу во многом порвавший с традиционным мировосприятием) еще не ощущал. Петрарка судит и себя, и аскетическую доктрину христианства, то и дело апеллируя к собственной совести, своему жизненному опыту и собственному разуму. (Августин, скажем, рекомендует Франциску «допросить самому свою совесть», достаточно ли велико его усердие в деле спасения (I, 51). Франциск призывает в свидетели чистоты своих чувств совесть, когда речь идет о любви к Лауре (III, 171). В важнейших моментах Франциск предпочитает опереться на опыт и разум, а не «отрешенную истину», — и когда стоит вопрос о понимании счастья и несчастья (I, 37-38), смерти и жизни (I, 74; III, 203), отношению к окружающей действительности и людям (II, 94). «Уроки личного опыта» стоят на первом плане при рассмотре-

³³ Saitta G. Op. cit., p. 100-101; Gentile G. Storia della filosofia italiana. — Gentile G. Opere. Firenze, 1968, vol. XI, p. 240-241; Levi G. Op. cit., p. 82; Kristeller P. O. Studies in Renaissance thought and letters. Roma, 1969, p. 360-362; Baron H. Op. cit., p. 48.

нии соотношения духовных и физических потребностей (II, 103-104). Примечательно, что таким, противоположным средневековому, способом аргументации чаще всего пользуется Франциск, Августин же отсылает к «заявлениям философов и святых», «предписаниям стоиков» (I, 37-38) и мудрецов (I, 43), иногда — к Библии (I, 76; II, 118).

Выбор епископа из Гиппона в качестве собеседника не случаен. Августин был для Петрарки наиболее авторитетным и чистым выразителем христианства, его сочинения — первоисточником, не испорченным ненавистной средневековой схоластикой. Петрарку не могло не привлечь в авторе «Града божия» «римское красноречие» (I, 27) и античная ученость. С юности он возымел высокое мнение об Августине как о философе, сочинения которого «воспроизводят в значительной степени учение философов», преимущественно Сократа, Платона, Цицерона (I, 78-79). Петрарку глубоко затронуло и умение раскрыть сложность и противоречивость внутренней жизни человека. (Недаром он воспринимает «Исповедь» Августина как «историю не чужого, а собственного странствования» — I, 49). Не удивительно поэтому, что порою Петрарка вкладывает в уста своего Августина мысли, близкие ему самому. Порою, но отнюдь не всегда.

Представляется, что излишне требовать от Петрарки исторически точного Августина. Наличие известных элементов неисторичности у этого персонажа «Моей тайны», на которые часто указывают авторы, бесспорно. Но за ними не теряется истинный Августин, пусть даже и воспринятый сквозь призму столетий и, в значительной мере, — глазами итальянца XIV века. В любом случае, по вопросу о жизни и смерти, мирской и небесной славе, достоинстве и ничтожестве человека, в устах оппонента Франциска звучит многое из того, что было сформулировано в «Граде божием» и прочно легло в основу всего теологического мировоззрения средних веков. Августин для автора «Моей тайны» — высший авторитет в вопросах христианской догматики и этики. И каковы бы ни были отдельные отклонения в идейном облике Августина Петрарки от догматических позиций гиппонского епископа V века (это особый, отдельный вопрос), в самом важном — бескомпромиссной проповеди аскетизма персонаж «Моей тайны» в сущности ни в чем не отступает от исторического оригинала.

Диалог между Франциском и Августином идет на философском уровне. Августин здесь не святой, отпускающий грехи, но лишь равный участник полемики. И весьма существенно для

понимания позиции автора, что он устами столь уважаемого оппонента оговаривает в начале бесед право на спор: «...умеренный спор многих приводит к истине. Поэтому не следует, по примеру ленивых и вялых умов, без разбора соглашаться со всем, ни с равной горячностью противиться очевидной истине»... (I, 49).

Итак, попытаемся проследить, в чем же более всего сталкиваются воззрения двух участников спора и какое понимание жизненного назначения человека прямо или косвенно отстаивает Петрарка в этом споре.

Какие бы непоследовательности мы ни обнаружили в «Моей тайне», невозможно отрицать — ее пронизывает ощущение радости земного бытия. Той самой радости, которая возбудила у юного Петрарки «страстное желание увидеть многое»³⁴, посетить Францию, Германию и Рим, объехать Англию и исходить Альпы, взобраться на вершину Мон-Ванту. Петрарка подробно рассказывал о своих странствиях в письмах к друзьям — они поражают способностью автора восторгаться картинами природы³⁵. Чувством неповторимой красоты жизни наполнены сонеты. Их лейтмотив — «Жизнь — это счастье», эпиграф — «Нам только раз дается жизнь земная»³⁶. В «Моей тайне» Петрарка говорит устами Августина, что жизнь — «ценнейшее и незаменимое богатство» (III, 219). Истина объясняет свое появление тем, что слишком доволен был прикован к земле взор Петрарки и эта «смертная юдоль» сильно прельщала его глаза (Вступление, 26). А затем и Августин многократно упрекает Франциска за то, что он не может отказаться от разнообразных жизненных удовольствий (I, 55—57), «сладкого обольщения преходящих вещей» (III, 207), а главное — не умеет презирать земное (III, 238)³⁷. Петрарка сокрушается, что красноречие смертных бессильно выразить всю ценность, таинственность и многообразие окружающего мира, райское изобилие земель и вод (II, 86).

Такое юношески восторженное восприятие мира автор «Канцониере» донес до конца своих дней. «Что за запахи, цвета, вкусы, созвучья, все противоположные и все согласован-

³⁴ Письмо к потомкам. — Франческо Петрарка. Избранное, с. 17.

³⁵ Fam., I, 3, 4; II, 12; III, 1; IV, 1, 9; V, 3, 6; XVII, 3, 5.

³⁶ *Petrarca Fr.* Rime e Trionfi. Brescia, 1972, CCLXII, CCCLXI: «... L'nostro viver e ch'esser non si piu d'una volta».

³⁷ В последнем диалоге Августин говорит, что изречение «вся жизнь философа — помышление о смерти» должно научить Франциска «презирать земное». Значит, он этого «не умеет» (III, 238).

ные, — вдохновенно пишет он в одном из последних трактатов («О средствах против всякой фортуны», 1366 г.), — что за животные в море, на земле, в небе! Прибавьте горизонты с высокими холмами, солнечные долины, тенистые леса, льдистые Альпы, крутые берега. Посмотрите на небо — зрелище, которого нет прекраснее, с едва заметным движением звезд... и прежде всего на Солнце и Луну, сверкающие украшения неба, как говорит Флакк»³⁸. В этом диалоге 60-летний философ доказывает, что многое в жизни делает ее радостной и счастливой, — и прежде всего красота и гармония природы, величайшим творением которой является человек. В других диалогах он призывает к наслаждению благами земной жизни, советует не лишать себя «того хорошего, что есть в сегодняшнем дне»³⁹. Для понимания Петрарки, как справедливо отмечает Б. Пулэн, очень много значит эта горячая приверженность к земному миру, вера в его красоту и ценности⁴⁰. Утверждается новое, оптимистическое мироощущение, как раз противоположное пессимистическому взгляду на жизнь, который иногда приписывают автору «Моей тайны»⁴¹.

Но очень важно выяснить, было ли признание ценности земной жизни стихийным, идущим лишь от чувства, или за этим стояли новые идеи, новый взгляд на мир и на человека?

С вопроса о жизни и смерти начинается беседа «Моей тайны». Уже сама форма и острый характер диалога показывают важность поднятой проблемы. Оппонент Франциска с уверенностью заявляет, что главное для человека — смотреть на землю как на жалкую, тесную смертную юдоль (I, 40), вырвать из души «арканы земных приманок» (I, 33), «смертоносное бремя человеческих забот» (II, 108). Самое имя человека, по словам Августина, заслуживает лишь тот, кто презирает земную жизнь, стремится всеми помыслами к потустороннему бытию⁴², тот, кто вправе сказать: «У меня нет ничего общего с телом, все, что считается приятным, — мерзость для меня» (I, 56). Отсюда ясно, что Петрарка отчетливо представляет ха-

³⁸ De remediis... II, 93.

³⁹ Ibid., I, 8, 116, 121.

⁴⁰ Pullan B. Op. cit., p. 171-173.

⁴¹ Trinkaus Ch. E. Op. cit., p. 63.

⁴² Secretum, I, p. 546. «...adeo preterea mortalitatis sue conscium, ut eam cotidie ante oculos habeat, per eam se ipsum temperet, et hec peritura despiciens ad illam vitam suspiret, ubi, ratione superactus, desinet esse mortalis; hunc tandem veram de diffinitione hominis atque utilem scientiam habere dicit».

ракет христианских требований к человеку. В полном соответствии с автором «Града божия» Августин «Моей тайны» поучает, что к единой высшей цели ведут светоносные размышления о смерти (I, 77—79), заставляет Франциска постоянно думать о ней, считая это единственной целью беседы (III, 204). Поначалу кажется, что Франциск следует совету отца церкви: «Ни один человек, — говорит он, — не терзается заботами о смерти чаще меня» (I, 57). Но тут же автор «Тайны» «вынужден» признать, что лжет сам себе, что помышляет о смерти очень редко и вяло, недостаточно глубоко (I, 65). «Я никогда ничего не понимаю лучше, — говорит Франциск, — нежели то, что я никогда не желал свободы и конца моих бедствий (т. е. жизни, по августиновской терминологии) достаточно глубоко» (I, 52). Более того, все попытки настроиться на такой лад оказываются «бесплодными» (I, 41), воля его не меняется (I, 47), он остается таким же, «каким был раньше» (I, 70). Петрарка спрашивает себя, что же его удерживает, и отвечает устами Августина: «Пока тебя одолевают земные заботы, ты не поднимаешь глаз к вечному» (II, 108). А в первой беседе вынужден признать, что умышленно поддерживает свои «бедствия» (I, 31).

Дальнейшие диалоги «Моей тайны» подтверждают, что мысль Петрарки занята земным: литературными трудами, стремлением к славе, любовью к женщине. Примечательно, как он объясняет в одном из писем разницу между собой и своим братом: «...мой брат обращает ум и душу к небу, а я обращен мыслями к земле и занят мирскими делами»⁴³. После такого признания нельзя не согласиться с Г. Бароном, что Петрарка первым начал сознавать зияющую пропасть между религиозным образом жизни его времени и теми ценностями, которыми он восхищался⁴⁴. В любом случае, трудно сказать, что его разум держался за старое.

Важнейшим шагом Петрарки в сторону нового понимания смысла жизни было разрушение того пронзительного страха перед смертью, которого требовала церковь в качестве первого условия спасения души. Недаром Августин, предельно четко выражая христианскую идею, считает главной целью беседы с Франциском — научить его «надеяться и бояться» (I, 53): надеяться на вечную жизнь и бояться вечных загробных мучений. Он призывает непрестанно думать о смерти, и так, чтобы

⁴³ Fam, Хл, 3, 27.

⁴⁴ Baron H. Petrarch..., p. 32.

мысль о ней «не скользила бы поверху, а внедрилась до мозга костей» (I, 31). «Вы никуда не можете обратить взор, — говорит Августин, — чтобы не увидеть образа смерти» (I, 61). В традициях схоластов он характеризует ступени, которыми можно подняться к отрешению от земного, и затем рисует готически-жуткую картину созерцания смерти: «...пристальным размышлением представь себе отдельные члены умирающего, — как уже холодеют конечности, а середина тела еще пылает и обливается потом... и эти глубоко запавшие гаснущие глаза... впалые щеки, почерневшие зубы, твердый заостренный нос, губы, на которых выступает пена... смрадный запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица» (I, 65).

Августин исходит из того, что «среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти», и нагнетает его угрозами потустороннего проклятия души на «вечном суде»: сама смерть может стать не концом страдания, а лишь переходом к новым, к бесконечной непрерывности мучений без надежды на их прекращение и на то, что господь сжалятся⁴⁵. Этот монолог целиком в духе отца церкви: устремления человека перенесены за пределы земного бытия. Даже надежда на спасение души обретается ценою страха, становящегося таким образом высшим источником нравственности.

Страх смерти делает жизнь бесплодной и бессмысленной, оборачивается, в конечном счете, боязнью перед ней: человек, по Августину, должен помнить о смерти, чтобы «удерживать душу страхом от всех надежд преходящего мира» (I, 66). Августин настойчиво внедряет этот трепетный ужас перед жизнью в душу Франциска, рисуя опасности земного бытия (I, 60-61), беды, теснящие со всех сторон, «западни», которые ставит мир (II, 82-83).

И в этом пункте Петрарка также начинает расходиться с христианско-августиновским пониманием. Франциск признается, что Августин глубоко потряс его, «нагромоздив перед глазами все ужасы», что он «изо дня в день предается этим размышлениям», иногда въевшись видит ад по ночам. Порою он даже рыдает, душа его расстраивается; порою, вскочив с постели, начинает говорить сам себе: «Горе мне! Что я делаю? Что я

⁴⁵ Моя тайна, I, с. 65, 67—68. В «святом и истинном страхе Бога» желала видеть верных христиан и Екатерина Сьенская, стоявшая в центре религиозного мира Италии XIV века (см.: Caterina da Siena. Epistolario, vol. 1—3. Siena, 1966, vol. 1, lettere n. 157, p. 579).

терплю? Какой исход из бедствий готовит мне судьба?» (I, 69). Очевидно, какой-то страх перед смертью еще остался в душе Петрарки, да было бы и неисторично требовать от него полного неверия в потустороннее бытие. Но даже самые его опасения свидетельствуют о расхождении с церковно-аскетическим идеалом жизни: значит, было за что ожидать кар небесных. Впрочем, сам Франциск в начале беседы говорит: «...я сознаю свои многочисленные заблуждения... нет вины, которую нельзя было бы поставить мне в упрек» (I, 36). Но он столь же ясно понимает, что уже не может вернуться на старую дорогу: «О небесная вера! Ибо, я полагаю, из людей никто не знает, что я выстрадал и сколько хотел, если бы только это было возможно, подняться»⁴⁶. Однако даже тут автор «Тайны» устами Августина замечает себе, что обманывается: сознание часто исторгало у него слезы, но намерений не изменяло⁴⁷. Напряженное размышление о смерти, которое, по словам Августина, оказывает «чудесное действие», Франциску не принесло «пользы» (опять-таки в августиновском понимании — I, 71). Он часто шел «наперекор» заповедям автора «Исповеди» (I, 49) и того, чего ему следовало бояться, «почти совсем не боялся» (I, 82). И все это потому, что Франциска прежде всего заботит земная жизнь, «ждут многие важные, хотя еще земные, дела» (III, 214). Он рассчитывает на продолжительность своих дней, чтобы предпринять «прекрасный, редкий и выдающийся труд» (отнюдь не богословского характера: «он удалит твою душу, — упрекает Августин, — от всех забот высшего порядка» — III, 221).

«Опаснейшим из зол» называет Петрарка в трактате «О средствах...» ненависть к жизни, попытку устраниться от «преходящих забот». Он призывает в противовес этому размышлять о радостях настоящего, утешаться в бедах книгами и беседами с друзьями, чередованием высоконравственных удовольствий, а главное, — «стойкой непреклонностью дела»⁴⁸.

⁴⁶ Secretum, I, p. 534: «...quid ego passus sim, quantumque volerim, si licuisset, assurgere». (В переводе М. Гершензона неправомерно усилено это восклицание: «...сколько я выстрадал и как страстно желал подняться...», I, 46).

⁴⁷ Secretum, I, p. 534: «...sed propositum non mutasse».

⁴⁸ De remediis... II, 98 «De taedio vitae»: Dolor. «Vitae me taedium ingens tenet. Ratio. Ex praemissis ortum malum, quo nescio, an vix aliud periculosius... Propellenda taedia cogitationibus laetis, ac spe bona, et amicorum solatio, et librorum, et delectationum honestarum alterna varietate, atque exercitiis iucundis: inertiae fuga, sed imprimis patientia rerum et longa nimitate invicta».

Поразительно это бесстрашие перед жизнью, сохранившееся до самой старости. И не такой ли подход станет нравственным правилом его учеников и продолжателей? Петрарка объявляет безумным аскетическое стремление к сокращению жизни, приветствует тех, которые, «следуя законам природы, продляют благопристойными радостями цветущие годы и отодвигают дальше старость и смерть»⁴⁹.

В конце жизни Петрарка приходит к пониманию смерти как естественной необходимости, отбрасывая тот религиозный страх перед ней, против которого восстал еще в «Моей тайне»: «Смерть не более страшна, чем все то, что делается природою, — пишет он в трактате «О средствах...». — Почему ты больше боишься умереть, чем родиться, расти, стареть, голодать, испытывать жажду, бодрствовать, засыпать?» Почти на пороге ухода из жизни он утверждает: «У человека не должно быть страха смерти... лишь в разуме слабого этот страх поселяется и он — большое зло. Глупо зло сотворять или увеличивать»⁵⁰. (Зачатки такого понимания обнаруживаются уже в «Моей тайне». Франциск заявляет, что природа определяет срок жизни и смерти, что «расти, стареть, умирать — общая участь всего, что рождается», — III, 203—207). Христианские чувства заменяются спокойным, язычески-мудрым пониманием конечности жизни. А само представление о смерти как законе природы стоит, как верно отметил еще М. С. Корелин, в противоречии с учением о первородном грехе, которое объявляло смерть наказанием, результатом нарушения человеком воли божией⁵¹. Орыв от старого здесь очевиден.

Это бесстрашие перед лицом смерти не имеет ничего общего с подвижничеством христианского мученика. «Перед смертью никто из людей не счастлив», — антиаскетически (и антиавгустиновски) пишет Петрарка, добавляя, что «вообще

⁴⁹ Fam., XIV, I, 40.

⁵⁰ De remediis... II, 117 «De metu mortis». R. «...nihil plus terroris esset in morte, quam in caeteris, quae per naturam fiunt. Quid enim magis mori timeas, quam nasci, adolescere, senescere, esurire, sitire, vigilare, consopiri?... sed inopia rationis metum mortis induxit. At si nihil, magnum, ipse metus malum est. Stultitia est malum suum vel augere, vel facere».

⁵¹ Корелин М. С. Мирозерцание Фр. Петрарки, с. 44. Дж. Салтта также отмечает, что Петрарка выводит необходимость смерти из природы (см.: Saitta G. Op. cit., p. 73).

смерти радоваться постыдно»⁵². В «Моей тайне» Франциск причисляет смерть близких к несчастьям, которые «трудно и горько переносить», ибо они постигают людей «против их воли, но никогда по их желанию» (I, 35, 37).

Особенно ярко о нехристианском отношении к смерти свидетельствуют сонеты ««На смерть мадонны Лауры» и III диалог «Моей тайны». Решительно возражая Августину, Франциск не побоялся выразить свои чувства по поводу безвременного ухода возлюбленной: «Я негодовал на то, что от меня как бы отсечена была благороднейшая часть моей души и что я осужден пережить ту, которая одним своим присутствием услаждала мне жизнь» (III, 160). Он бунтует там, где должен был смириться, не представляет себе жизни без «прекрасного маяка»:

Дух обнищал и сир.
Где тень найду, скиталец беспокойный?
Отраду где? Где сердца гордый мир?
Все смерть взяла...⁵³

Это не согласуется с христианским постулатом, что смерть есть благо, возможность приобщения к вечной жизни. Для певца Лауры смерть — лишь расставание с людьми, утрата того ощущения полноты собственного бытия, которое не сможет заменить даже райское блаженство.

Именно от понимания ценности этой жизни идут сеговования Петрарки по поводу краткости жизни, неизбежности ухода из нее. «Вся жизнь человека, как бы она ни была продолжительна, подобна единому дню, и едва ли целому» (III, 237), — говорит он, сокрушаясь, что в случае внезапной смерти не сможет закончить «Африку» и другие труды (III, 220). Для него очевидно, что «даже при самой бережливой трате нам едва хва-

⁵² De remediis... I, 108: «...ante mortem nemo hominem felix»; I, 104: «...de ipsius morte gaudere turpe est». Августин же призывал радоваться смерти: «...нам желательнее видеть мертвыми тех, кого мы любим» («О Граде божием», XIX, 4). А Иннокентий III пошел еще дальше: «Счастливы те, которые умирают раньше, чем появляются на свет. Благочестивее смерть ощущающие, чем жизнь познающие» (*Innocentius III. De contemptu mundi*, I, 6. — PL, t. CCXVII).

⁵³ Сонет CCLXIX (пер. Вяч. Иванова). — Избранное, с. 340, 334. Говоря о сонетах, Р. И. Хлодовский подчеркивает, что и сам образ умершей Лауры в них — ренессансный. Средние века пугали смертью и подчеркивали в ней безобразие разложения. У Петрарки даже умершая женщина спокойна, прекрасна, гармонична. Красота для него — нетленна. Лаура и после смерти остается воплощением красоты этого мира (см.: Хлодовский Р. И. Указ. соч., с. 153, 166).

тает отмеренного времени на пристойные радости настоящего, дела нужные и естественные» (II, 112—113). В трактате «О средствах...», подводя итоги жизни, он напишет: «О, если бы скоротечность времени также создалась в начале бытия, как в конце!.. Но для юноши оно кажется бесконечным, и обман открывается, когда уже ничего нельзя поправить»⁵⁴.

Итак, церковный смысл заповеди «помни о смерти» наполняется совершенно иным, светским содержанием. Центр притяжения перемещается от иррационального к естественному. Смерть страшна более всего как конец земной жизни, о ней нужно помнить, чтобы каждый день был предельно насыщен и целеустремлен.

Но за спором о смерти стоит другой вопрос — о спасении души. Ч. Тринкауз полагает, что христианское учение о спасении души было целиком воспринято Петраркой и развито его последователями⁵⁵. С этим трудно согласиться. Ведь уже само отношение Петрарки к проблеме жизни и смерти показывает, что его прежде всего волновали земные дела и он совсем не спешил «предаться исканию Бога и жизни блаженной»⁵⁶. Августин «Моей тайны» предлагает Франциску допросить свою совесть: «она скажет тебе, что ты никогда не стремился к спасению как следует, но равнодушнее и спокойнее, чем того требовало сознание стольких грозящих опасностей»⁵⁷ (I, 51), и что «спасительные напоминания отскакивают от затверделой, как мозоль, кожи» (I, 61). В конце диалогов Августин вновь бросает обвинение собеседнику, что спасение души — «наименьшая из его забот» (III, 226). Франциск с первых же слов признает справедливость претензий: «Ты говоришь правду» (I, 52).

В вопросе о спасении Петрарка также обнаруживает в себе отход от христианско-церковной морали. И этот отход совершается потому, что в системе духовных ценностей первое место уже занято другим: «Порядок таков, — говорит Франциск в заключительном диалоге, который Г. Барон справедливо называет кульминационным пунктом всей «исповеди», — чтобы смертные прежде всего заботились о смертных вещах и

⁵⁴ De remediis... I, 1.

⁵⁵ *Trinkauss Ch. E. Op. cit.*, p. 30.

⁵⁶ *Augustinus A. Confessiones*, I, 1.

⁵⁷ *Secretum*, I, p. 538: «Illa (conscientia) tibi dicet nunquam te ad salutem qua decuit aspirasse, sed tepidius remissiusque quam periculorum tantorum consideratio requirebat».

чтобы вечное следовало за преходящим, ибо от последнего к первому переход вполне последователен, тогда как от вечного к преходящему вовсе нет перехода»⁵⁸.

Этический порядок, утверждаемый Петраркой как естественный и разумный, противоположен христианскому, по которому смертные прежде все должны заботиться о небесных вещах, ибо «все земное, — как писал Августин (и буквально повторял его Иннокентий III), — суета суетствий, юдоль плача и рыданий»⁵⁹. Преходящая жизнь, по утверждению автора «Града божия», — только средство, которым должно пользоваться (uti), чтобы достичь высшей цели — жизни небесной, составляющей предмет пламенной любви и наслаждения (frui)⁶⁰. И как раз в «извращении порядка» упрекает Франциска Августин «Моей тайны»: «...должно любить все сотворенное из любви к Творцу, ты же, напротив, прельщенный чарами творения не любил Творца как подобает, но был восхищен мастером в нем, как если бы он не создал ничего более прекрасного»⁶¹. Таким образом, исходная точка жизненной позиции автора «Моей тайны» — твердое признание примата преходящего над вечным: раз от него нет перехода, то и оснований для предпочтения тоже нет.

Конечно, и тут мы встречаем колебания. Франциск может порой воскликнуть, что «всегда пылал любовью к вечности» (III, 222), что многими слезами «пытался смыть грязь своей греховности» (I, 41). Но тотчас же признается, что все эти попытки «донныне оставались бесплодными», — ведь его «не привлекают вещи, служащие ко спасению» (II, 127), да и не осталось никакой надежды на него, «разве только всемогущий милосердец соизволит» (I, 73). Важно отметить, что если помыслы о потустороннем бытии еще и тревожат Франциска «среди плотских утех и щедрот фортуны», то он уже сильно сомнева-

⁵⁸ Ibid., III, p. 670: «Itaque istum esse ordinem, ut mortalium rerum mortales prima est cura; transitoriis eterna succedant, quod ex his ad illa sit ordinantissimus progressus, inde autem regressus ad ista non pateat»; Baron H. Petrarch..., p. 33—34.

⁵⁹ Augustinus A. Confessiones, V, 8, 12. Innocentius III. Op. cit., I, 12, 14.

⁶⁰ Augustinus A. De doctrina christiana, I, III, 3; I, IV, 4. — PL, 34, col. 20-21.

⁶¹ Secretum, III, p. 626: «Quia cum creatum omne Creatoris amore diligendum sit, tu, contra, creature captus illecebris, Creatorem non quia decuit amasti, sed miratus artificem fuisti quasi nihil ex omnibus formosius creasset».

ется, «почему не должен считаться более счастливым тот, кто ныне радуется, хотя впоследствии будет скорбеть, нежели тот, кто и теперь не ощущает и в дальнейшем не ждет радости»⁶².

Петрарка начал «принимать за истину самое сомнение», — как он пишет в одном из старческих посланий. Оговорка же, что он проявляет скепсис по отношению к отдельным вещам, кроме тех, сомнение в которых считает святотатством⁶³, отчетливее всего обнаруживает, что в глубине души автор «Моей тайны» все ставит под вопрос. (Одно из писем, например, он адресует «Другу, в вере католической сомневающемуся», название которого недвусмысленно свидетельствует о направлении его мыслей и характере споров, шедших в его кругу)⁶⁴.

Особо следует отметить две небольших, но очень симптоматичных оговорок в «Моей тайне». В первой беседе Августин, рисуя перед Франциском ужасы преисподней, заключает, что «горячее желание спастись» возникнет, если он вообразит себе ад «не как выдумку, а как действительность»⁶⁵. Видимо, в глубине души Петрарки уже витает подозрение, что потусторонняя жизнь — только вымысел. Конечно, это едва ли не случайно прорвавшееся сомнение, которое не могло еще, как верно отметил К. Сегре, вылиться в неверие, но бесспорно зародилось⁶⁶. (Недаром Филиппо Виллани, характеризуя Петрарку, писал: «...весьма многие думали, что он мало заботился о святой жизни»⁶⁷).

Вторая оговорка касается бессмертия души. Петрарка сознает, что, «подчиняя свою душу земным делам» (III, 162), он тем самым закрывает себе пути к истинному (в христианском смысле) бессмертию (III, 215), — и все же не стремится отречься от всего, чему поклоняется. «На что следует надеяться в божественных делах, этот вопрос предоставим ангелам, — философски замечает он в одном из трактатов, — мы же

⁶² Моя тайна, I, 70-71. Даже А. Татео замечает, что Франциск иногда противостоит Августину, являя знак глухого восстания (Tateo Fr. Op. cit., p. 20).

⁶³ Epistolae Senile, I, 5. — Opera, quae extant omnia, p. 745.

⁶⁴ Fam. XVI, 4.

⁶⁵ Secretum, I, 548: «...si hec simul omnia ante oculis venerint, non ut ficta sed ut vera, non ut possibilia, sed ut necessario».

⁶⁶ Segre C. II «Secretum» del Petrarca e le «Confessioni» di S. Agostino. Firenze, 1903, p. 93.

⁶⁷ Цит. по: Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм, т. 2, с. 120.

должны обсуждать человеческое...»⁶⁸. Но автор «Моей тайны» не может вовсе увести себя от вопроса о бессмертии души. Рассуждая в III диалоге о любви, Франциск называет ее величайшим счастьем и, не желая верить противоположным доводам, приводит изречение Цицерона из «Тускулуанских бесед»: «Если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь охотно, и не хотел бы, чтобы меня лишили этого заблуждения, пока я жив» (III, 155). Августин «цепляется» за эту фразу: «Цицерон употребил данные слова, говоря о бессмертии души, что есть прекраснейшее из всех убеждение, и желал ими выразить, что на этот счет у него нет никаких сомнений и что противоположных мнений он не желает и слушать». Уже самая беспокойная настойчивость, даже некоторая раздраженность, в словах Августина настораживает: о вещах, обсужденных и решенных раз и навсегда сотни лет назад, так не говорят. Да и зачем было Петrarке в разговор о любви вдруг вводить эту тему? Не затем ли, что он не решился сделать ее предметом отдельного диалога, но вместе с тем не смог умолчать? «Будь душа смертна, — говорит Августин Франциску, — было бы лучше признать ее бессмертною, и эта ошибка должна была бы считаться спасительной, так как она вселяла бы любовь к добродетели. Обетование будущей жизни, хотя бы и ложное, — повторяет он рассуждение Цицерона, — весьма пригодно для того, чтобы подстрекать души смертных». Характер сомнения проясняется последующей фразой о том, что к добродетели надо стремиться ради нее самой, «хотя бы отнята была всякая надежда на награду»⁶⁹. Не отсюда ли начинается возвращение человека к опоре на самого себя: быть добродетельным не потому, что тебя ждет награда потустороннего спасения души, но поскольку таковым должен быть человек, чтобы иметь право носить это имя. И конечно же, здесь содержится первый, быть может еще почти неосознанный, зародыш идеи отрицания бессмертия души, которая проявит себя открыто лишь в сочинениях самых передовых мыслителей XVI века.

Но если сам автор «Тайны» не пошел дальше втихомолку высказанных сомнений, если он еще верит в реальность загробного воздаяния, тем выше должна быть оценена смелость

⁶⁸ De otio religioso, libr. 1. — Opera, quae extant omnia, p. 309.

⁶⁹ Secretum, III, 616: «Profecto enim etsi mortalis esset anima, immortalem tamen extimare melius foret, errorque ille salutaris videri posset virtutis incutens amorem; que, quamvis etiam spe premii sublata per se ipsam expetenda sit...»

отказа от вечного блаженства во имя активной и полнокровной жизни на земле. Им была понята невозможность стоять посередине: «Глупо надеяться вкушать и все улады неба и все утехи земли» (III, 226), — и он отказывается думать о вечном, желает лишь смертного (III, 222), не оставляя тем самым надежды на потустороннее блаженство. Нужно ли еще искать свидетельства несоответствия коренных позиций Петрарки и автора «Града божия»? И разве изменяет существо дела факт, что еретические сомнения вложены в уста Августина? Не важнее ли то, что санкцией отца церкви автор, как вынужден заметить даже Дж. Тоффанин⁷⁰, — пытался узаконить свои вольные мысли.

Представляется, что с отношением Петрарки к религиозному спасению и бессмертию души тесно связана проблема славы, горячо обсуждаемая в III диалоге «Моей тайны». Христианская церковь осуждала стремление к славе как путь, ведущий к забвению бога, к самому страшному из смертных грехов — гордыне. Для автора «Града божия» слава среди людей — безделица, гнусное тщеславие, удаление от истины, порок, поскольку отвращает от бога. Екатерина Сиенская во времена Петрарки призывала бежать почестей и людской славы⁷¹. Августин у Петрарки называет славу «безмерным бешенством» (III, 183), «опаснейшей болезнью» (III, 215), «пустыми надеждами»; неоднократно предупреждает, что «адамантовы цепи славы» ввергнут в гибель и вечную смерть (III, 150-151). Но тут же замечает, что не уверен в успехе своих увещаний, т. к. Франциск «не захочет его слушать и оказать содействие». Последний без тени раскаяния признает упреки справедливыми: «...никакими средствами не могу обуздать этой жажды» (III, 215). Более того, он даже обвиняет Августина: «Ты хочешь лишить меня лучших радостей и ввергнуть в безысходную тьму лучшую часть моей души... Страсти, в которых ты упрекаешь меня, суть самые благородные» (III, 152).

Когда Августин начинает отыскивать в собеседнике все смертные грехи, Франциск доказывает, что свободен от зависти, жадности, чревоугодия, гнева. Гордость же, любовь к Лауре, жажду славы упорно защищает, решительно ставя свои

⁷⁰ Toffanin G. L'uomo antico nel pensiero Rinascimento. Bologna, 1957, p. 78.

⁷¹ Augustinus A. De civitate Dei, V, 14—20; XV, 21; Confessiones, VI, 6; X, 36; Caterina da Siena, Epistolario, vol. II, lettere n. 175, p. 622.

представления выше советов святого отца: «Я говорю себе: пока человек пребывает здесь, он должен добиваться той славы, на которую можно здесь рассчитывать, а ту, большую, он вкусит на небе, где уже не захочет и думать об этой земной» (III, 226). Перед нами совершенно-новый подход, чуждое христианству отношение к мирским и потусторонним ценностям, начало осмысления, легализации, самостоятельной и перво-степенной значимости земного. Центр тяжести здесь, в этом мире, — недаром даже «взойти к светилам» Петрарка мечтает еще до смерти (I, 38—39). Столь всеохватывающая жажда земной славы, земного бессмертия, не есть ли лучшее свидетельство его сомнений в потустороннем бытии? В любом случае, прав В. Дьорент: автор «Тайны» гораздо больше хотел славы своего имени, чем бессмертия души⁷².

В «Моей тайне» Петрарка весьма отчетливо сформулировал свое, по сути дела гуманистическое кредо: «Я не думаю, что я стану богом, чем приобрел бы вечность или получил бы и небо, и землю. Мне достаточно людской славы; ее я жажду и, будучи смертным, страстно домогаюсь лишь смертного»⁷³. Не потому ли он не мечтает стать богом, ограничивает себя лишь мирской славой, что не надеется на потустороннее бессмертие, начинает сознавать единственность и неповторимость этой жизни? Вдумаемся в первую фразу: «...я не мечтаю (в переводе М. Гершензона, III, 222) стать богом», получить вечность... Что же, бессмертны лишь бог и сын божий? И случайно ли Петрарка подчеркивает, что он «лишь смертный»: «Поэтому я так стремлюсь достичь людской славы, что знаю: и я, и она — смертны». Нельзя не согласиться с А. Тененти, что бессмертию души в гуманизме была противопоставлена слава как высшее признание ценности земной жизни человека⁷⁴.

И не потому ли «Исповедь», по замыслу автора, «должна избегать людских сборищ» и оставаться тайной, что Петрарка уже понял, насколько далеко отходят его убеждения, сколь серьезно не согласуются с основными принципами христианско-церковного учения Августина? Догмату первородного греха и идеалу ничтожества и безвестности человека противоре-

⁷² Durant W. Op. cit., p. 47.

⁷³ Secretum, III. 666: «Neque enim deus fieri cogito, qui vel eternitatem habeam, vel celum, terrasque complectar. Humana michi satis est gloria; ad illam suspiro, et mortalis nonnisi mortalia concupisco».

⁷⁴ Tenenti A. Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento. Torino, 1957, p. 425.

ставлены гордость и слава как утверждение права на мирскую активность:

«Труд великий — стоять у славы великой на страже» (III, 209).

Правомерность желания славы Петрарка санкционирует устами Августина: «Никогда я не посоветую тебе жить без славы» (III, 232). И опять заметим, если он еще и не отвергал целиком внеземного бытия, то ясно понимал, что жажда мирской славы находится в конфликте с надеждами на спасение: «...можно сильно опасаться, — предупреждает Августин, — что, добываясь необузданно этого пустого бессмертия, ты тем самым не закрыл себе пути к истинному бессмертию» (III, 215)⁷⁵.

Но в том-то и дело, что у Петрарки понятие бессмертия наполняется совершенно новым содержанием. Августин выдает сокровенную мечту Франциска: «...ты протер замыслы в далекое будущее и возжелал славы между потомками» (III, 219). Певец Лауры высказывает страстную надежду на признательность грядущих поколений:

И, может быть, слезой затмятся очи
У правнуков чрез тысячные годы,
Увидев труд, что я понес для Лавра⁷⁶.

Он уверен, что труды ученых, сочинения поэтов, прославляя людей, делают их тем самым бессмертными⁷⁷. И не это ли побуждает его начать за год до кончины знаменитое «Письмо к потомкам», полное сознания полезности его жизни и творчества для новых веков? И вряд ли справедливо утверждение У. Боско, что Петрарка еще целиком в старой цивилизации и не предвидит, что его дорога — новая⁷⁸.

Продолжением антитеологического понимания бессмертия

⁷⁵ Этот конфликт, как одну из примечательных особенностей взглядов Петрарки, отмечает Е. Вилкинз, а Р. Болгэр приходит к еще более важному заключению: стремление автора «Моей тайны» к доблести и славе находилось в прямом противоречии с предопределением и спасением (см.: Wilkins E. On Petrarch's acidia and his adamantine chains. — «Speculum», 1962, v. 37, p. 593; Bolgar R. The classical heritage and its beneficiaries. Cambr. 1954, p. 247).

⁷⁶ Сонет XXX. — Франческо Петрарка. Избранная лирика. Пер. А. Эфроса. М., 1955, с. 37.

⁷⁷ Rime e Trionfi, CIV' «... ma l'nostro studio e quello che per fama gli uomini immortalis».

⁷⁸ Bosco U. Op. cit., p. 119.

является символическое истолкование Петраркой «вечной смерти». Для философов и писателей «вторая смерть» — это разрушение гробниц, а третья, самая тяжкая — гибель книг, забвение. Он хотел бы надеяться, что для него третья смерть наступит гораздо позже второй (III, 230—231). «Вечная смерть», — не в муках Орка, но в забвении на земле. На свои труды, на «книжки... которые удаляют душу от всех забот высшего порядка» (III, 234), возлагает надежды автор «Моей тайны». Поэтому он и не может «равнодушно кинуть среди дороги столь важных и так дорого стоивших» ему работ. Дабы уйти от упреков, он заверяет устами Франциска: «...не по какой другой причине спешу так усердно к важным, хотя все еще земным делам, чтобы, выполнив их, вернуться к этим, то есть — к небесным. Я хорошо знаю, что для меня было бы гораздо надежнее заниматься одним этим делом... избрать прямой путь спасения, но не могу обуздать своего желания» (III, 234, 241). Признание Петрарки, что он не может обуздать жажды славы, характеризует его, по справедливому мнению Р. И. Хлодовского, как типичного человека и писателя Возрождения. Он противопоставил средневековому пониманию бессмертия свое, новое, гуманистическое — жажду людской славы⁷⁹.

Петрарке не хватило, и никогда не хватило бы, времени отказать от своих земных дел. Когда Бокаччо, в раскаянии старости, призывал его покончить со всеми мирскими заботами, 69-летний гуманист ответил: «Ты призываешь меня закончить мои труды, а мне кажется, что я только начал»⁸⁰. Литературно-философские занятия автора «Моей тайны» неизбежно должны были стать поворотным пунктом от средневекового мировоззрения к ренессансному. Когда Августин в последний раз призывает Франциска оставить ученые занятия и поэзию («Какая польза тебе сладко петь для других, когда ты сам себя не слышишь?»), следовать лишь голосу, неустанно зовущему в горнюю отчизну, тот восклицает: «О, если бы ты сказал мне это в начале, прежде чем я всецело отдал душу моим занятиям!»⁸¹. Больше не добавлено ни слова, но и сказанного достаточно, чтобы понять: антитеологический смысл сочинений Пет-

⁷⁹ Хлодовский Р. И. Указ. соч., с. 72—73.

⁸⁰ Senile, XII. — Opera, quae extant omnia, p. 968.

⁸¹ Secretum, III, 680: «Utinam bec mihi dicisses, preusquam his animus studiis addixissem».

рарки был ясен не только непредвзятому читателю, но, в достаточной мере, и самому автору.

Итак, следуя диалогам «Моей тайны», мы обнаруживаем в вопросах о жизни и смерти, потустороннем спасении и славе не сходство, как полагают некоторые авторы⁸², но противоположность коренных идейных позиций Петрарки и Августина. Отец церкви не смог стать «духовным наставником» и «совестью» автора «Моей тайны». Само введение Истины в качестве посредницы показывает, что в сознании Петрарки она не сливается с Августином, хотя еще и остается на небе (Предисловие, 25; III, 240). Настольную книгу монахов и теологов — трактат гиппонского епископа «Об истинной вере» Франциск читал, «отвлечшись от книг философов и поэтов, не иначе, как если кто, пустившись из любопытства в странствие за пределы своего отечества, вступает в незнакомый ему знаменитый город» (I, 77). Даже «Исповедь» он берет в руки, «обуреваемый двумя противоположными настроениями — надеждою и страхом» (I, 49). Быть может, — надеждою на то, что найдет там отклик своим сомнениям, а страхом — что не найдет сил последовать Августину и выбраться в безопасную гавань спасения?⁸³ Завершая разговор с «наставником», Франциск произносит знаменательную фразу: «...без тебя, досточтимый отец, жизнь моя была бы печальна, а без Истины — вовсе не жизнь» (III, 240). Что стоит для Петрарки на первом плане — не вызывает сомнений. Дж. Джентиле, рассматривая философию Петрарки, приходит к важному заключению о противоположности позиций Августина и автора «Моей тайны». Петрарка должен был научиться из «Града божия» презирать земную жизнь и твердость о пустоте всех мирских вещей, а вместо этого мы видим почти экзальтированное восхваление реальной жизни, стремление достичь славы среди людей и бессмертия имени⁸⁴.

«Моя тайна» — это не крик раздвоенной противоположными помыслами души. Ее автор взялся за перо тогда, когда внутренне уже созрел для понимания, каким ценностям и нравственным императивам должно отдавать предпочтение. Ему

⁸² См.: Jerrold M. Op. cit., p. 149; Schiavone M. Op. cit. p. 48; Renaudet A. Op. cit., p. 66; Cochin H. Petrarque. P., 1961, p. 136.

⁸³ «Я веду наперекор волнам через бушующее море мой утлый челн, — говорит Франциск, — ... и вижу, что мне не осталось надежды на спасение... дабы, проведя жизнь в открытом море, я мог умереть в гавани» (I, 73).

⁸⁴ Gentile G. La filosofia del Petrarca, 1934. — Gentile G. Opere, vol. 14, p. 407.

важно было шаг за шагом разобраться в своем отношении к старому, — и закономерным следствием явилась победа ренессансного Франциска над средневековым Августином. «Secretum» осталось тайной именно потому, что в нем сказано чересчур много и слишком открыто против нравов века» (Предисловие, 29), против господствующего миропонимания. Автор не кается в вольных мыслях: он записывает свои размышления, «чтобы ту сладость, которую я однажды вкусил в беседе, я мог так часто вкушать при чтении, как только пожелаю». «Secretum» «постоянно находится с ним, чтобы втайне сказанное, втайне напоминать» (Предисловие, 30)⁸⁵.

Петрарка, как верно подчеркнул К. Сегре, должен был начать с осмысления своего отношения к основам христианско-церковной этики, с отказа от догм, от всего сверхмирского как конечной цели⁸⁶. Только выполнив эту первоочередную задачу, он мог вернуть человека к самому себе, утвердить в нем веру в собственные силы.

Совершенно неправомерным представляется мнение, что Петрарка озаглавливает свою книгу бесед «О презрении к миру», вдохновленный трактатом Иннокентия III: оба презирают жизнь и формулируют чисто аскетические идеалы⁸⁷. Если и есть в «Моей тайне» презрение к миру, то оно высказывается устами Августина, будучи принципиально присущим его историческому прообразу. А Франциск-Петрарка не просто не соглашается с христианским презрением к земному, но бунтарски отвергает его, готовый лучше погибнуть, чем сделать жизнь сплошным приготовлением к смерти. Его книга написана против презрения к миру. Она полемически озаглавлена «от противоположного».

Даже отступая временами в сторону Августина (уверяя, например, на страницах «Моей тайны», что он «открыл мои глаза, покрытые мраком и рассеял густой туман заблуждения» — III, 240), Петрарка не может не признаться, что соглашается с отцом церкви больше из уважения, чем по убеждению (1,40). А убедить Франциска-Петрарку доводами Августина «очень трудно» (II, 129), утратить — вовсе невозможно (III, 162). Потому-то и говорит Августин с досадой: «Тебе

⁸⁵ Secretum, prohemium, p. 522: «Tuque ideo libelle, mecum mansisse contentus eris..., ut unumquodque in abdito dictum meministi, in abdito memorabis».

⁸⁶ Segre C. Op. cit., p. 87.

⁸⁷ Renaudet A. Op. cit., p. 63: Viscardi A. Petrarca e petrarcismo, p. 135—136; Schiavone M. Op. cit., p. 48.

придется изменить свой характер, наружность и жизнь, прежде чем ты убедишь меня, что изменил свою душу» (III, 178).

Главный вопрос: заслуживает мир презрения или в нем есть самостоятельная высокая ценность, для Петрарки решен уже в «Моей тайне». И это позволило ему сделать первый смелый шаг к человеку.

Автор «Моей тайны» по праву должен быть назван гуманистом, зачинателем великой идейной революции Ренессанса.

Н. В. Ревякина

«ДИАЛОГ НА ДРУЖЕСКОМ ПИРУ» ДЖАНОЦЦО МАНЕТТИ

В 1448 году в «прославленном и знаменитом городе венецов» пребывало флорентийское посольство. И в один из дней флорентийцы, «мужички отличные и выдающиеся», были приглашены венецианцами на праздничный обед. Время было тревожное, снова начала свирепствовать чума, и от печальных размышлений мысли могли отвлечь наслаждения музыкой и чтением, беседами и диспутами, что не без справедливости было названо одним из противоядий против чумы. Восьмого октября, в день св. Марка Евангелиста, состоялся званый обед. Разговоры за столом были навеяны скорее всего чумой. Говорили о человеческом здоровье и жизни; какая пища, одинаковая или разнообразная, полезнее для сохранения здоровья; почему человеческая жизнь, столь длинная во время потопа, мало-помалу сокращалась и так уменьшилась в конце концов, что стала короче почти на 900 лет; почему чума терзает человеческий род теперь чаще, чем ранее, когда жизнь людей была более долгой. Эти и подобные разговоры дружески велись собравшимися, но постепенно, насладившись вином и яствами, собеседники стали говорить вполголоса, а кое-кто уже погрузился, словно в некое приятное убежище, в глубокое молчание.

Из оцепенения вывел всех один из сотрапезников Синибальд, шутливо заметивший, что праздничные яства и дорогие вина вызвали шум и гам или, вернее, глубокое безмолвие. Синибальд призвал всех выйти из непонятного молчания и обратиться к взаимным и дружелюбным разговорам, что будет гораздо полезнее и телу, и душе, и человеку в целом.

Ибо телам, переполненным яствами и хмельными винами, полезнее всего, по мнению медиков, умеренная пауза и покой. Души же, благодаря приятным дружеским беседам, возбуждаются чудесным образом, и люди из праздных и расслабленных бездействием, из тупых и ленивых от сонливости и вялости становятся бодрыми и готовыми к действию и познанию, словно некие смертные боги. Превратим, говорит Синибальд, славный обед в торжественный и великолепный пир (*solemne quoddam et opipare convivium*—по его этимологии, латинское *convivium* от *convivendo* («вместе жить») лучше, чем греческое название пира *symposium* («сносить в одно место» и «вместе пить»).

Этими словами Синибальд вызвал смех собравшихся. Но его призыв рассказать какие-нибудь смешные истории остался без ответа: каждый посмотрел на соседа, призывая его взять слово, и снова воцарилось глубокое молчание. Тогда Синибальд обратился к Бернарду, самому молодому сотрапезнику, и предложил ему поставить вопросы для обсуждения, которое он затем дополнит своими. Бернард, как более молодой, повинувшись, привел по этому поводу подходящую к случаю сентенцию Гесиода. Но он сожалел, что ничего не может добавить к тому, о чем уже шла речь за столом; сколько ни изучал он еврейские, греческие и латинские рукописи, он не помнит, чтобы встречал в них что-то о сохранении здоровья, об уменьшении человеческой жизни или о причинах чумы. Вместо этого он расскажет одну новеллу из «Декамерона» Боккаччо, «нашего забавнейшего и изящнейшего мастера (*poeta*), а также прекрасную и изящную историю из греческой жизни, написанную Леонардо Бруни на итальянском языке. Обе эти истории, по-видимому, будут весьма подходящими к чумному и наполненному войнами времени¹.

Так начинается «Диалог на дружеском пиру» (1448 г.) итальянского гуманиста Джаноццо Манетти (1396—1459), великолепно воссоздающий типичную обстановку гуманистичес-

¹ Jannotii Manetti Dialogus in domestico et familiari quorundam amicorum symposio Venetiis habitus cum ibi Florentini populi nomine legationis munere fungeretur. Ad Dominum Donatum Acciajolium incipit feliciter Bibl. Med. Lauren. Ms. Lat. Plut. XC sup. 29, f. 1r. — 43v.; f. 4v.: Sed de famoso illo ac ridiculo Bocchaccii nostri facetissimi et elegantissimi poete codice qui centum fabellarum seu Decameron vulgo inscribi et appellari consuevit non nulla ridendi gratia promere et in lucem prodere conabor. Atque pulchram quandam et elegantem historiam peregrinam ac grecam a Leonardo Aretino maternis et vulgaribus litteris mandatam oportune admodum adhibebo; que huiusmodi conviviis et his pestiferis et bellicosis temporibus apprime accommodata fore videbuntur.

кого симпозиума. Манетти посвятил «Диалог» Донато Аччайоли, своему родственнику и «прекрасному юноше». Он хотел познакомить Донато с тем, как они проводят свое свободное время (о делах он писал ему раньше, послав свою речь, произнесенную перед венецианцами), а заодно и успокоить Донато, который по причине чумы тревожился о его здоровье.

Диалог находится в рукописи, по-видимому, XV века и хранится во флорентийской библиотеке Медичеа Лауренциана (Lat. Plut. XC sup. 29). Насколько мне известно, диалог не получил еще освещения в литературе². Одним из первых указал на важность этого сочинения с точки зрения исследования этических взглядов эпохи М. С. Корелин³. В статье Н. Бадалони, посвященной философским взглядам Манетти, в примечании есть ссылка на «Диалог на дружеском пиру»; автор кратко говорит о содержании рукописи, обращая особое внимание в связи с интересующей его проблемой на обсуждение в диалоге вопроса: какое животное полезнее всего человеку⁴. На важность диалога указывал Э. Гарэн в беседах с Л. М. Брагиной, любезно предоставившей мне микрофильм рукописи.

В предлагаемой статье будет рассмотрено обсуждение первого вопроса «Диалога» — новелл Боккаччо и Бруни⁵.

Бернард рассказывает кратко новеллу Боккаччо о салернском князе Танкреде. Танкред узнает, что у его овдовевшей молодой дочери Сигизмунды, к которой он сильно привязан, есть возлюбленный Гвискардо, молодой человек из слуг отца. Оскорбленный Танкред приказывает схватить и задушить Гвискардо и посылает дочери в кубке его сердце. Сигизмунда наливает в кубок отравленное снадобье и, выпив его, умирает. Пересказывая новеллу, Бернард передает сюжетную сторону, опуская некоторые общие рассуждения, например, ту часть речи Сигизмунды, где говорится о независимости добродетели от происхождения человека — Боккаччо как гуманист здесь

² К сожалению, мне осталась неизвестной посвященная Манетти книга Н. W. Wittschier. Gianozzo Manetti. Köln—Graz, 1968.

³ Корелин М. С. Ранний итальянский гуманизм и его историография, т. IV. Спб., 1914, с. 124.

⁴ Badaloni N. Filosofia della mente e filosofia delle arti in Gianozzo Manetti. — «Critica storica», 1963, N 2, p. 414—415 (прим. 93).

⁵ Проблемы, связанные с обсуждением второго вопроса диалога о наиболее полезном человеку животном, затрагивались мною в статье «Учение о человеке итальянского гуманиста Джаноццо Манетти» (в кн.: Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976).

высказывается ярко и красноречиво⁶. Тем сильнее начинает звучать в передаче Бернарда тема чувства. В словах Сигизмунды, защищающей свою любовь перед отцом, отстаивается любовь как естественное чувство людей, созданных из плоти, а не из камня или железа, и невозможность противостоять этому чувству⁷. О достоинствах Гвискардо, однако, ничего не говорится, и любовь не звучит как индивидуализированное чувство.

В истории о Селевке, рассказывается об этом известном преемнике Александра Македонского. Женатый в молодости на дочери египетского царя Клеопатре, он имел от нее много детей, но только одного сына Антиоха. После смерти Клеопатры Селевк женился на дочери Македонского царя Антипатра Стратонике. Антиох влюбился в мачеху, но любовь эту он скрывал и, желая избавиться от нее, уехал в войско. Однако жестоко страдал и там; в конце концов опасно заболел и был возвращен домой. Съехались со всех сторон врачи; один из них догадался о причине болезни и получил очевидные доказательства своему предположению: оставаясь долго в покоях Антиоха, он наблюдал за ним и просил царицу приходить к нему ежедневно; после ухода Стратоники он несколько раз прощупывал пульс у Антиоха и узнал причину его болезни. Врач сообщает об этом Селевку; Селевк узнает также, что царица в полном неведении относительно страсти пасынка, а тот предпочитает умереть, чем открыть свою страсть. Движимый состраданием Селевк, поразмыслив, решает оставить жену и уступить ее сыну. Сын, выздоровев, женится на Стратонике, имеет от нее многочисленное потомство. Отец же радуется своему решению, поскольку и сына спас от смерти, и обеспечил продление царского рода⁸.

Новеллу Боккаччо перевел в 1436 г. на латинский язык Леонардо Бруни. Еще ранее, возможно под влиянием уже известной ему новеллы Боккаччо, он написал на итальянском языке

⁶ «... Взгляни немного на сущность вещей: ты увидишь, что у всех у нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше, и они в ней были деятельнее, были названы благородными, а остальные остались неблагородными» (Боккаччо. Декамерон. День 26, новелла 1. Т. 1. М., 1931, с. 395).

⁷ Plut. XC sup. 29, f. 8v.: Et si me non ex ferro, neque ex lapide, neque ex calibe, neque ex ere aliove duro metallo, sed ex molli et humana carne abs te genitum alioquin meminisses profecto nunquam in hunc meum tam flagitiosum errorem incidissem.

⁸ Ibid., f. 10r. — f. 13v.

(и перевел позже на латинский) новеллу о Селевке. Бернард говорит, что Леонардо Бруни, «выдающийся оратор и историк нашего времени», написавший новеллу о Селевке, восхвалял его за «человечность и благоразумие», а Танкреда порицал за «суровость и безрассудство»⁹. Вполне возможно, что не только и не столько новелла Боккаччо послужила поводом для написания новеллы о Селевке, сколько похожий, но имеющий трагический конец реальный случай, произошедший в доме Эсте, о котором рассказывает и Манетти. М. С. Корелин отмечает факт литературной полемики Бруни с Боккаччо, указывающий «и на уважение, и на критическое отношение позднейшего гуманиста к автору «Декамерона» (Корелин М. С. Цит. соч., с. 124); он обращал внимание и на издание Бруни новеллы на итальянском языке, показывающее, что Бруни не относился с презрением к народной речи и желал подражать Боккаччо.

Бернард, хотя и ссылается на авторитет Бруни, все же предлагает обсудить обе новеллы и высказать свое суждение по поводу поступков Танкреда и Селевка. В обсуждении принимают участие, кроме Синибальда и Бернарда, Александр Мартелл, Карл Бардус, Фома Рингадорий, Пигелий Партинаррий, Неротий, канцлер Хирсус, сам Манетти и его сын Джанфранческо.

В споре о Танкреде и Селевке мнения разделились. Одни считают, что суровый Танкред справедливее Селевка. Ведь если виноваты оба — и Сигизмунда, и Гвискард, их по праву надлежит наказывать. И Танкред сделал бы гораздо лучше, если бы лишил жизни и того, и другого, чем если бы оставил их безнаказанными «вопреки божественному и человеческому праву» или наказал их не смертью. «Ведь если бы он оставил их безнаказанными, разве не оскорбил бы справедливость, славнейшую из всех добродетелей. А если бы бросил в темницу, отправил в изгнание или наказал телесно, разве не жил бы без постоянных воспоминаний и вечного позора для своего имени»¹⁰.

Защитники Танкреда приводят примеры древних и современ-

⁹ Ibid., f. 13v.: ... Aretinus egregius nostri temporis orator et historicus, huius peregrine ac nobilitate hystorie apud latinos auctor Seleucum de humanitate ac prudentia mirum in modum laudaverit. Tancredum vero de ne sue asperitate ac temeritate magna cum nominis sue ignominia vituperaverit.

¹⁰ Ibid., f. 14 v.: nam si ambos impunitos dimisisset nempe iustitiam cunctarum virtutum preclarissimam violasset. Si vero eos vel carcere vel exilio vel quibusdam suorum corporum cruciatibus animadvertisset, non sine continuis memoribus et perpetua nominis sui ignominia vississet.

менных правителей, снискавших себе похвалу за наказание смертью своих сыновей. Римский политический деятель консул Манлий Торкват казнил своего сына, вступившего, вопреки приказу отца, в бой с врагом и сражавшегося храбро и победоносно. Из современной жизни вспоминают случай, произошедший в доме Эсте. Николо д'Эсте, имея взрослых сыновей, вступил в новый брак с молодой и прекрасной женщиной, в которую влюбился один из его сыновей. Узнав об этом, Николо, хотя и страдал жестоко и нежно любил обоих, приказал их казнить. Он предпочел именно предать их смерти, а не пощадить или приговорить к другому наказанию и тем самым сохранить «на постоянный и вечный свой позор»¹¹. И если Торквата хвалят древние писатели, а Николо мудрые люди его времени, то и Танкред заслуживает похвалы, и его следует предпочесть Селевку.

Вторая группа собеседников предпочитает Танкреду Селевка. Они, впрочем, не лишают похвалы и Танкреда, так как если бы он не осудил на смерть Гвискардо, то жил бы «в постоянной скорби и покрытый вечным позором». Если же он считал, что за смертью Гвискардо быстро последует самоубийство дочери и потому приказал его удушить, то лучше бы он сам лишил жизни Сигизмунду; тогда бы он заслуживал гораздо больших похвал. Собеседники приводят из римской истории примеры отцов, которые лишили жизни сыновей, принимавших участие в заговоре против родины (Л. Брут, Деним Силлан).

Однако большей похвалы заслуживает, по их мнению, Селевк, так как он «без преступления и с наслаждением и вечной славой для себя» позаботился о единственном сыне, которому угрожала смерть от любви¹². Все писатели хвалят его «за человечность и доброту» (*de humanitate ac benignitate*), из этих качеств проистекает похвала и слава его добродетелям. Сохранив сына, пишут они, он обрел большие радости и наслаждения для души и тела. Он достоин высших похвал, раз великодушно содействовал спасению сына и смог сделать это без преступления. И раз он стяжал своему имени славную молву одновременно с наслаждением и сохранением жизни единст-

¹¹ Ibid., f. 15v.: ad perpetuam quamdam et eternam persone sue ignominiam reservare ...

¹² Ibid., f. 16 v.: Seleucum tamen maioribus laudibus propterea dignum esse censemus quem sine crimine et cum voluptate ac perpetua nominis sui gloria unico filio periclitanti, ac paulo post morituro providere et consulere voluerit.

венного сына, а Танкред достиг славы с болью и ценой потери единственной дочери, значит Селевка надо предпочесть Танкреду¹³.

Итак, защитники Танкреда в оценке поступка руководствуются соображениями абстрактно понимаемой справедливости, чести и славы безотносительно к средствам их достижения. Защитники Селевка, для которых столь же существенны похвала, слава и ненавистен вечный позор, предпочитают все же достижение славы без преступления и с наслаждением, а не ценой смерти и со страданием. Однако жизни в вечном позоре и страдании они предпочитают наказание смертью.

Для окончательного решения вопроса выбираются арбитры, среди которых Габриель, знаток греческого языка, и Микеле Рондинелли.

Вынося свое решение, арбитры апеллируют прежде всего к природе. И потому они, хотя и оценивают средства Селевка как здоровые (*salubria*), не считают их похвальными и наилучшими, так как не может быть похвально и справедливо то, что отвергает и ненавидит природа¹⁴. А ненавистно природе то, что мачеха становится возлюбленной пасынка. Эта связь губительна и преступна: дети, рожденные Стратоникой от Селевка, были бы братьями своему отчиму, сыновья Антиоха от мачехи и жены Селевка были бы племянниками, сыновьями и единоутробными братьями одновременно. Природа не может перенести подобных преступлений. Да и в языке (еврейском, греческом или латинском) нет слов для обозначения подобных связей, не понятных никому, за исключением разве что Эдипа. Но Селевк, «кроме того, что нарушил права природы, дал всем последующим юношам пример чего-то мягкого, слабого, женственного и наихудшего». Подражая Антиоху, они или погибали бы от преступной любви, или их спасали бы от опасных для жизни страданий их отцы, уступая им собственных жен, и «это в наше время, когда развод церковным правом вообще запрещен»¹⁵. Поэтому арбитры порицают и осуждают Антиоха за то,

¹³ Ibid., f. 17r.

¹⁴ Ibid., f. 32v.: ... quod enim natura detestatur et odit recte laudari et commendari non posset.

¹⁵ Ibid., f. 34v.: Seleucus quoque preter violata communis naturae iura molle quoddam ac muliebri et pessimum exemplum posteris adolescentibus reliquit (sic!) qui si Antioci sui vestigia imitarentur. Profecto vel ex nimis et infandis amoribus perirent, vel patres eos a gravibus et periculosis egritudinibus liberare cupientes, proprias sibi uxores temporibus nostris largirentur, quibus divortium per sacras leges omnino prohibitum et penitus abolitum esse videmus.

что, полюбив мачеху, он взял ее в жены и нарушил тем самым права природы. Ему противопоставляется Ипполит, отвергший любовь мачехи Федры: он предпочел умереть, чем уступить позорным домогательствам мачехи.

Эти доводы арбитры подкрепляют ссылками на авторитеты св. писания и античности. Ссылаясь на законы Моисея и послания апостола Павла, арбитры свидетельствуют, что любовь пасынка и мачехи наказывается смертью. Они приводят выдержки из Библии о нерушимости связей жены и мужа, о сохранении верности и воздержании от блуда. Ссылаются на «мудрейших и скромнейших язычников», на их древние законы, запрещавшие под страхом смертной казни соблазнять чужую жену, «чтобы случайно верность и дружба и целокупность брака, каковые между мужем и женой находились в величайшем достоинстве, не осквернялись и не разрушались повседневным прелюбодеянием»¹⁶.

Поэтому Селевка не следует хвалить, а скорее надо порицать. Но что должен делать царь в таких сложных обстоятельствах? Арбитры взывают к воспитанию, воспитательным средствам. Селевк должен был так воспитать сына с помощью честных законов и обычаев, чтобы тот из почтения к отцу с самого начала отбросил позорные мысли о преступной любви, прежде чем они пустят крепкие и устойчивые корни. Таким образом, моральное осуждение сформулировано четко и недвусмысленно.

За этим осуждением Антиоха и Селевка, важнейшим аргументом которого является апелляция к высочайшему гуманистическому авторитету — природе, стоит, несомненно, защита семьи и брака. Брак и семья естественны, а нарушение брачных уз оправдания в природе не имеет.

Не имеет оно оправдания и в другом авторитете, важном в гуманизме конца XIV — первой половины XV века, т. е. в период сильного звучания в нем гражданских и республиканских мотивов. Этот авторитет — справедливые законы. Мысли о важности справедливых законов, составляющих основу государств, развивались К. Салютати и П. П. Верджеро, Фр. Барбаро и Л. Бруни. И сам Манетти в своих работах не раз высказывался по поводу справедливости, воплощенной в законах и отражающей божественную справедливость¹⁷. В «Диа-

¹⁶ Ibid., f. 34v. — 35r.: ... ne forte fides et amicitia ac matrimonii integritas, que inter virum et uxorem maxima cum dignitate vergebat per quotidiana adulteria pollui ac corrumpi videretur.

¹⁷ Badaloni N. Op. cit., p. 400—401.

логе» Манетти ссылается на законы Моисея и «мудрейших и скромнейших язычников», и ниже, в случае с Танкредом, — на «законы божественные и человеческие».

Итак, нарушения брачных уз, разрушения семьи не оправдывает природа и не позволяют справедливые законы. Манетти не одинок в своей твердой позиции защиты семьи. Тема семьи — предмет частых обсуждений в гуманистической литературе конца XIV — первой половины XV в., пронизанной гражданскими мотивами, идеями общего блага. Достаточно вспомнить красноречивое письмо Салютати, посвященное защите брака, работу Фр. Барбаро о женитьбе, диалог Альберти «О семье». Возвышая гражданское общество и провозглашая служение ему целью человеческой деятельности, гуманисты подчеркивают значимость всех институтов, связей и отношений гражданского общества: труда и различных сфер деятельности, богатства, семьи и брака, дружеских связей и т. п. Брак рассматривается как необходимый естественный и общественный институт, семья — как важнейшая ячейка общества. И такой взгляд во многом соответствовал реальной жизни второй половины XIV — первой половины XV в., когда крупные торговые, банкирские, предпринимательские фамилии ведущих городов Италии вершили городскую экономическую и политическую жизнь.

Защищаемый гуманистами взгляд на семью, брак, детей связан с общей переоценкой земной жизни, все радости и заботы которой в полной мере были приняты новой эпохой. В защите родственных связей можно видеть определенную реакцию на проповедуемое церковью равнодушное отношение к детям и семье, отвлекающим от любви к богу, от «высших» целей земной жизни. Подобный взгляд имел еще питательную почву, о чем свидетельствует популярность в конце XIV века св. Екатерины Сиенской, страстной проповедницы идей аскетизма¹⁸, широкое распространение в XV веке трактата Иннокентия III «О презрении к миру»¹⁹. Защита прочности семей-

¹⁸ Epistolaria di santa Caterina di Siena, ep. LXXXVI, p. 348—349, ep. LXXIII, p. 300. В этих письмах Екатерина сурово осуждает родительскую и супружескую любовь, ссылаясь на противоположность мира и бога, цитируя евангелие Матфея: «кто не оставит отца и мать свою, тот не достоин меня».

¹⁹ О судьбе трактата Иннокентия III см.: Giles Constable. The popularity of twelfth century spiritual writes in the late Middle ages. — In: Renaissance Studies in honor of Hans Baron, ed. by A. Molho and J. A. Tedeschi. Firenze, 1971.

ных отношений, возможно, была реакцией и на традиции куртуазной любви. Салютати, например, высмеивает и сурово осуждает влюбленность Пелегрино Дзамбекарри в замужнюю даму Джованну и всеми силами пытается оторвать Пелегрино от этой привязанности²⁰. Если подобная любовь вне брака отвергается, то и защита самого брака любовью не аргументируется. Среди ряда аргументов в пользу брака у Салютати отсутствует именно этот. В передаче Манетти новеллы Боккаччо чувство Сигизмунды, как уже отмечалось, не индивидуализировано, это скорее свойственное всем людям, созданным из плоти, а не из камня, влечение. И ни один из участников диалога, включая арбитров, любви как аргумента, хотя бы слабо оправдывающего Сигизмунду, Антиоха или сына Эсте, не коснется. Отсутствие в литературе гражданского гуманизма аргументации брака любовью и представлений о любви как чувстве индивидуализированном, кроме других причин, объясняется, по видимому, недостаточным вниманием в этом течении гуманистической мысли к человеческой индивидуальности.

Обсуждение новеллы Бруни поднимает очень важную в гражданском гуманизме тему семьи, родственных связей. В полемике, развернувшейся вокруг новеллы Боккаччо о Танкреде, тема родственных отношений (родителей и детей в данном случае) остается, но в связи с ней встает ряд новых, более общих вопросов.

Высказывания арбитров относительно Танкреда гораздо резче. Он осуждается безоговорочно. Основания для его восхваления за строгость и справедливость арбитрам представляются ложными, так как ни человеческие, ни божественные законы не устанавливают смертной казни для любовников вдов. Гвискардо наказан гораздо более жестоко, чем того требуют законы. Сигизмунда более виновата, чем он, и наказать следовало ее, чего Танкред не сделал из-за любви к дочери. Но Сигизмунда сама приняла яд. Однако она виновата не до такой степени, чтобы заслужить смерть, и потому эта смерть не освобождает Танкреда от позора. За обе эти несправедливые смерти Танкреда следует не хвалить, а порицать, и осудить за несправедливость и чрезмерную суровость²¹. Случаи из исто-

²⁰ *Salutati C. Epistolario*, a cura di F. Novati, v. 1—4. Roma, 1891—1905. v. III, lib. 9, ep. 1—IV, lib. 10, ep. XVI.

²¹ *Blut*, XC, sup. 29, f. 35v—36r.: Quocirca ob hec duo precipua iniquitatis et iniustitiae capita Tancredum vestrum vituperandum potius quam laudandum esse putamus.

рии (с Торкватом, Брутом, Силланом, убившими своих сыновей) и из современной жизни (случай с Николо Эсте) не убеждают арбитров, хотя этих людей и хвалили мудрые люди. Все эти примеры требуют конкретного рассмотрения.

Сыновья Брута и сын Силлана были наказаны смертью своими отцами за участие в заговоре, т. е. за измену родине, и они, считая арбитры, должны были быть наказаны, «согласно законов их и нашего времени». Случай с Торкватом иной. Сын Торквата был наказан для того, «чтобы сохранилась строгость и нерушимая и неприкосновенная святость военной дисциплины; в этой дисциплине, как считали в то время, словно в наиглавнейшем и единственном нерве государства состоит его спасение»²². Арбитры считают Торквата «слишком суровым и мало человеческим» (*pimis severum et parum humanum*); при этом они ссылаются на Цицерона, сказавшего о Торквате: «Я не хотел бы быть рожденным от него, столь несчастного и столь жестокого». И далее в диалоге говорится, что, если и были подобные случаи раньше, «совсем не следует, чтобы те, кого некогда восхваляли древние в те времена, восхвалялись и в наши»²³. Эта мысль подтверждается иной оценкой во времена Манетти, нежели в древние времена, поступков Катона и Лукреции.

Что же касается современного случая с Эсте, «ужасного и порочного преступления», то он, по мнению арбитров, настолько отличается от случая Танкреда, что различие в преступлениях требует разных наказаний. И хотя характер наказания для Эсте не указан арбитрами, в их глазах ни тот, ни другой государи не заслуживают похвалы, их следует по заслугам скорее порицать²⁴.

В этой полемике Манетти обращает на себя внимание ряд моментов. Во-первых, интересна направленность полемики против абстрактно понимаемой справедливости, ей противопоставляется справедливое законодательство, предусматривающее конкретные случаи. Уже отмечалось, что обращение к законам — очень характерный мотив гражданского гуманизма. Неприятие абстрактно понимаемой справедливости сопровождается осуждением жестокости как Танкреда, так и Торквата

²² *Ibid.*, f. 36r.

²³ *Ibid.*, f. 36v.: Quando vero similes ac proprii et omnino iidem casus fuissent, illud nos ad multas veterum scriptorum laudes pace eorum dixerimus nequaquam consequens esse arbitraremur, ut illi his temporibus, nostris merito laudarentur, quos olim ab antiquis laudatos fuisse constaret.

²⁴ *Ibid.*, f. 36v.

и Эсте, оценкой их поступков как мало человеческих, позорных, как преступления. Для Брута и Силлана делается исключение, так как они убили сыновей за измену родине — для патриотически настроенного гражданина Флоренции Манетти это достаточное основание для наказания смертью. Однако античные оценки для Манетти не абсолютны, к добродетелям древних он относится с критикой, обнаруживая сознание историчности. А в его апелляции к конкретному рассмотрению поступков звучит протест против абстрактного суждения.

Свое отношение к жестокости и человечности и взгляд на античные добродетели Манетти вырабатывает еще в «Диалоге о смерти сына» (1438 г.). Знакомство с позицией гуманиста в этом диалоге поможет лучше понять оценки «Диалога на дружеском пиру», где Манетти не повторяет своих общих рассуждений. В «Диалоге о смерти сына» идет спор о естественности родительской скорби по поводу смерти детей: стоик Аньола не признает естественного происхождения этой скорби и ставит ее в зависимость от обычая, а перипатетик Манетти считает скорбь естественной и потому обязательной; выступающий в роли арбитра христианин становится на точку зрения перипатетика, дополняя ее новыми соображениями²⁵.

Рассматривая разное отношение родителей к смерти детей, Манетти приводит среди других примеров и те, которые он повторяет позже в «Диалоге на дружеском пиру» (с Брутом, Торкватом). В «Диалоге о смерти сына» Манетти пытается выяснить мотивы убийства детей отцами и равнодушного перенесения ими смерти сыновей.

Так, Торкват, по его мнению, «был движим, согласно древнему обычаю своего времени, некоей кажущейся славой и предпочел жизни своего сына пустую хвалу за строгость»²⁶. Истинные мотивы равнодушного отношения античных деятелей к смерти детей Манетти видит в их честолюбии и жажде славы. Но честолюбие, выказывание себя, слава, с его точки зрения, — пустой и ничтожный обычай²⁷. Они не естественны,

²⁵ «Диалог о смерти сына» находится в рукописи. Мной был использован экземпляр, хранящийся в Ватиканской библиотеке (Urb. Lat. 5. Dialogus Jannocii Manetti de acerba Antonii dilectissimi filii sui morte consolatorius ... f. 165r. — 199r.). Микрофильм рукописи получен также от Л. М. Брагиной. Анализ диалога дан в названной выше статье «Учение о человеке итальянского гуманиста Джаноччо Манетти».

²⁶ Urb. Lat. 5, f. 178 v. Ouid igitur ad Torquatam respondebimus nisi quod quadam glorie ostentatione iuxta veterem eius etatis consuetudinem ductus inanem severitatis famam filii sui vite antetulerit.

²⁷ Ibid., f. 176v., 179v.

тогда как переживания по поводу смерти детей идут от природы и потому законны. Производя переоценку добродетелей, столь восхваляемых древними, Манетти ссылается на Августина, но в сущности он исходит из своего понимания человека как природного существа, понимания, которое начинает у него складываться в результате творческого переосмысления идей античности и раннего христианства и получит позже блестящее выражение в трактате «О достоинстве и превосходстве человека».

Человек, повторяет Манетти Аристотеля в «Диалоге о смерти сына», «по природе социальное и гражданское животное, способное к смеху, рожденное для действия и познания, и словно некий смертный бог»²⁸. Но были люди, которые в жизни не проявляли этих естественных свойств природы. Тимон Афинский избегал человеческого общества. Красс никогда не смеялся. Манетти говорит и об агеласте (никогда не смеющемся) своего времени, каком-то известном старике из Флоренции. Были и бездеятельные люди. Высказывание о них весьма красноречиво, оно вполне в духе предприимчивой и энергичной эпохи Возрождения, вполне в духе самого Манетти, который, по словам его биографа Веспасиано да Бистиччи, в непрерывных трудах «расходовал свое время чудесным образом, не теряя ни минуты». Бездеятельных людей гуманист называет погибшими; ведь деятельность и труд, к которым они рождены, они ненавидят так, что ни о чем другом никогда, по-видимому, и не помышляют, только поспать; и, преданные сну, до такой степени погружаются в него, что разбуженные иной раз другими, моментально вновь засыпают, словно это вполне естественно²⁹. Иные предавались азартным играм и прочим порокам. И всех этих людей, ненавидящих общество, смех, труд, знание, Манетти вместе с Аристотелем склонен не считать людьми: «Аристотель утверждал, что они и им подобные, ненавидящие humanitas (природу человека, человечность), не люди, но то ли боги, то ли животные». Манетти выделяет и возвышает специфически человеческое (не божественное и не животное), называя его термином humanitas. В humanitas он видит проявление естественных свойств человеческой природы.

К людям, ненавидящим человечность, Манетти относит и родителей, не страдающих по поводу смерти своих детей. Но преобладающее большинство людей скорбит об умерших де-

²⁸ Ibid., f. 172r.

²⁹ Ibid., f. 172v.

тах, и этих человеческих (humani) бесконечное множество, а «бесчеловечных» (inhumani) по сравнению с первыми очень мало, почти что нет³⁰. Человечность в этом контексте, несомненно, приобретает моральный оттенок, намечается связь нравственности с естественными основаниями.

Эти наблюдения Манетти в «Диалоге о смерти сына» помогают лучше понять его осуждение жестокости Танкреда, бесчеловечности Торквата и Эсте в «Диалоге на дружеском пиру». Смерть Сигизмунды и Гвискардо составляет бесчестие, бесславие Танкреда, наказание смертью свидетельствует о бесчеловечности Торквата и Эсте. Еще в «Диалоге о смерти сына» Манетти оценил смерть как «несомненное зло человеческой природы»³¹ и высказал к ней самое отрицательное отношение, позже в трактате «О достоинстве» он вступит в страстную полемику со всеми защитниками смерти, начиная от античных писателей и кончая папой Иннокентием III, и будет черпать аргументы из своего в этом же трактате развиваемого в высшей степени оптимистического учения о мире и человеке. В «Диалоге на дружеском пиру» Манетти специально этой теме не касается, но за наказание смертью осуждает и отрицательно высказывается, соглашаясь в оценке с Августином, по поводу самоубийц Лукреции и Катона. Древние считали поступки Лукреции и Катона проявлением мужества и высоко их оценивали, Августин же, замечает Манетти, Лукрецию и Катона «по праву порицает и заслуженно обвиняет в малодушии и робости». Эти примеры приводятся Манетти как доказательства относительности моральных оценок в разное время, интересны они также с точки зрения переоценки античных добродетелей. Но для Манетти эти примеры не случайны, в них проявляется его отношение к смерти и самоубийству. В трактате «О достоинстве» Манетти вновь приведет пример с Ка-

³⁰ Ibid., f. 173r. Atqui si de his mortalibus quos suapte natura a societate hominum a risu ab actione, postremo a cognitione rerum abhorruisse diximus non fuisse homines propterea contendimus quod Aristoteles eos et huiusmodi ab humanitate ipsi abhorrentes non homines sed vel deos vel bestias esse asseruerit. Fodem ego modo de illis dicere non verebor quos filiorum suorum mortes non doluisse si fieri potuit accepimus. Et si ita est certe maxima omnium animi egritudo ex liberorum amissione proveniens non opinionis sed nature malum esse cognoscitur, quoniam longe plures pluresque humanos quam inhumanos parentes vel esse vel fuisse luce clarius aparet, quin immo multi ac pene infiniti, illi vero per pauci ac fere nulli reperiuntur presertim si cum superioribus comparent.

³¹ Ibid., f. 187v.

тоном (наряду с рядом других), пытаюсь понять, что заставило этого римлянина уйти из жизни.

Как видим, обсуждение новеллы Бокаччо вновь связывает Манетти с общегуманистической проблематикой. Вопросы жизни и смерти, природы и морали, переоценки античных добродетелей находятся в центре внимания гуманистов. Манетти связан и с предшествующей гуманистической традицией, в которой складывается оптимистический взгляд на жизнь и отрицательное отношение к смерти, и с размышлениями современников. В частности, полемика с абстрактными представлениями о славе, справедливости, апелляции к природе для обоснования нравственного поведения в некотором отношении сближает Манетти с Л. Валлой.

В целом обсуждение новелл в «Диалоге на дружеском пиру» предлагает этическую разработку в гуманистическом духе вопросов семьи, брака, родственных отношений. Обсуждение затрагивает и более общие моральные проблемы, свидетельствующие о поисках Манетти основ нравственного поведения, о его стремлении четче определить моральные принципы гуманизма.

С. М. Стал

МИКЕЛЬАНДЖЕЛО И ЛЕОНАРДО

Среди дошедших до нас рисунков Микельанджело есть один необычайно своеобразный. В профиль, во весь рост изображен немолодой уже человек. На нем высокая шляпа, длинный плащ широкими свободными складками ниспадает до полу, подчеркивая стройность его фигуры. В руках он держит какой-то округлый предмет, образуемый как бы двумя сомкнутыми полусферами. Лицо его, обрамленное красивой бородой, отличается редкой правильностью черт и дышит величавым благородством. В открытом взгляде больших глаз светится глубокий ум. Не удивительно, что рисунок этот (Лондон, Британский музей) обычно называют «Философ»¹. Но

¹ Berenson B. The drawings of the Florentine painters (amplified ed.). Chicago, 1938, v. I, N 1522, fig. 576; v. II, p. 190—191; Mackowsky H. Michelagnolo. B., 1921, S. 10—11; Wilde J. Italian Drawings in the Department of prints and drawings in the British Museum. Michelangelo and his studio. L., 1953, p. 1—2; Goldscheider L. Michelangelo drawings. L., 1966, N 14.

всякого, кто сколько-нибудь знаком с иконографией крупнейших художников Возрождения, с первого же взгляда не может не поразить очевидное сходство: перед нами профильный портрет Леонардо да Винчи.

Однако что может быть невероятнее такого вывода! Ведь соперничество двух великих художников — общеизвестный, хрестоматийный факт, да и сам Микельанджело не скрывал своей антипатии к Леонардо. Не удивительно поэтому, что мысль такого рода² встречает всевозможные возражения.

На изображенном человеке шляпа пилигрима с розеткой («раковинной»), как у человека, приехавшего с Востока. По форме шляпы — это греческий философ, быть может Аристотель, держащий в руках череп и читающий лекцию по анатомии. Впрочем трудно сказать уверенно, что именно он держит в руках: может быть, шар, глобус. Поэтому наиболее вероятно — перед нами обобщенное изображение философа, мудреца. Некоторые склонны называть его «Астролог» и даже «Алхимик»³. Другие, отказываясь от какой бы то ни было определенности, предпочитают именовать рисунок просто «Человек в длинном плаще»⁴.

Изображение это настолько необычно среди оригинальных рисунков Микельанджело, что многим оно представляется ранней, еще ученической работой юного Буонарроти, когда он занимался копированием картин старых мастеров⁵.

Возражений много, но нельзя сказать, чтобы они отличались убедительностью. В самом деле, если перед нами алхимик, почему на рисунке нет никаких специфических признаков этого занятия? Астроном? Но то, что изображенный человек держит в руках, не имеет сферической формы, — две легкими штрихами намеченные дуги гораздо более напоминают контуры черепа. Да, это вернее всего человек, читающий

² Впервые в леонардоведении она была высказана в 1926 году (Möller E. *Wie sah Leonardo aus?* — «Belvedere», Wien, 1926, S. 29—46), а затем, вопреки всем возражениям, еще через 45 лет (Stites R. S. *The sublimations of Leonardo da Vinci*. Washington, 1970, p. 341—342).

³ Berenson B. *Drawings*, v. I, p. 186; Tolnay Ch. de. *The Youth of Michelangelo*. Princeton, 1947, p. 179; Dussler L. *Die Zeichnungen des Michelangelo*. Berlin, 1959, Katalog, N 29.

⁴ Weinberger M. *Michelangelo the sculptor*. L.-N. Y., 1967, v. 2, p. VIII.

⁵ К этой точке зрения, вслед за К. Фреем, склоняется даже такой глубокий знаток творчества Микельанджело, как Ш. де Тольней, хотя сам же признает в рисунке самостоятельную работу на свободно избранную тему и, как никто, тонко подмечает в нем черты высокого совершенства (см.: Tolnay Ch. *Youth*, p. 65, 67—68).

лекцию по анатомии. Но почему Аристотель? К какой области творчества Микельанджело мы бы ни обратились, мы нигде не найдем свидетельств его увлечения Стагиритом или вообще изображением античных философов. Да и в сознании людей этой эпохи образ Аристотеля менее всего ассоциировался с анатомией. Напротив, анатомические занятия Леонардо были широко известны.

«Общепринятое изображение ученого», как полагает Гольдшайдер? Но чем доказывается эта общепринятость? И, что еще важнее, найдем ли мы во всем художественном наследии Микельанджело хоть малые указания на его интерес к изображению собирательных образов «художника», «философа» и т. п.? На «Философе» шляпа «пилигрима», человека, приехавшего с Востока? Так ведь Леонардо в 1500 году впервые вернулся во Флоренцию после долгого пребывания в Милане, после скитаний по Италии, а если верить слухам, то — и по странам Востока.

По мнению некоторых, изображенный мудрец будто бы напоминает традиционный облик одного из «царей» на картинах «Поклонения волхвов», и особенно — персонаж из одноименной картины самого Леонардо (Флоренция, Уффици) — крайнюю слева фигуру на переднем плане⁶. Но Микельанджело никогда не писал «Поклонения волхвов» и нет никаких данных, что его когда-нибудь интересовал этот сюжет. Если же изображенный человек напоминает персонаж с картины Леонардо, то это само по себе красноречиво свидетельствует: в пору создания этого рисунка Микельанджело не был ни враждебен, ни равнодушен к старшему гению, напротив, — видимо именно в его творчестве искал образцов, как прежде у Джотто и Мазаччо, у него хотел учиться. При этом необходимо отметить, что персонаж в левом нижнем углу знаменитого подмалевка Леонардо — совсем не «царь», не «волхв», а стоящий в стороне и погруженный в глубокую думу мыслитель, с нескрываемым сомнением взирающий на сцену фанатического поклонения⁷. Однако сходство черт лица микельанджеловского «Философа» с «Мыслителем» на картине Леонардо — более чем проблематичное, а с известными портретами самого Винчианца — несомненное.

⁶ См. напр.: Goldscheider L., p. 30—31.

⁷ Об этом подробнее см.: Стам С. М. К вопросу об идейном содержании творчества Леонардо да Винчи («Поклонение волхвов»). — В кн.: Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества, вып. 2. Л., 1977.

Предположительная датировка интересующего нас рисунка Микельанджело у специалистов колеблется, но, как правило, — между 1500 и 1504 годами⁸. Это были годы, когда судьба сравнительно ненадолго свела в родной им Флоренции двух великих ее сынов: одного — в цветении зрелости — чародея живописи, чья слава гремела по всей Италии, мудреца, экспериментатора и изобретателя, глубина и смелость мысли которого поражали современников; и другого — в расцвете многообещающей юности, — уже прославленного своей бесподобной римской «Пьетой», уже сознающего свое великое предназначение, но именно поэтому неутолимо жадного до всего, что может быть полезно для его искусства, готового и умеющего учиться у всякого, у кого можно поучиться чему-то важному (был ли это делла Кверча или Синьорелли), но при этом никогда не перестававшего быть самим собой.

Мог ли этот Микельанджело остаться равнодушным к искусству Леонардо, к его всепроникающей мысли? Мог ли избежать воздействия его могучего обаяния? Думается, что, только забыв о величии духа Микельанджело, можно отважиться ответить утвердительно на эти вопросы. И, конечно же, Микельанджело не могли не привлекать исключительные познания Леонардо в области анатомии. Как сообщает Кондиви (гл. XIII, XVI, LX), Микельанджело занимался этой наукой увлеченно и очень основательно в течение почти всей своей жизни и даже хотел написать книгу по анатомии для художников. Производить рассечения трупов он начал еще в юности, когда (видимо, в 1493 г.) приор госпиталя Санто-Спирито предоставил ему эту возможность. Вынужденный отъезд из Флоренции в 1494 г. заставил его прервать эти занятия. В 1501 г. возвратившись в родной город, он возобновил их там же, и легко представить, с каким интересом он должен был отнестись к обширным анатомическим познаниям Леонардо, у которого за плечами были уже многочисленные рассечения, произведенные в Милане, и который, как сообщает Аноним, продолжал эти свои исследования во Флоренции, в госпитале Санта-Мария-Нуова (о чем свидетельствуют и анатомические рисунки Леонардо, относящиеся к первым годам

⁸ Бернсон, теряясь в истолковании этого произведения, непоколебимо тверд в его датировке: по технике рисунка — около 1500 г. (*Berenson V. Drawings, v. II, p. 191*); Меллер считает, что он был создан в конце 1501 (весной этого года Микельанджело вернулся во Флоренцию, где уже в течение года работал Леонардо) или в начале 1502 года (*Möller E., S. 43*).

XVI века)⁹. Более чем вероятно, что флорентинские художники хотели слышать Леонардо и что он читал им лекции по анатомии. Едва ли Микельанджело мог бы упустить такую возможность. Скорее он был в числе наиболее ревностных слушателей. В этом контексте и содержание, и датировка интересующего нас рисунка читаются достаточно четко.

Почему мы должны думать, что два великих художника всегда находились во вражде? Позднее что-то действительно их поссорило. Теперь же, в первые годы начинавшегося XVI века, они, видимо, были духовно близки, и молодой гений был захвачен широтой познаний, совершенством мастерства, силой мысли старшего, жадно слушал его, любовался им. Портрет Леонардо (быть может, единственный портрет во всем художественном наследии Буонарроти) — исключительно важное тому свидетельство.

Однако, говоря очень много, портрет этот не говорит всего¹⁰. Восхищение, преклонение несомненны, но было ли воздействие искусства Леонардо, влияние его идей? Не остаемся ли мы всего лишь в сфере более или менее вероятных предположений? Попытаемся прежде всего внимательно приглядеться к дошедшим до нас рисункам Микельанджело этих лет. Всякого, кто убежден в извечности вражды двух величайших гениев Возрождения, здесь ждут немалые неожиданности.

В Оксфорде, в Ашмолеанском музее, хранится рисунок «Св. Анна с Марией и младенцем». Его принадлежность руке Буонарроти ни у кого не вызывает сомнений, хотя и по теме, и по композиции, особенно по пространственному решению, главное же — по своему содержанию, он более чем необычен для Микельанджело. Прежние критики (Робинсон, Тоде) датировали этот рисунок 1504 годом, но уже Бернсон — весной 1501 года. Такого же мнения твердо придерживаются Тольней

⁹ *Clark K. Catalogue of the drawings of Leonardo da Vinci in the collection of his majesty the king at Windsor Castle. Cambridge, 1935, vol. I, p. I, II, XXVIII ss.; Burckhard J. Der Cicerone (Gesammelte Werke, B., Bd. X), S. 68; Frey K. Michelangelo Buonarroti. Sein Leben und seine Werke, B., 1907, Bd. I, S. 78, 131—149; Solmi E. Scritti vinciani. Firenze, 1924, p. 397—400.*

¹⁰ Видя главное доказательство влияния Леонардо на Микельанджело в этом портрете, Э. Меллер сводит все к восхищению автора ученостью да Винчи, почти не затрагивает влияния его искусства и совсем не придает значения воздействию на Микельанджело идей Леонардо. В результате ускользает главное.

и Паркер¹¹. Для такого уточнения есть серьезные основания, и эта разница в три года не лишена значения.

В апреле 1500 г. во Флоренцию после почти двадцатилетнего отсутствия возвратился Леонардо да Винчи. Ему было тогда 48 лет. Получив пристанище в монастыре Сантиссима Аннунциата, который заказал ему большой алтарный образ на тему: св. Анна с Марией и младенцем, он тут же принялся за работу. Годом позже, в апреле 1501 г., Пьетро да Нуволариа, посланец Изабеллы д'Эсте, сообщал своей госпоже, что Леонардо выставил для обозрения такой картон к будущей своей картине на эту тему, невиданное совершенство которого поразило всю Флоренцию.

Рисунок этот (как и многие творения Леонардо) до нас не дошел. По всей видимости, Леонардо создал несколько вариантов композиции на тот же сюжет. Более того, зная обычную для Леонардо манеру разработки темы, можно утверждать, что каждый рисунок, даже картон, был не только возможным вариантом, но также и определенным этапом, очередной ступенью осмысления и более глубокого выражения того идейного содержания, которое художник вкладывал в данный сюжет.

Микельанджело вернулся во Флоренцию, видимо, в мае 1501 г., именно в то время, когда весь город восхищался несравненным картоном Леонардо. Невозможно предположить, что создатель римской «Пьеты» остался глух к очарованию искусства гениального винчианца. (В литературе даже высказывалось мнение, что именно желание видеть изумительный картон Леонардо, слух о котором дошел и до Рима, побудило Микельанджело поспешить с возвращением во Флоренцию).

Действительно, только могучим влиянием Леонардо можно объяснить появление в творчестве Микельанджело таких созданий, как оксфордский эскиз «Св. Анна». Тольней считает этот рисунок копией с картона Леонардо, точнее — свободным истолкованием оригинала¹². Это очень вероятно. Но — какого оригинала? Исследователь склонен видеть его в том рисунке Леонардо на тот же сюжет, который хранится в Лувре¹³. Однако достаточно рядом с этим последним положить

¹¹ Berenson B. Drawings, I, p. 222; II, p. 199—200; Tolnay Ch. Youth, p. 180; Parker K. T. Catalogue of the Collection of Drawings in the Ashmolean museum, vol. II, Italian Schools. Oxford, 1956, p. 134—135.

¹² Tolnay Ch., p. 100.

¹³ Ibid., N. 80.

рисунок молодого Буонарроти, чтобы убедиться: это не «переложение» композиции Леонардо на художественный язык Микельанджело, а совершенно другое произведение. Конечно, в ту эпоху, особенно у крупных художников, копирование не означало точного воспроизведения оригинала, но почти всегда — реплику, творческую переработку в собственной манере (достаточно вспомнить рисунок Леонардо по «Давиду» Микельанджело или рисунок Рафаэля по «Джоконде» Леонардо). Здесь разница существеннее. На луврском рисунке «Св. Анна» Леонардо мастерски скомпоновал три персонажа в группе, образующей как бы единое целое: Мария сидит на коленях Анны, у нее на руках, почти спиной к зрителю, — младенец, обнимающий ее за шею. Кажется, бабушка, дочь и внучек охвачены чувством взаимной близости, единым радостным настроением. Только присмотревшись очень внимательно, можно различить слева, за спиной Иисуса, другую детскую голову, с лицом неприятным, даже страшным, напоминающим череп, обтянутый кожей, и заметить, что младенец испуган и в страхе прижимается к матери, что Мария смотрит на него не только с лаской, но и с беспокойством, Анна же открыто смеется ему в лицо беззубым ртом, а ее левая рука вызывающе-равнодушно уперта в бок.

Совсем иное — на рисунке Микельанджело. Анна уже не смеется, она опустила и веки и голову, ее левая рука, прежде бойко упертая в бок, безвольно повисла, колено согнулось, и вся ее фигура выражает какую-то безнадежность, почти отрешенность. Напротив, Мария, с досадливым выражением лица, наклоненного теперь в сторону, противоположную наклону головы Анны, явно делает движение, чтобы подняться с колен матери, левой рукой почти отстраняется от нее. Младенец же не только не тянется к Марии, не обнимает ее, как на луврском наброске Леонардо, — он всем корпусом отклонился от нее, запрокинул голову в приступе отчаянного плача и левой ручкой трет глаза. Одной правой руки Марии, видимо, не достало бы, чтобы его подхватить и удержать, и потому (чего нет на луврском рисунке) через ее левое плечо перекинута широкая перевязь, которая и поддерживает младенца на руках матери.

Очевидно, перед нами не копия луврской композиции да Винчи, а новое произведение, где мысль Леонардо подхвачена и даже заострена. Это проявляется и в ином художественном, прежде всего пространственном, решении. Если там была поразительная слитность трех фигур, то здесь — еще более

поразительное их разворачивание. Словно лепестки опромного цветка, они с почти стереоскопической осязаемостью как бы раскрываются навстречу зрителю из глубины пространства. Все исполнено движения, но отнюдь не однообразного, — напротив, сложного, контрастного, беспокойного. Это несходство замечает и Тольней. «Весь рисунок (Микельанджело) построен на диссонансах, — пишет он. — Каждая фигура духовно обособлена и погружена в свой собственный печальный мир... Какая-то тяжелая роковая тень нависла над всей группой»¹⁴.

Видимо, луврский эскиз Леонардо отражал лишь первоначальную стадию разработки темы винчианцем. Но и предшествующее творчество Микельанджело не дает ни малейшего основания предположить возможность с его стороны такого, совершенно нового истолкования старого сюжета. Одно из двух: или среди наиболее зрелых и художественно совершенных рисунков Леонардо к его картине имелась и эта композиция, и ее (более или менее свободно) воспроизвел восхищенный Буонарроти; или перед нами оригинальное создание молодого гения, захваченного могучим идейным влиянием своего старшего собрата¹⁵.

Так или иначе, оксфордская «Св. Анна» свидетельствует, что в 1501 году Микельанджело был увлечен не только мастерством Леонардо, но и его мятежными идеями. Он сумел постичь во всей глубине смелый идейный замысел, заложен-

¹⁴ Tolnay Ch. Youth, p. 100—101. И хотя Тольней не ставит вопроса, чем же объяснить этот диссонанс, взаимную отчужденность трех важнейших персонажей евангельской легенды, которых, казалось бы, должны были объединять идиллическое согласие и небесная любовь, — следует признать, что он дал самое глубокое (какое можно встретить у западных исследователей) раскрытие общего настроения, пронизывающего композицию. Другие не видят или не желают видеть ее глубочайшего драматизма. Так прежде — Б. Бернсон, хотя он и признавал, что рисунок Микельанджело создан под несомненным впечатлением картона Леонардо да Винчи (*Berenson B. Drawings*, II, p. 199—200), так и теперь, после исследований Тольней, — например Мария Виттория Бруньоли не замечает раздельности, взаимного отстранения фигур, столь очевидно неуместного в данном религиозном сюжете. Напротив, ей видится их единство: прогали и не разделяют, движение плавно (!) передается от фигуры к фигуре (*Brugnoli M. V. Note sul rapporto Leonardo — Michelangelo. — «Bollettino d'arte»*, Roma, 1955, N 2, p. 128).

¹⁵ О несомненности этого влияния свидетельствует не только данный рисунок. На оборотной стороне листа — профильное изображение головы прекрасного юноши — в духе набросков винчианца (явное подражание, нарочитое сопоставление манер), а рядом с ним — слово *leardo* (сокращенное — Леонардо). И. Вильде считает, что именно в первые годы XVI века в самой манере рисунка Микельанджело ясно обнаруживается влияние да Винчи (*Wilde J. Italian drawings*, p. 12; Pl. VIII, XI).

ный Леонардо в его «Св. Анне» (хотя бы в картоне, описанном Нуволариа)¹⁶, и воплотить его в своей гениально найденной композиции.

Композиция эта осталась в эскизном рисунке, но — он не стоит одиноко в художественном наследии Микельанджело. До нас дошел также и другой, вполне оригинальный (и оригинальнейший!) рисунок Буонарроти «Св. Анна, Мария и младенец» (Париж. Лувр)¹⁷. В пределах циркульной формы слева направо развернуты три человеческие фигуры. Св. Анна, согбенная старуха, с опущенной головой и потухшим взглядом, сидит в полном оцепенении, и весь ее вид как бы говорит, что вся она — в прошлом. Мария, прижимая к себе младенца, не сидит, но, словно инстинктивно отстраняясь, поднимается с колен матери, чтобы покинуть ее, и почти с ужасом оглядывается на Анну¹⁸.

Восприятие идей картона Леонардо? Другой вариант оксфордской композиции? Несомненно. Но это не просто повторение. Мысль, заложенная в произведении винчианца, здесь еще более заострена и драматизм достигает высшего напряжения. При этом — поразительная деталь: на поле этого рисунка, с краешка, незаметная с первого взгляда, рукой Микельанджело сделана короткая запись: «*chi dire mai chella f(osse) di mie mani*», то есть: «Когда-нибудь — кто скажет, что это нарисовано моею рукой?» Помета более чем многозначительная! Как же следует ее понимать? Станным образом знаменитый искусствовед XIX века Джованни Морелли (Иван Лермольев) действительно усомнился в принадлежности рисунка Микельанджело (хотя именно эта надпись должна бы снять всякое сомнение), а Бернсон оставил помету художника без объяснения¹⁹. К. Юсти, вопреки очевидному пытался истолковать полную драматизма композицию Ми-

¹⁶ По этому вопросу см.: *Стам С. М. К вопросу об идейном содержании творчества Леонардо да Винчи («Иоанн Креститель»)*. — В кн.: *Средневековый город*, вып. 3. Саратов, 1975.

¹⁷ Tolnay, N 123; Goldscheider, N 29.

¹⁸ Вейнбергер, отмечая оксфордский рисунок Микельанджело как свидетельство того впечатления, которое произвел на него картон Леонардо 1501 года, вместе с тем полагает, что при этом молодого художника интересовала чисто композиционная задача, сама же проблема св. Анны его не волновала (см.: *Weinberger M.*, v. I, p. 104). Как видим, факты не подтверждают такого вывода.

¹⁹ См.: *Berenson B.*, v. II, p. 205.

кельанджело как безмятежную жанровую сцену — съесту, легкий сон, — великое представить как будничное и отрицать здесь какое бы то ни было влияние Леонардо²⁰. Но при этом ему пришлось игнорировать собственноручную запись Микельанджело на рисунке. Тем же путем идет и Л. Дуслер (в 1959 году), также отрицая влияние Леонардо²¹. К. Фрей считал эту надпись отрывком из стихотворения, того же мнения придерживается и Ш. Тольней²².

И только недавно Валерио Мариани снова привлек внимание к этой знаменательной фразе. Исследователь пришел к выводу, что она может служить ключом к пониманию того неожиданного интереса, который возбуждало в Микельанджело искусство Леонардо. Однако интерес этот и смысл пометы он истолковывает формально: художник сам удивился тому, что применил столь необычное для него композиционное решение, очень напоминающее те приемы сложной и подвижной компоновки фигур, которые в эти годы искал и применял Леонардо²³. Для Мариани несомненно влияние Леонардо на молодого Микельанджело во время их совместного пребывания во Флоренции в первые годы XVI века, особенно влияние картона «Св. Анна», — и это само по себе очень важно²⁴. Но влияние это он сводит лишь к восприятию сюжета, композиции, манеры. Такая точка зрения преобладает в западном искусствоведении. Так, Тольней, отмечая, что Микельанджело «испытывал свои силы на тех проблемах, которые поставил Леонардо», имеет в виду построение простран-

²⁰ *Justi C. Michelangelo. Neue Beiträge zur Erklärung seiner Werke. В., 1909. S. 174—175.*

²¹ *Dussler L., N 8 (193 г.), N 14 (208 г.).*

²² *См.: Tolnay Ch., p. 190.*

²³ *Mariani V. Leonardo e Michelangelo. Napoli, 1965, p. 85—89.*

²⁴ До сих пор некоторые авторы упорно не замечают этого влияния и не считают нужным прочесть и сопоставить с рисунком пометку, оставленную художником, а в датировке этого знаменательного рисунка склоняются к 1512—1513 годам, то есть полностью отрывают его от всякого воздействия Леонардо (см., например, *Goldscheider L. Michelangelo drawings, p. 34*). Хотя еще в 20-е годы Бринкманн обосновал датировку 1502—1503 годами, когда Микельанджело работал над этой темой под влиянием картона Леонардо: рисунок обнаженного бородатого мужчины в нижней части того же листа — не «Давид», как думал Бернсон, а набросок для фигуры одного из апостолов, заказ на изготовление которых для флорентинского собора Микельанджело получил в апреле 1503 года (см.: *Brinkmann A. E. Michelangelo-Zeichnungen. München, 1925, S. 16.*

ства, расположение фигур, мягкость или резкость рисунка — и только²⁵.

Но в том-то и дело, что с формальной стороны между двумя рисунками гораздо больше различия, чем общего. У Леонардо (точнее — в оксфордском рисунке Микельанджело) движение идет как бы по диагонали, справа вверх налево, у Микельанджело (на луврском рисунке) — по горизонтали, слева направо. Там это движение имеет глубоко пространственное, можно сказать, шаровое построение, здесь — плоскостное, в пределах намеченной циркульной формы (многие авторы не без основания видят в этой незаконченной работе рисунок к задуманному, но так и не осуществленному тondo — мраморному рельефу). Да и самый рисунок (более всего проработана фигура Анны) отличается той энергичностью штриха, той суровой манерой моделировки, какие были присущи одному Микельанджело. По манере исполнения его Анна очень мало похожа на леонардовскую (взять ли оксфордскую реплику к картону да Винчи, или, тем более, лондонский картон самого Леонардо на тот же сюжет), зато живо напоминает (предвосхищает) некоторых сивилл Сикстинского плафона Буонарроти²⁶.

Нет, не сознание подражательности, зависимости от художественной манеры винчианца (этого в сущности не было) побудило Микельанджело сделать на своем незаконченном рисунке приведенную выше лаконичную запись, видимо, впитавшую в себя долгие и мучительные раздумья художника. Для этого были гораздо более серьезные основания. Поражает удивительное сходство, вернее сказать — единство *содержания* обоих произведений.

Что касается В. Мариани, то для него, помимо сюжета, никакого иного содержания в произведении искусства вообще не существует. Но Ш. Тольней, рассматривая как оксфордский, так и луврский рисунки Микельанджело, как будто не ограничивается одной формальной стороной, а стремится рас-

²⁵ Точно так же в свое время писал еще Г. Тодде: Картон Леонардо «Св. Анна», восхитивший всю Флоренцию, побудил и Микельанджело попытаться разрешить проблему сложной групповой композиции. Отсюда два его рисунка: оксфордский и луврский. (*Thode H. Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke. I Bd. Berlin, 1908, S. 114.*)

²⁶ Примечательно, что тот же Мариани в своей более ранней работе отмечал, что в действительности немногие рисунки Микельанджело отличаются такою оригинальностью, как его луврская «Св. Анна» (*Mariani V. Michelangelo. Torino, 1945, p. 60.*)

крыть эмоциональное состояние каждого изображенного персонажа, драматическую напряженность всей композиции; и однако естественно вытекающего отсюда вопроса: в чем же состоял идейный замысел художника — он даже не ставит ²⁷. Между тем без этого нельзя понять ни рисунка, ни многозначительной пометки на его полях.

В самом деле, в системе средневековой христианской символики св. Анна олицетворяла церковь. Именно на это смысловое содержание образа прежде всего обращает внимание генеральный викарий кармелитского ордена Пьетро да Нуволарина, пытаясь в своем письме из Флоренции от 3 апреля 1501 г. раскрыть смысл знаменитого картона Леонардо да Винчи ²⁸. Может ли исследователь, если он хочет быть объективным, отмахнуться от этого авторитетнейшего свидетельства современника? — Оно дает ключ к пониманию содержания композиции обоих рисунков Микельанджело: и оксфордского (копия с картона Леонардо?), и луврского (несомненно, оригинальная работа Буонарроти). В обоих случаях св. Анна — дряхлая старуха, впавшая в какое-то оцепенение. Это — один полюс. На другом — младенец, резко откинувшийся в приступе плача. Между ними — Мария, словно разбуженная этим плачем; она резко поднимается с колен матери и почти с ужасом оглядывается на нее, давая ясно понять, где причина отчаянного плача ее ребенка. Именно этот плач младенца, образующий резкий контраст с оцепенелостью св. Анны, и является тем импульсом, который приводит в бурное движение всю группу. Но его источник — в отталкивающем своєю отрешенностью образе Анны.

Нет, главное состояло не в перенимании тех или иных художественных приемов. Многозначительность изображенных

²⁷ Насколько в результате такого подхода снова торжествует формализм, ярко свидетельствует та поразительная однолинейность, с которой даже такой наблюдательный и тонкий исследователь как Ш. Тольней истолковывает искусство Леонардо и то, что будто бы составляло главную силу влияния этого искусства: царство «нежной гармонии», «сладкое согласие душ» и т. д. (*Tolnay Ch.*, p. 100). И это пишется о художнике, у которого за плечами уже и «Поклонение волхвов» и «Тайная вечеря!» И — после рассмотрения микельанджеловской копии с картона Леонардо, острейший драматизм которой убедительно выявил сам искусствовед. Любопытно, что сам Леонардо резко порицал «толпу невежд, которые жаждут только приятного (сочетания) цветов» (цит.: *Clements R. J. Michelangelo's Theory of Art*. N. Y., 1961, p. 201, n. 196).

²⁸ См.: *Venturi A. Leonardo da Vinci und seine Schule*. Wien, 1941. S. XXII.

драматических ситуаций, их очевидное смысловое совпадение у обоих художников свидетельствуют о неизмеримо большем: налицо бесспорное единство хода мысли, глубокое восприятие молодым Микельанджело смелых идей Леонардо. Как явствует из лаконичной маргиналии самого художника, идеи эти были и новы, и непривычны для Буонарроти, но он не мог устоять против силы их воздействия.

Это воздействие не было ни случайным, ни мимолетным для творчества Микельанджело. В его искусстве оно проявилось широко, ярко и плодотворно. Мы имеем в виду прежде всего два мраморных круглых рельефа, созданных в эти годы, два шедевра, которые, разумеется, хорошо известны, но которые не привлекли еще к себе того внимания, какого они адекватного раскрытия, ибо вне идейного влияния Леонардо они по-настоящему поняты быть не могут.

Сюжетно оба тондо идентичны: «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». Одно находится во Флоренции, в Национальном музее Барджелло («Мадонна Питти»), другое — в Лондоне, в Академии искусств («Мадонна Таддеи»). Обычно первое датируется приблизительно 1504-05, а второе — 1505-06 годами; во всяком случае, наиболее принята именно такая последовательность. В пользу противоположной последовательности в недавнее время высказался такой серьезный знаток скульптурного творчества Микельанджело, каким был М. Вейнбергер ³⁰. Дело не в мелочном педантизме, и вопрос этот отнюдь не праздный, если мы хотим понять глубину замысла художника и последовательность его вызревания.

Обратимся сначала, как это принято, к флорентинскому рельефу, известному под названием «Мадонна Бартоломео Питти» (по чьему заказу оно было выполнено). Почти в самой середине круга, чуть сдвинутая влево — монументальная фигура Марии. Она сидит на каменном блоке, ее согнутая в колене правая нога дана в профильном повороте. Но ее корпус

²⁹ Когда-то К. Юсти считал, что композиция «Тондо Питти» вообще не удалась Микельанджело, а оба рельефа — всего лишь «интимные сцены семейной жизни» (*Justi C.*, S. 184—86). Но и Бертини считает оба рельефа малосущественными творениями Микельанджело (*Bertini A. Michelangelo fino alla Sistina*. Torino, 1945, p. 53, 55).

³⁰ Не развертывая, к сожалению, необходимой аргументации, он все-таки отметил, что на «Тондо Питти» образ Марии проще и величественнее, чем на «Тондо Таддеи» (см.: *Weinberger M.*, p. 100, 105; см.: также: *Einem H. Michelangelo. Bildhauer, Maler, Baumeister*. B., 1973).

круто развернут вправо, в три четверти, почти в фас; голова же повернута еще круче — она даже обращена чуть-чуть влево. На ее коленях — раскрытая книга. Справа к матери прислонился ее маленький сын, оперев на руку свою кудрявую голову. Слева и как бы поодаль виден еще один мальчик — Иоанн Креститель.

Весь рельеф отличается удивительной пластичностью и на первый взгляд может показаться спокойным. Но достаточно присмотреться, чтобы почувствовать наполняющее его напряжение. Оно сосредоточено в фигуре Марии, дышавшей могучей внутренней силой, в энергичности жеста ее руки, держащей книгу, но более всего — в ее голове, гордо посаженной на красивой, чуть выгнутой шее. Правильное, открытое лицо, с прямым носом и волевым подбородком, привлекает не ласкающей нежностью, но волей и мудростью. В больших, широко раскрытых глазах, в раздутых крыльях носа, в складках у углов рта — чувствуется сдерживаемое негодование. Чем оно вызвано? Где источник того драматизма, который наполняет бурно пульсирующей жизнью всю группу этого тондо?

Мария изображена между двумя мальчиками. Справа — ее сын. Он необычайно хорош. Нагое детское тело, пропорционально сложенное, полное жизни, изяжно с пластичностью, изумительной даже для Микельанджело. Особенно привлекательна голова — крупная, в уборе свободно вьющихся кудрей; лицо — еще по-детски пухлое, прекрасное, с большими умными глазами, освещенное легкой улыбкой. Поза его спокойна, голова склонена на локоть, опертый на раскрытую книгу, лежащую на коленях матери. Ш. де Тольнею (вслед за К. Юсти) младенец кажется усталым, даже готовым вот-вот заснуть. Но едва ли это вполне верно. Может быть, действительно мать ему только что читала³¹, но чтение ему прискучило, ему хочется играть. В самом деле, глаза мальчика открыты, лицо улыбается (даже — ямочка на левой щеке), рот приоткрыт, — он что-то говорит матери. Несомненно: он ластится к ней и просит отпустить его поиграть.

А это, конечно же, связано со вторым мальчиком — слева, за спиной Марии. Его рот тоже приоткрыт: он явно зовет маленького Иисуса, просительный взгляд устремлен на Марию, он упрямшекает мать отпустить к нему ее сына. Это — Иоанн Креститель. Но что за лицо! Почти квадратное, плоское и

³¹ См.: Wölfflin H. Die Jugendwerke des Michelangelo, München, 1891, S. 44.

при этом одутловатое. С подслеповатыми глазами, грубыми чертами и взлохмаченными волосами — оно лишено какой-либо одухотворенности. Напротив, — на нем печать тупости. Это прямая противоположность пластическому совершенству, возвышенной гармонии, воплощенным в сыне Марии. (Тольней даже считает, что, по всей видимости, моделью для Микельанджело в этом случае служили античные головы сатиров и кентавров³², но при этом странным образом не замечает кощунственности такого художественного истолкования одного из главных персонажей христианской легенды).

Более того, маленький Креститель не только изображен обособленно и словно бы поодаль от Марии и ее сына: их фигуры изяжны высоким рельефом, который выдвигает их вперед, органически слиты и образуют самостоятельный треугольник (пирамиду), что же касается Иоанна, то его полуфигура едва возвышается над плоскостью тондо (здесь рельеф всего ниже) и четко выделена композиционно — вне основной группы. Чтобы не оставить на этот счет никаких сомнений, художник пошел еще дальше: от Марии и маленького Иисуса он отделил Иоанна плетнем, — третий персонаж чужд двум главным — прекрасным и совершенным³³.

Марии он явно не нравится. Именно против него дышит негодованием ее лицо. Тольнею ее взгляд кажется презрительным (disdainful)³⁴. Едва ли это точно, тем более что исследователь не говорит, на кого это презрение направлено. По его мнению, взгляд Марии обращен вдаль³⁵. Однако достаточно присмотреться, чтобы заметить, что, хотя зрачки и не изображены, гневный взгляд мадонны обращен влево, куда чуть-чуть повернута ее голова, — то есть в сторону Иоанна Крестителя. Наверное, один Микельанджело мог столь скупыми средствами достичь такой глубокой выразительности.

Но непримиримая позиция Марии выражена не только в ее лице. Ее правое плечо, энергично выдвинутое вперед, реши-

³² Tolnay, p. 102.

³³ На это обратил внимание уже Тоде и потому склонен был видеть в «Мадонне Питти» более поздний и более высокий этап разработки этой темы художником. Но тут же склонялся к противоположному мнению, так как на «Тондо Таддеи» — «живое драматическое действие между детьми» (Thode H., S. 116).

³⁴ Tolnay, p. 161.

³⁵ Ibid., p. 102. То же — и В. Мариани (Mariani V., Michelangelo, p. 49, 52). Ему даже кажется, что маленький Иисус безуспешно пытается вернуть мать к реальности.

тельно отгораживает Иоанна от основной группы: повернувшись к нему спиной, мать защищает от него своего ребенка. А левой рукой, прихватив край своего плаща, Мария крепко обняла и прижимает к себе сына: нет, она не позволит этому полудикому искусителю увлечь ее мальчика в те опасные затеи, которые принесут ему (она знает!) страдания и гибель. Ее возвышенное совершенство — доказательство ее правоты. О том же свидетельствует и ее головная повязка с изображением херувима — символ мудрости и прозрения. Этой же цели служит смелый прием скульптора, выдвинувшего голову Марии над верхним краем циркульного обрамления тондо. Позиция художника выражена с полной определенностью.

На втором тондо, известном как «Мадонна Таддеи», развернута та же драматическая коллизия. Но композиция несколько иная. Иоанн Креститель не отгорожен от основной группы, он стоит рядом, слева. В руках он держит и протягивает младенцу Христу трепещущую крыльями птичку, — по общему мнению, щегла, символ крестных мук. Но маленький Иисус в ужасе отпрянул от этого подарка и ищет защиты на коленях матери. Сидящая справа Мария, лицо которой дано в профильном повороте, исполнена благородного спокойствия. Наклонив голову, она просит маленького искусителя прекратить эту опасную игру. Жест едва намеченной на рельефе правой руки, которой она слегка касается щеки мальчика, усиливает это значение обращенного на него глубокого взгляда мадонны.

Долгое время (а порой — и доныне) драматизм изображенной сцены ускользал от внимания исследователей. Так, например, Дж. Саймондс видел на тондо просто резвую игру детей. Карлу Юсти этот рельеф Микельанджело напоминал жанровую живопись XVIII века и казался всего лишь легкой и приятной безделушкой; идейный же замысел художника не идет дальше очеловечения божественного. Подобным же образом и И. Вильде полагает, что на тондо представлена жанровая сцена: «Мать и ребенок изображены в простой повседневной ситуации»³⁶. Но уже Вельфлин подчеркнул несомненную остроту драматизма всей композиции. Это отмечает и Тольней³⁷, хотя и он не замечает резкого контраста: в то

³⁶ *Symonds J. The Life of Michelangelo. L., 1892, p. 71—72; Justi C., S. 186—87; Wilde J. Michelangelo und Leonardo. — «Burlington magazin», 1953, Mars, p. 69.*

³⁷ *Wölfflin H., S. 47; Tolnay Ch., p. 163.*

время как младенец-Христос испуган и ищет защиты, Иоанн Креститель улыбается, почти смеется. И никто не ставит вопроса: что же означает такое резкое и настойчивое противопоставление художником двух важнейших персонажей евангельской легенды, столь взаимно согласных в христианской традиции?

Как правило, дело ограничивается чисто формальным анализом, в лучшем случае (как у Ш. Тольнея) — характеристикой эмоционального состояния персонажей. Естественно, всякий, кого, выражаясь словами Данте, интересует «сок замысла», этим удовлетвориться не может. Однако без основательного анализа формы едва ли возможно глубокое постижение идейного замысла художника и эволюции его воплощения.

Обычно вывод о более высоком совершенстве «Тондо Таддеи» обосновывается двумя главными аргументами: во-первых, острым драматизмом композиционного решения, выраженным прежде всего бурной экспрессивностью движения младенца-Христа; во-вторых, тем, что именно в этом рельефе Микельанджело впервые применил прием незавершенности, своеобразного скульптурного «сфумато», который затем так ярко проявит себя в «Апостоле Матфее».

Позволим себе начать со второго момента и с небольшого отступления. Думается, что проблема «сфумато» не может быть сведена к применению определенного изобразительного приема. За нею — глубокие сдвиги в самом ренессансном мирозерцании на пути к его высшей зрелости. Открытие, сделанное Леонардо, явилось формой отражения некоторых скрытых, но особенно существенных сторон бытия, средством гораздо более глубокого постижения и выражения действительности во всей ее противоречивости и текучести. Это большой самостоятельный вопрос.

Но и подходя к сфумато лишь как к художественному приему, Тольней справедливо усматривает в незавершенности, «недосказанности» форм, особенно деталей, средство углубления внутренней значительности целого и стимулирования творческого воображения зрителя³⁸. Если так, то не следует ли прийти к выводу, что этот художественный прием Микельанджело начал применять гораздо раньше? Уже в «Битве кентавров» зритель поражает острое ощущение среды, органической связи человека со средой, жизненной и эстетической активности среды. Нам представляется глубоко верной мысль

³⁸ *Tolnay Ch., p. 101.*

Е. И. Ротенберга, что здесь впервые стихия камня выступила как самостоятельный образный фактор и что «незавершенность» дала невиданный дотоле простор художественной свободе ваятеля³⁹.

Несомненно, могучее воздействие искусства Леонардо помогло Микельанджело глубже постичь философский смысл «сфумато» и решительно пойти дальше по пути, на который он уже ранее вступил самостоятельно. Смело вводя в свои творения стихию дикого камня как самостоятельную художественную силу, он сумел наполнить ее таким идейным содержанием, которое вело гораздо далее эффекта недосказанности деталей.

В этом отношении «Мадонна Таддеи» очень показательна. Светлая, исполненная высокой поэзии фигура Марии и дышащая детской прелестью фигура ее маленького сына чистотою своих форм и линий выделяются из массы окружающего их аморфного грубого камня. Нравственное совершенство, воплощенное в этих двух человеческих существах, утверждается и возвышается над пугливым, безжалостным миром окружающего. Между тем фигура маленького Крестителя, намеченная с тою же пластичностью, оставлена почти совершенно непроработанной, особенно голова и лицо. Этот стоящий слева мальчик, вместе с его злобещей птичкой, почти сливается с тем диким камнем, тем суровым и косным окружением, из которого так светло и чисто высвобождены Мария и ее сын. Креститель пластически отделен от них, он противопоставлен им как часть чуждого и враждебного им бездушного мира.

Этот контраст предельно усилен соседством двух детских фигурок, выполненных в столь несходных изобразительных манерах: едва «выплывающей» из камня фигуры Иоанна и тщательно проработанной, почти линейно выведенной — Иисуса. Пожалуй, можно сказать, что контраст доведен здесь почти до степени эстетической несовместимости. Но художник пожелал еще четче разделить двух мальчиков и поэтому провел вдоль правой ноги и спины маленького Иисуса резкую выпуклую черту (край материнского плаща), которая как бы защищает и отгораживает его от опасного искусителя.

И тем не менее художественное воплощение основных образов этого тондо говорит о том, что перед нами не завершение, а скорее начало освоения той проблемы, которая волновала Микельанджело в эти годы. Фигура Марии исполнена

³⁹ Ротенберг Е. Микельанджело, М., 1964, с. 18.

очарования благородной женственности и поэзии. Лепка головы, лица, шеи, складок легкой ткани на груди отличается исключительной пластичностью и нежностью. Этой нежности, тихой ясности, певучей гармонии не может замутить даже упорный взгляд мадонны, настойчиво просящий маленького соблазнителя прекратить его зловещую игру. Зрителя не может не тронуть контраст между воплощенной чистотой и добротой — и силами жестокости, порождаемыми суровым, грубым окружением. Но нельзя не видеть и другого: в самом образе Марии драматизма нет, — она слишком непричастна, «неконтактна» с миром зла.

Драматизм сосредоточен в фигуре маленького Христа, отпрянувшего от страшного подарка Крестителя. В отличие от фигуры последнего, формы и линии тела сына Марии отличаются чистотой и ясностью. Укрывшись на коленях матери, он оглядывается на искусителя и его птицу. Лицо красивое, можно сказать — точеное. В умных глазах — страх, некоторая доля любопытства и — недоумение. Движение более чем выразительное: правая нога, корпус, голова, левая рука Христа резко пересекают по диагонали всю центральную часть тондо. Можно только удивляться, как до сих пор некоторые исследователи видят здесь всего лишь детскую забаву, более того — даже идиллию⁴⁰.

Но — как неожиданно это резкое движение для искусства Микельанджело! Пожалуй, кроме этого тондо, нигде в его скульптуре мы не встретим подобного. Очевидно, в дальнейшем он сознательно избегал таких средств художественного выражения⁴¹. В самом деле, порывистое движение младенца психологически глубоко обосновано. Противоречие, вызвавшее его, не снято: оно — во взглядах матери и сына, скрещивающихся на лице улыбающегося искусителя. Но большая доля напряжения, породившего этот импульсивный рывок, уже разрешилась в нем, напряжение спало.

Не то — в «Мадонне Питти». Мария здесь также исполнена высокого достоинства, но лишена той почти надмирной тишины и незамутненности духа, которая так привлекает в

⁴⁰ «Никогда ранее Микельанджело не создавал более грациозного произведения, более радостной идиллии» (Einem H. Michelangelo. Berlin, 1973, S. 40).

⁴¹ Бертини даже пришел к выводу, что резкий бросок маленького Иисуса нарушает единство и гармонию всего произведения (Bertini A., p. 54).

мадонне Таддеи, но вызывает острое ощущение незащищенности. Зато все существо мадонны словно наполнилось соками земли: жизнью, энергией, негодованием, волей.

Аналогичную перемену претерпел и образ младенца. Он утратил ту законченность, «гладкость», линейность, которая придавала ему налет холодности и некоторой изысканности. Здесь вся фигура младенца, каждая ее деталь, каждый изгиб тела — словно не изваяны художником, но как бы сами собою излились, движимые природным здоровьем и еще дремлющей силой. Ничего искусственного, все предельно просто, естественно, непосредственно и именно поэтому невыразимо пластично.

Не менее разительна перемена в изображении головы и лица ребенка. На «Тондо Таддеи» его лицо красиво, но несколько изнежено, а аффект испуга усиливает легкое впечатление холодности и скованности. Слишком правильны черты лица, слишком безукоризненны контуры головы, и самые завитки волос намечены слишком правильно и сдержанно. На «Тондо Питти» смело изменены пропорции. У младенца-Христа теперь по-детски большая голова, уже это одно делает его простым, естественным ребенком. Черты его лица, в полном соответствии с телом, стали крупнее, выпуклее, полнокровнее, а потому несравненно живее и привлекательнее. Большие, затененные глаза, детски выпуклые щеки, мягкий подвижный рот — все исполнено жизни и непосредственности. Шапка густых, вольно раскинувшихся кудрей не только венчает эту бесподобную детскую голову, но, как прекрасный аккорд, завершает весь этот образ — чудо совершенства.

Если попытаться ответить на непростой вопрос: где же главный источник поразительного очарования этого образа, то, по-видимому, ближе всего к истине будет сказать, что в нем полнее всего реализовались два важнейших импульса — *естественность и свобода*. Свободой дышит и раскованная поза мальчика, прислонившегося к коленям матери, и великолепно найденный жест — голова, положенная на локоть, и полное жизни лицо, и прекрасная в своей естественности шапка кудрявых волос. Очевидно, именно благодаря исключительной жизненной непосредственности и свободе образ этот достигает такой степени совершенства и гармонии, что оставляет далеко позади самые высокие достижения античной пластики и знаменует собою одну из вершин (быть может, высшее достижение) ренессансного искусства в изображении детской красоты.

Думается: то, что Вельфлин справедливо заметил об этих двух рельефах Микельанджело, с наибольшим правом должно быть отнесено к образу младенца-Христа на «Тондо Питти». Поистине, «до тех пор во Флоренции не видали ничего подобного»⁴².

Но с чем можно сопоставить этого бесподобного младенца в предшествующем искусстве? Пожалуй, только с младенцем-Христом на картине Леонардо «Мадонна в гроте». При всей бесспорной оригинальности создания Микельанджело, родство здесь настолько очевидно, что невольно заставляет думать: скульптор видел эту картину. Не привез ли Леонардо свое любимое детище, отвергнутое заказчиками, во Флоренцию? Правда, и младенец-Христос, и Иоанн Креститель фигурируют также на леонардовом картоне «Св. Анна» (Лондон), но и формальное и духовное родство как второго, так, особенно, первого персонажа с образом младенца-Христа на «Тондо Питти» здесь гораздо отдаленнее. При этом и допущение такой связи заставляет предполагать, что Леонардо привез во Флоренцию этот картон (теперь все больше авторов склоняется к мнению, что он был выполнен художником еще в Милане). Не вернее ли предположить, что, вынужденный покинуть Милан, после того как на его глазах был уничтожен плод титанического труда — его бесподобный «Конь», Леонардо постарался увезти с собой все наиболее ценные свои работы. Почему бы он при этом оставил в захваченном французами Милане свою любимую картину? Только благодаря этому, видимо, и была сохранена «Мадонна в гроте». Если мы не имеем об этом прямых свидетельств, так ведь их нет и в отношении лондонского картона.

Очень возможно, что Леонардо широко не выставлял во Флоренции ни того, ни другого своего произведения, но он мог показывать их художникам, особенно наиболее ему близким. Быть может, Микельанджело относился именно к этому кругу. Если отвергнуть это предположение, то, чтобы объяснить переход Микельанджело в художественном раскрытии проблемы от ситуации рисунков «Св. Анны» к ситуации двух круглых рельефов и «Мадонны Дони», останется, видимо, принять другое: оба художника в этот их флорентинский период (до 1504 года) тесно общались, и Леонардо раскрыл перед молодым Микельанджело свои сокровенные мысли. И все-таки мы решимся повторить: очень вероятно, что «Мадонну в гроте»

⁴² Wölfflin H., S. 49.

Леонардо привозил во Флоренцию, и Микельанджело видел ее. А этому художнику не нужно было видеть произведение искусства дважды, чтобы постигнуть его смысл и найти еще более совершенные формы воплощения заложенной в нем идеи.

Разумеется, не может быть и речи о том, какое тондо «лучше» и какое «хуже». Пред нами два шедевра, и от каждого невозможно отвести взгляд. Не собираемся также непременно устанавливать некую окончательную, абсолютно бесспорную хронологию этих работ великого скульптора. Важно и несомненно другое: творческая мысль Микельанджело между 1501 и 1506 гг. упорно билась над воплощением новой, остро волновавшей его в эту пору одной и той же проблемы⁴³, и, шаг за шагом продвигаясь ко все большей глубине ее художественного выражения, он каждый раз искал для этого новых и новых средств и решений.

Мы видели, как это проявилось в развитии образа младенца-Христа. По-разному решен художником на этих двух тондо и образ маленького Иоанна Крестителя. В «Мадонне Таддеи» — это почти такой же мальчуган, как и сын Марии. Конечно, он слит с грубым камнем (особенно сильно это передано в формах головы и лица), и это решительно отделяет его от мадонны и ее сына. Но формы его тела вылеплены с чудной пластичностью. А намеренная незавершенность, легкое скульптурное «сфумато», как бы обволакивая его фигуру дымкой недосказанности и давая больший простор фантазии зрителя, делают ее, быть может, еще более привлекательной, чем четко очерченная, выточенная фигура Иисуса. Поэтому, чтобы не было никакой неясности, Микельанджело набросил на плечи второго мальчика шкуру, — это Креститель.

На «Тондо Питти» нет массы сырого камня, и противоположность образов двух мальчиков — Христа и Крестителя выражена иначе. На Иоанне нет его традиционного атрибута. Зато он недвусмысленно отгорожен от мадонны и младенца условно обозначенным плетнем. Главное же состоит в живом контрасте двух противоположных человеческих типов: на одной стороне естественное совершенство и доверчивость, на другой — дикость и тупость. Тупость, отталкивающая в своем безобразии, но пытающаяся увлечь за собой, в свои игры, гро-

⁴³ Только при отвлеченно-формальном подходе и полном равнодушии к идейному содержанию искусства Юсти мог прийти к выводу о контрастной противоположности обоих рельефов (см.: *Justi C.*, S. 185).

зящие страданием, жертвой, гибелью. Драматическая коллизия наполняется гораздо более глубоким, земным, *человеческим* — психологическим и нравственным содержанием.

Глубоко меняется и сам характер конфликта. В «Мадонне Таддеи» он внешне выражен резко, но лишен глубины. Там силы, рождаемые грубым хаосом мира (выраженным через хаос аморфного камня), вызывают страх, акт испуга, который разрешается в импульсивном порыве к бегству. Здесь, напротив, нет ни испуга, ни бегства, — добро само, в своей доверчивости, в неведении зла, готово броситься в его гибельные объятия. В «Мадонне Таддеи» драматическое напряжение фокусируется и изливается в аффекте, в «Мадонне Питти» оно нарастает на двух полюсах и грозит вылиться в трагедию.

На первом тондо Мария настойчиво, но мягко просит Иоанна прекратить его опасные ватей. Ее взгляд сосредоточен, но лицо ее спокойно: чистота и добро не сомневаются, что их одним довольно, чтобы остановить, увещевать зло. На тондо Питти мадонна совсем другая. Ее образ приобретает несравненно большую значимость, наполняется новым эмоциональным и нравственным содержанием. Она вооружена не только добротой, но и знанием, мудростью. Не только красотой, но и силой. Она *знает* (в ее руках раскрытая книга!) и потому она не просит и не уговаривает. Она крепко (но без аффектации) прижимает к себе свое дитя, — она не отдаст его тупым и темным силам зла. К искусителю она круто повернулась спиной. Лицо ее дышит едва сдерживаемым негодованием, слова гнева готовы сорваться с ее уст. Таких мадонн, таких женских образов никогда до того не создавал резец Микельанджело.

Это неизмеримо большее богатство внутреннего содержания образа порождает и новые формы его эстетического осмысления и воплощения. Приходится только удивляться, как этого не замечают даже наиболее тонкие западные исследователи, чуткие к нюансам художественной формы. Ведь тому же Вельфлину, впервые оценившему исключительные художественные достоинства этих мраморных тондо, казалось, что из двух — «Мадонна Таддеи», где «больше движения», знаменует более высокий этап в искусстве Микельанджело⁴⁴.

Между тем на этом рельефе тип мадонны ближе к облику Марии римской «Пиеты», с ее несколько удлиненным, нежным,

⁴⁴ *Wolfflin H.*, S. 47—49.

как бы прозрачным лицом. А профильный поворот головы и изображение контура лица на фоне спустившегося края платка напоминает (как это отмечает и сам Вельфлин) еще и юношескую «Мадонну у лестницы». Напротив, лицо и фигура мадонны Питти отличаются мощью и монументальностью; героическое начало звучит здесь могучим лейтмотивом всего образа. Именно эта Мария (а не с «Тондо Таддеи») предвосхищает и мадонну Дони и Дельфийскую сивиллу и всю сверхчеловеческую породу людей Сикстинского свода.

Да и во всей композиции «Мадонны Питти» несравненно больше той исполненной скрытого кипения цельности, к которой настойчиво стремился зрелый Микельанджело. Впрочем, осмелимся сказать, что при всем высоком совершенстве двух названных более поздних женских образов мадонна Питти сильнее, духовно богаче, несомненно активнее. Она — родная и достойная сестра «Давида».

Чем полнее раскрывается зрителю глубина этого образа, тем яснее становится гениальность поразительной простоты композиции, найденной художником. Мария — между двух противоположных полюсов. Ш. Тольней полагает, что в двух мальчиках «Тондо Питти» художник противопоставил аполлоновское и дионисическое начала⁴⁵. Но как бы ни истолковывать эти определения, это означает, что двух важнейших персонажей евангельской легенды — Христа и его предтечу Микельанджело изобразил как воплощение противоположных начал! Правда, Тольнею представляется, что Мария, возвышаясь над фигурками мальчиков, объединяет в себе те противоположные жизненные принципы, которые они воплощают.

В действительности — она их *разъединяет*. Ее лицо — в вершине треугольника, образуемого головами трех персонажей. Но на этом лице — ни тени примиряющего всепрощения; напротив, в нем кульминация того напряжения, которое исходит от двух крайних фигур, — двух этических полюсов. Ни — олимпийского спокойствия: ее лицо исполнено горячего пристрастия. Мария не только защищает своего сына, она всей душой на стороне доброты и человечности, гармоничной, естественной свободы, так полно излившихся в образе этого ребенка. Но она выше обоих детей. Она *знает* и потому неприемлемо отвергает зло и страдание, и потому негодует и готова бороться. И художник — с нею: ее прекрасную, гордую

⁴⁵ Tolnay Ch., p. 102.

голову он увенчал повязкой мудрости и смело поднял выше циркульного обвода рельефа.

Поэтому напряжение, которым дышит вся композиция, не снимается, постоянно воспроизводится снова и снова, и огонь активного неприятия зла и жертвенности снова и снова kloкочет под холодным мрамором. Это — зрелый Микельанджело, это — гениально найденный художественный прием «предчувствия подвига», который породит чудеса его пластики, и прежде всего «Давида». Вот почему думается, что при исключительных достоинствах обоих тондо, в «Мадонне Питти» философская мысль, волновавшая художника, выражена с максимальной глубиной и силой. Ведь гуманизм решительно отверг христианскую идеализацию страдания, жертвенности. То, что в течение тысячелетия считалось высшей нравственной ценностью, предстало как противная природе аномалия, как зло. По идейной насыщенности это тондо должно быть отнесено к созвездию самых высоких достижений великого скульптора-мыслителя.

Но для идеи, обуревавшей Микельанджело в первые пять—шесть лет XVI века, не достало ни рисунков, ни мраморных рельефов: они вылились и в живописи — в единственной дошедшей до нас станковой картине Буонарроти — «Святое семейство», или «Мадонна Дони» (Флоренция, Уффици). Теперь можно считать твердо установленным, что картина была написана в 1503, не позже начала 1504 года⁴⁶. Она была заказана богатым флорентинским пополаном Альоло Дони, по видимому, как свадебный подарок невесте. Традиция сохранила любопытный рассказ о споре из-за цены картины. Насколько можно судить, первоначально она была установлена в 70 дукатов, но, увидев готовую вещь, Дони объявил, что и 40 будет довольно. Однако Микельанджело вернул эти деньги и потребовал назад свою картину, заявив, что дешево, чем за сотню дукатов ее не отдаст. Заказчик был вынужден отступить и выразил готовность уплатить первоначально условленную сумму, на что Микельанджело ответил, что, если Дони желает торговаться, ему придется уплатить не менее 140 дукатов, то есть вдвое против договора. По всей видимости, эту-то сумму и пришлось выложить незадачливому заказчику⁴⁷.

⁴⁶ Weinberger M., v. I, p. 100.

⁴⁷ См.: Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1971, т. V, с. 227.

Скептически настроенные исследователи склонны усматривать в этой истории не более как досужую выдумку Вазари в назидание заказчикам⁴⁸, но, быть может, к ней, сообщаемой современником, стоит прислушаться, тем паче что она как нельзя более — в характере Микельанджело. Да и в характере эпохи, когда нередко идейное неприятие произведения искусства выступало в форме отказа от оплаты первоначально установленной цены; классический пример — 25 лет длившаяся тяжба из-за оплаты «Мадонны в гроте» Леонардо, завершившаяся представлением совершенно новой картины. Быть может, упомянутая история дополнительным, «боковым» лучом поможет рельефнее высветить смелость идейного замысла художника.

К сожалению, именно идейное содержание этого творения Микельанджело до сих пор не привлекло к себе того внимания, какого оно заслуживает. Принято считать, что картина «Мадонна Дони» порождена соперничеством Микельанджело с Леонардо, стремлением молодого скульптора доказать, что он не хуже, чем резцом, владеет и кистью и может создавать композиции не менее сложные и необычные, чем виччанский волшебник. Соответственно при анализе этого произведения главное внимание сосредоточивается на необычности ракурсов и компоновки фигур. Даже Стендаль полагал, что этой картиной Микельанджело доказал только, что Гераклес умеет и кружева плести («C'est Hercule, maniant des fuseaux»), — то есть великий художник занялся пустяками. Писателю казалось страшным соседство этой картины «рядом с замечательными по грации творениями Леонардо и Рафаэля»⁴⁹.

Недоумение вызывали и обнаженные юноши, образующие задний план композиции и словно полукольцом окружающие св. семейство. В самом деле, к чему эта нагота при изображении священного сюжета? Если даже Буркхардт в своем «Чи-чероне» укорял Микельанджело за столь несоответственные помыслы, какими он вдохновлялся при изображении столь священного сюжета⁵⁰, то можно себе представить, как эта «несообразность» должна была шокировать современников. Не в этом ли заключалась подлинная причина неожиданного скряжничества Аньоло Дони, который, как сообщает Вазари,

⁴⁸ См., например: Weinberger M., v. I, p. 100, p. 6.

⁴⁹ Стендаль. История живописи в Италии, гл. 146.

⁵⁰ См.: Burckhardt J. Der Cicerone, S. 244.

был и другом Микельанджело и собирателем произведений искусства, стало быть — не вовсе невеждой.

Надо сказать, что картина Микельанджело давала достаточно поводов усомниться в ее благочестивости, — и дело заключалось не только в неслыханном аккомпанементе заднего плана. Стоит внимательно присмотреться к центральной группе тондо и к некоторым другим элементам композиции, чтобы убедиться, насколько новы и смелы были идеи, вдохновившие Микельанджело на создание этого произведения.

Центром композиции несомненно является Мария. Это молодая женщина в расцвете сил. Ни классической правильности черт, ни внешней миловидности мы не найдем в ее лице. Широкие скулы и, как верно подметил Тольней, даже несколько «утиный нос». Лицо это не только просто, оно подчеркнуто простонародно⁵¹. С этим обликом вполне гармонируют обнаженные до плеч сильные, мускулистые руки и обнаженные стопы ног (видна только правая стопа). И вместе с тем весь ее облик удивительно привлекателен. Взгляд больших, умных глаз, обращенный на сына, полон любви, но в нем нет и тени сентиментальности. Светлый, как светло ее лицо, он дышит уверенностью, спокойной радостью, сознанием своей правоты и силы. Такого жизнеутверждающего образа мадонны Микельанджело не создавал более никогда — ни до, ни после этого тондо. И той же могучей мажорной тональностью проникнута вся картина.

III. Тольней видит в этой мадонне предвосхищение сивилл Сикстинского плафона⁵². Это верно. Но, быть может, еще более эта Мария предвосхищает один из самых светлых женских образов Микельанджело — Еву из сцены «Грехопадения» в той же росписи: та же открытость, независимость, глубокая внутренняя свобода, естественное чувство человеческого достоинства, сознание своей правоты.

В духе той же могучей простоты, даже простонародности, изображен и младенец-Христос. В его лице нет и тени иератичности, небесной отрешенности, так что Дж. Саймондсу он

⁵¹ Мария изображена деревенской женщиной (contadina) во всем величии расцветшей женственности (см.: Symonds J. A. Life of Michelangelo Buonarroti, p. 74). Напротив, Карла Юсти раздражает такое изображение мадонны. По его мнению, эта «здоровая тридцатилетняя тосканская крестьянка производит несколько вульгарное впечатление» (Justi C., S. 170).

⁵² Tolnay Ch., p. 164.

даже показался самым заурядным (commonplace) ребенком ⁵³. Но это далеко не так. Перед нами юный Геракл, будущий герой. По полноте выражения героического начала младенца Христа этой картины можно сравнить только с изумительным младенцем капеллы Медичи. Подобно Марии, и его красота — тоже в простоте и силе. С каким гармоническим тактом и с какой выразительностью в параллельном, но обратном, движении правой руки младенца художник повторил (отразил!) и движение и могучие формы обнаженной левой руки его матери. При этом он совершенно наг (единственная деталь «одежды» — лента на голове, предназначенная, но не способная усмирить вольные завитки его буйных кудрей). И это не просто необходимость сюжета или композиции. Очевидна нарочитость, целенаправленность действий художника: Христос представлен во всей *человечности* его наготы. (К аналогичному, если угодно — вызывающему, приему Микельанджело, как известно, прибегнул и в росписях Сикстинского потолка, например, во фреске «Сотворение светил»).

Особого внимания заслуживает третья фигура центральной группы — Иосиф. Его голова образует высшую точку всей композиции. Голова эта великолепна: высокий лоб мудреца, правильные черты немолодого, но отнюдь не дряхлого, красивого лица — благородны, мягкий взгляд больших, умных и добрых глаз обращен на младенца, которого он бережно поднимает и передает Марии (Тольней считает, что прототипом Иосифа для художника послужил античный скульптурный портрет Эврипида). Поза Иосифа необычна: стоя на левом колене, он выдвинул вперед правую ногу, на колено которой опирается плечо мадонны, принимающей сына.

В этом (как, впрочем, более или менее — во всей композиции) видят лишние свидетельства навязчивого желания Микельанджело доказать свое умение изображать людей в самых необычных ракурсах, построить необычайно сложную композицию. Но как не заметить, что художником здесь сказано гораздо более того, что могло диктоваться одними формальными соображениями? Фигура Иосифа композиционно скрывает воедино группу, он словно объемлет и Марию и младенца, его яркий плащ охватывает их с обеих сторон. Более того, его босая правая стопа вплотную смыкается с босой же правой стопой Марии, а ее левая рука написана так, что с первого взгляда она кажется продолжением левого плеча

⁵³ Symonds J., p. 73.

Иосифа. Давно уже отмечена ошибка Вазари: на картине не Мария передает ребенка Иосифу, а Иосиф передает его Марии; и это само по себе весьма многозначительно ⁵⁴.

Художники Возрождения изображали св. семейство несчетное число раз, но при этом Иосиф почти всегда рисовался в отдалении, в тени, или, если и поблизости, то лишь как святой свидетель, присутствующий при чуде. Ничего подобного на тондо Микельанджело: Иосиф не только тесно слит со всей группой, но его лицо, исполненное благородной нежности, расположено непосредственно за и над головой Марии. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что ни на одной другой картине той эпохи Иосиф не был изображен в такой физически-тесной и человечески-сердечной близости к Марии и маленькому Иисусу. Микельанджело недвусмысленно представил Иосифа как отца ⁵⁵.

В самом деле, никогда до Микельанджело св. семейство не изображалось таким нераздельным целым. Рядом с ними — ни пророков, ни святых, ни ангелов. Это *семья*, человечески слитная, согретая не небесной благодатью, а человеческим теплом взаимной любви. Примечательно, что Мария изображена как женщина, жена, но не дева. Вся главная, верхняя часть группы — это не демонстрация необычных поворотов человеческого тела, а осязаемое воплощение нераздельной близости трех человеческих существ. Четкая линия, образуемая левым плечом Иосифа, левой, а затем — согнутой в локте правой рукой Марии, как бы вычерчивает трапецию, которая замыкается наверху плечами и головами Иисуса и Иосифа. Взгляд зрителя снова и снова движется по этому обводу, а в его середине — голова Марии. Напротив, в нижней части группы движение идет против часовой стрелки: его линия, начинаясь от левого плеча мадонны, по ее руке и правому плечу переходит на правое колено Иосифа, спускается по голени к его обнаженной стопе, с которой переходит на босую стопу

⁵⁴ На современных авторов, пожалуй, один только Бертини придерживается противоположного мнения (*Bertini A.*, p. 51), хотя достаточно внимательно посмотрев на картину: Мария была занята чтением и отложила книгу на колени, чтобы принять от Иосифа сына.

⁵⁵ И зритель, даже самый искусственный, не в силах противиться могучему воздействию гения. Любопытно отметить, что, не рассматривая этого вопроса специально, Вельфлин, однако, дважды называет Иосифа на этой картине отцом младенца Христа (*Wölfflin*, S. 52). А современный автор Савонаро, рассматривая это тондо, пишет об «отцовской нежности» Иосифа и о Марии, принимающей «ребенка из рук мужа» (*Saponaro M. Michelangelo. Verona, 1955*, p. 71).

Марии, и далее — по контуру ее согнутых колен в правой, наименее замкнутой, стороне группы поднимается к левому бедру Иосифа, а от него снова на левое плечо и руки Марии. Возникающее в итоге спиралевидное движение лишает теснейшим образом спаянную группу какой бы то ни было застылости или монотонности и, вместе с тем, словно скручивает ее нерасторжимо⁵⁶.

Однако три главных персонажа картины слиты еще и иначе. Художественный центр картины образует голова Марии. Но она не смотрится изолированно: она (точнее ее подбородок) образует лишь нижнюю вершину равностороннего треугольника, две других вершины которого образуют головы маленького Иисуса и (чуть выше) Иосифа, а оси (линии наклона) этих голов строго соответствуют направлению сторон этого воображаемого треугольника (внешняя линия лба и правой щеки младенца продолжает соответствующую линию обращенного к нему лица Марии, а линия левого уха и нижней челюсти Иосифа совпадает с аналогичной линией лица мадонны)⁵⁷. Теснее нельзя было бы представить портрет семьи. Иосиф в ней — глава семьи, полноправный отец. Он преподносит матери их сына. Было от чего перепугаться Аньоло Дони и в благовидной форме несогласия с уговоренной ценой выразить свое неодобрение картины. Да и Вазари — едва ли можно допустить, что он действительно мог не видеть, что Мария не передает, а принимает сына от Иосифа: Микельанджело выразил это с полной ясностью.

Примечательно, что для Буркхардта была очевидна кощунственность, с точки зрения христианской ортодоксии, все-

⁵⁶ В литературе давно высказывается мысль, что на тондо Микельанджело сказалось влияние циркульных картин Луки Синьорелли, особенно его тондо «Мадонна с младенцем» (Флоренция, Уффици). Как истинный гений, Микельанджело жадно впитывал все новое и плодотворное, но, глубоко перерабатывая воспринятое, создавал нечто совершенно оригинальное. Только Микельанджело сумел полностью реализовать форму тондо, ее возможности, подчинить композицию ее закономерностям. Особенно — в «Мадонне Дони». Здесь, как было отмечено, все замыкается кругами, порождая невиданное единство целого. Тольней отмечает спиральность движения (с. 167), но — только в фигуре Марии, между тем в этом водовороте активную роль играет младенец и, особенно, Иосиф. Все исполнено жизни. Мы не касаемся здесь замысла Синьорелли, но — какой контраст с мадонной на его тондо — тяжеловесной, пассивной, готовой заснуть!

⁵⁷ Вейнбергер отмечает, что вся группа неразрывно связана с почти математической точностью, но видит в этом только мастерство композиции (см.: *Weinberger M.*, p. 101).

го замысла Микельанджело и, в частности, той роли, которую он отвел на картине Иосифу. Уже по поводу того, что Мария принимает ребенка из объятий Иосифа, знаменитый искусствовед выносит безоговорочно осуждающий вердикт: «При подобном образе мыслей вообще нечего братья за такую тему, как св. семейство»⁵⁸. Подобным образом и у Вельфлина не было и тени сомнения в том, что картина Микельанджело в корне порывает с религиозной программой изображенного сюжета, но он, напротив, был склонен видеть в этом не порок, а достоинство. Из Марии, писал он, Микельанджело сделал героиню с могучими членами, так что никто не захочет признать в ней мадонну. В этом произведении нет и тени религиозности. Здесь еще более, чем в двух рельефах. Микельанджело порывает со всеми традициями⁵⁹.

Но что все-таки означает этот странный задний план, зачем эти обнаженные атлеты?⁶⁰ Давняя литературная традиция утверждает, что это — образ языческой античности, отесненной христианством, а вся картина в целом — воплощение теологического истолкования истории человечества как трех последовательных эпох: ante legem, sub lege, sub gratia (до закона, под властью закона (Ветхий завет), под властью благодати (христианство))⁶¹. Но то, что мы видим на тондо, мало согласуется с такою трактовкой. Прежде всего в образе младенца-Христа, при всей его привлекательности, невозможно обнаружить никакого нравственного превосходства над Марией и Иосифом, как людьми, принадлежащими к низшей религиозно-нравственной стадии. Напротив, художник наделил этих людей чертами самого высокого благородства. В маленьком Иисусе эти черты можно только предполагать.

Что же касается нагих юношей, то если это — языческая, недостойная античность, — зачем же они так прекрасны? В них нет ничего отталкивающего, ничего такого, что ставило

⁵⁸ *Burckhardt J.* Der Cicerone, S. 244.

⁵⁹ *Wölfflin H.*, S. 52.

⁶⁰ Можно представить себе, как обнаженные юноши заднего плана должны были смутить и оттолкнуть заказчика благочестивой картины, предназначенной в подарок невесте, если современного искусствоведа М. Сапонаро «поражает и ошеломляет такая «странная манера» украшать картину, призванную «постигнуть и выразить божественное материнство» (см.: *Saponaro M.*, p. 71). Буркхардт также считал голых атлетов совершенно неуместными на картине Микельанджело (см.: *Burckhardt J.* Cicerone, S. 245).

⁶¹ Так — и Тольней (см.: *Tolnay*, p. 166).

бы их эстетически и этически ниже персонажей центральной группы. Их позы полны достоинства и спокойной, непринужденной грации. Вместе с едва намеченным мягким пейзажем — пологие зеленые холмы и легкое голубое небо — они выглядят воплощением какого-то идеального, гармонического мира⁶². Если они символизируют античность, то это — гимн античности!

Коль скоро, таким образом, теологическое истолкование не находит опоры в самом произведении искусства и не позволяет объяснить задний план картины, — где же следует искать этого объяснения?⁶³ В искусствоведческой литературе еще более укоренилась другая версия: Микельанджело вообще не любил и не умел изображать пейзаж (заметим в скобках: хотя и скупо намеченный, но в картине имеется пейзаж), поэтому он, не зная, чем заполнить пространство, вместе пейзажа изобразил этих юношей, — это был его излюбленный декоративный мотив. Юсти и даже Вельфлин видели в заднем плане только демонстрацию отличного знания анатомии и композиционного мастерства художника, а Санминиатели усматривают просто приятное полуязыческое украшение⁶⁴. Более того, по мнению Г. Гримма, обнаженные юноши заднего плана картины Микельанджело — только лишнее

⁶² М. Вейнбергер, сопоставляя картину Микельанджело с аналогично построенным тогдо Синьорелли «Мадонна с младенцем», и там в заднем плане видит не осуждение язычества, а идиллическое изображение Золотого века, который не нуждался в искуплении (см.: *Weinberger M.*, p. 101—102).

⁶³ Нужно отметить, что попытки мистического истолкования заднего плана и картины в целом не прекращаются до сих пор. Так, В. Мариани полагает, что обнаженные юноши собрались купаться и, следовательно, символизируют крещение (*Mariani V. Michelangelo*, p. 55). Его не смущает при этом ни отсутствие на картине какого-либо намека на воду, ни спокойствие и гордость самой наготы юношей, лишенной всякой тени покаяния. По мнению Бертини, атлеты обозначают эмпирическую действительность, которая по контрасту должна оттенить центральную группу как воплощение непостижимого, трансцендентного мира, что, будто бы, всего более свойственно искусству Микельанджело и достигает апогея в его росписях Сикстинского потолка (*Bertini A.*, p. 52). Вильде идет еще дальше: полу-круглый цоколь, на заднем плане — это фундамент клироса, который символизирует будущую церковь, а обнаженные юноши, играющие с одеждой, обозначают ангелов, держащих завесу позади св. семейства (*Wilde J. Michelangelo and Leonardo*, p. 69). Едва ли после всего, сказанного выше, есть необходимость доказывать, в каком вопиющем противоречии с фактами искусства стоят подобные утверждения.

⁶⁴ *Sanminiatielli B. Vita di Michelangelo. Bologna, 1965*, p. 53.

доказательство того, «как мало тогда (в эпоху Возрождения) обращали внимание на внутреннее содержание того, что изображали (!)». Ничем иным, как казалось искусствоведам, «нельзя объяснить, почему позднее Рафаэль изображал одни и те же детские фигурки то ангелами вокруг св. девы, то амурами, окружающими Венеру»⁶⁵. Вейнбергер решительно отвергает подобные мнения, он даже высказывает предположение, что юноши заднего плана относятся не к прошлому, а к настоящему⁶⁶. Но доказательств он не разворачивает.

Попытаемся присмотреться внимательно. На первый взгляд юноши кажутся одной гармонической гирляндой, плавно обрамляющей центральную группу переднего плана. Но в правой группе атлетов одно резкое движение нарушает эту плавность: левый из трех юношей, отклонившись, настойчиво стягивает плащ со своего товарища, сидящего сзади правой фигуры и, видимо, не решающегося сбросить одежды. Этот энергичный жест приобретает вызывающий характер. Становится очевидным, что пластическая и мужественная нагота играет на картине не декоративную, а программную роль. И программа эта не исчерпывается знаменитой мыслью Микельанджело: не знаю ничего прекраснее человеческого тела. Композиция заднего плана раскрывается как эстетическое воплощение естественного, свободного, гармонического идеала совершенного человечества.

Где же искать этот идеал? В ушедшей античности? Не только. Любопытная деталь: юноша, стоящий слева, зачем-то поднял руку; половина ее скрыта обнаженной правой рукой мадонны, которой она охватывает передаваемого ей младенца. Обе руки (изображенные в разных планах) как бы соприкасаются, и линия руки юноши переходит в восходящую линию руки Марии, а с нее — на фигуру ее сына, такого же нагого и кудрявого, как эти юноши. При этом ось построения тела младенца оказывается почти продолжением линии поднятой руки атлета на заднем плане. Становится очевидно, что этот мальчик не только не чужд, — он чем-то явно сродни этим юношам. Эта связь особенно ощутима в отношении левой группы, — он словно взят из их среды. Всем своим обликом, своей наготой этот малыш, поднятый над людьми, словно

⁶⁵ Гримм Г. Микельанджело Буонарроти (рус. перевод). Спб., 1913, с. 274.

⁶⁶ *Weinberger M.*, p. 102—103.

освящает прекрасный идеал естественного, человеческого Золотого века ⁶⁷.

Но картина этим не исчерпывается. На ней есть еще один персонаж. И это — Иоанн Креститель. Правда, изображен он так, что зритель не сразу его и заметит. Тем большего внимания заслуживает это изображение. У правого края диска картины, в стороне от св. семейства и на втором плане виден какой-то смуглокожий подросток в темной накидке и с переброшенным через плечо суковатым посохом. Волосы его вклокочены, черты лица крупны и мясisty. Приподняв голову, снизу и издали он жадно смотрит на маленького Христа, и даже полуулыбка не меняет общего впечатления неотесанности и грубости ⁶⁸.

Есть в этой улыбке и налет горечи. Чем это объяснить? Уж не у него ли только что Иосиф отнял младенца Иисуса, которого Иоанн старался сделать товарищем своих затей, может быть, пытался увлечь за собой в пустыню? Поза Иосифа дает основание предполагать именно такое предшествующее движение — крутой поворот вокруг оси. Этим же, видимо, объясняется и легкая тень огорчения на лице младенца: его отрывают от игры с приятелем. Но игры с этим неуравновешенным, полудиким юнцом слишком опасны. Вот откуда острая озабоченность, даже тревога в лице Иосифа, в его добрых глазах, в сведенных бровях. Вот почему, круто повернувшись спиной к назойливому искусителю, он спешит передать младенца Марии. Никто из членов семейства не проявляет ни малейшего интереса к Крестителю. Поворот левого плеча Иосифа и Марии производит даже такое впечатление, что они намеренно повернулись к нему спиной, — он к ним не имеет никакого отношения.

Что это именно так, художник не оставил сомнения: за спиной св. семейства через все тондо он провел широкую светлую полосу, — Креститель за этой полосой! (Как видим, у заказчика было более чем достаточно причин под благовидным предлогом отказаться от картины). Обычно пишут: этой полосой Микельанджело отделил св. семейство от обнаженных

⁶⁷ Атлеты «Мадонны Дони» непосредственно предшествуют обнаженным юношам Сикстинского плафона и, думается, помогают глубже понять, почему значение этих последних также не может быть исчерпано декоративной функцией.

⁶⁸ Саймондсу Иоанн Креститель на этой картине представляется подчеркнуто невзрачным (*ugly*), буквально жалким (*ignoble*). — См.: *Symonds J.*, p. 73—75.

атлетов, олицетворяющих языческую античность ⁶⁹. Да, атлеты тоже за полосой, но прежде всего и непосредственно за нею — Иоанн Креститель ⁷⁰.

При этом нельзя не заметить одной любопытной детали. Полоса — светлая, и ярким светом залит весь задний (третий) план: зеленеющие холмы, прекрасные головы, лица, тела юношей; благородным матовым блеском светится мрамор античного цоколя, на который опираются атлеты, светла самая земля, на которой они стоят. А между этой светлой землей и разграничительной полосой — какая-то щель, темный провал (он образует второй план). Вот из этого-то темного провала, гораздо ниже всех остальных фигур (св. семейство и обнаженные юноши изображены на одном уровне), выглядывает Креститель. Потому он и виден только по груди. Он не только совершенно чужд св. семейству, решительно отгорожен от него. Художник мастерски изобразил его не просто у самого края тондо, но в легком наклоне вправо и так, что кисть левой руки, которой он держит на плече свою палку, частью даже не видна за циркульным обрезом картины. Создается впечатление начала движения. Иоанн Креститель собрался уходить в пустыню для своей аскетической проповеди, вот-вот он исчезнет с поля тондо. И никто на картине не выражает по этому поводу ни радости, ни печали. Это просто никого не интересует. Кажется: вот сейчас уйдет наконец этот непривлекательный, кудлатый подросток в некое подобии звериной шкуры, и узкая, темная щель, по которой он двигался, тоже исчезнет, и передний план сомкнется с залитым солнцем третьим планом...

Итак, снова Иоанн Креститель. Очевидно, персонаж этот играет в «Св. семействе» Микельанджело отнюдь не традиционную и далеко не случайную роль. Эта маленькая невзрачная фигурка у правого края циркульного обвода значит очень много. Она позволяет обнаружить под первым идейным слоем картины органически с ним связанный второй слой единого замысла художника, если угодно — второй, глубже лежащий подтекст произведения. Нужно ли доказывать исключительную важность этого подтекста для понимания замысла художника? Связь всего комплекса идей, вдохновлявших Микельанджело при создании этой картины, с идеями, лежащими

⁶⁹ Так — и Тольней (см.: *Tolnay Ch.*, p. 165).

⁷⁰ Вейнбергер это отмечает, но никакого объяснения не дает (см.: *Weinberger*, p. 102).

ми в основе других его творений того же периода: два мраморных рельефа, рисунки «Св. Анны», а через них — с творениями и идеями Леонардо, — очевидна. Ясно, что все это поднимает множество настоятельных вопросов, диктует необходимость во многом по-новому взглянуть на творчество Микельанджело, на его идейные основы. Как же отвечает на этот вызов буржуазное искусствоведение?

Пусть по необходимости очень кратко, но вопроса этого коснуться нужно — это может многое прояснить в существе интересующего нас вопроса. Если сказать коротко, оно предпочитает этого вызова не замечать. Так, Ганс Маковский, рассматривая «Мадонну Дони», об Иоанне Крестителе просто не упоминает ни словом. Буркхардт отмечает, что маленький Иоанн пробегает по траншее («за каменным бруствером»), с иронической усмешкой на лице, но по поводу столь необычного изображения одного из главных персонажей евангельской легенды не считает нужным сделать никаких пояснений. Вельфлину кажется, что Иоанн пробегает сзади, наблюдая главную сцену с довольным видом. Но прославленный искусствовед, известный тонкостью своих наблюдений, ни слова не говорит ни о типе лица Иоанна, ни о странности его отлучения от св. семейства. Бертини отмечает изолированность юного аскета, но не пытается дать этому хоть какое-нибудь объяснение. Мариани называет лицо Иоанна «дионическим», «вакхическим», не считая нужным объяснить, что же общего между идеалом сурового христианского отшельника и языческим богом вина, шумного веселья и наслаждения жизнью? И каким образом «вакхический» Иоанн мог бы явиться предтечей основателя религии, зовущей людей отвратиться от земных радостей во имя потустороннего блаженства? (Впрочем, на эти вопросы не отвечает и Тольней, дающий определение «дионического» образу Иоанна Крестителя на «Тондо Питти») ⁷¹.

Небрежение к подобным вопросам, обязательным для исследователя, «равнодушие» к ним в буржуазном искусствоведении обычно молчаливо мотивируется тем, что вопросы этого рода словно бы и не входят в круг задач данной науки. В отношении творчества Микельанджело Мариани высказал это весьма четко: он видит свою задачу в выявлении новых пластических, особенно композиционных, решений, которыми

⁷¹ Burckhardt J., S. 245; Wölfflin H., S. 53; Bertini A., p. 51; Mariani V. Michelangelo, p. 55.

художник увлекался в данный период — не более того ⁷². С той же формальной точки зрения рассматривает он, как можно было видеть выше, и проблему влияния Леонардо на творчество молодого Буонарроти в монографии, специально посвященной этому вопросу ⁷³. Даже в таких специальных работах, как статья М. В. Бруньоли, восприятие молодым Микельанджело мятежных идей да Винчи фактически обойдено, и дело сводится все к тому же перениманию принципов композиции и других формально-изобразительных приемов, даже отдельных фигур, поз, жестов — в общем к *стилистическим* изменениям (при этом нередко «подражательность» Микельанджело необоснованно преувеличивается, а поразительная, неисчерпаемая оригинальность этого самобытнейшего из художников ступшевывается) ⁷⁴.

Формалистический подход обедняет не только понимание могучего воздействия Леонардова свободомыслия на творчество Микельанджело и других художников Высокого Возрождения и самое содержание этого творчества, — он, как это ни странно на первый взгляд, ведет к принижению *художественных достоинств* их произведений. Оценка «Мадонны Дони» — ярчайший тому пример. Поричать эту картину стало общим местом в буржуазном искусствоведении, и трудно найти автора, который не находил бы в ней всяческих промахов и недостатков. У одних — это явное непонимание, у других — более или менее скрытое неодобрение. Но, быть может, ни у кого эта картина Микельанджело не вызвала такой уничтожающей критики, как у Юсти, — здесь словно в фокусе сошлись воедино все полуторавековые нападки искусствоведов на это произведение. Стоит поэтому, хотя бы бегло, проследить основные моменты этой критики: быть может, нам удастся яснее понять ее внутреннюю логику, а через это — глубже постигнуть самое творение неистового Буонарроти.

Юсти не находил достаточно слов для поричания этой

⁷² Mariani V. Michelangelo, p. 52—53.

⁷³ Mariani V. Leonardo e Michelangelo. Napoli, 1965.

⁷⁴ Brugnoli M. V., p. 124—140. Еще резче та же позиция выражена у Н. Вильде (Wilde J. Michelangelo and Leonardo. — «Burlington magazine», 1963, Mars, p. 65 ss.). Между тем в действительности влияние Леонардо на Микельанджело в формально-изобразительной сфере проявилось значительно слабее, чем в сфере идейной. Тольней, прослеживая влияние художественной манеры Леонардо, одновременно, на ряде рисунков этого периода, выявил сопротивление Микельанджело этому влиянию (см.: Tolnay Ch., N 82, 83, 84).

картины. Она надуманна, искусственна от начала до конца. В ней нет «ни подлинной телесности, ни поз, ни гармонии». Совершенно неудовлетворительна сама мадонна, она не только уступает другим мадоннам Микельанджело, но выглядит среди них как аномалия. Это не влияние Леонардо, но неудачная попытка соперничества и противоборства с ним, проявление неспособности Микельанджело воспринять грацию и одухотворенность искусства винчианца, вообще «плод случайно пришедшей в голову фантазии». При таком несовершенстве картины стоит ли удивляться, что Аньоло Дони попытался сбавить почти вдвое заранее оговоренную цену!⁷⁵

На первый взгляд критика касается только вопросов формы и изобразительных средств. Создается впечатление, что этот формальный подход, полное равнодушие к идейному содержанию произведения мешают искусствоведам заметить и оценить ее высокие эстетические достоинства. Но внимательное следование за мыслью автора убеждает, что Юсти вовсе не так равнодушен к замыслу картины. Его раздражает Мария, «писанная с заурядной, мускулистой крестьянки». Но хуже всего — Иосиф, это главный промах художника, решившегося изобразить Марию «под сенью этого плешивого старца». Критика шокирует, что на картине «ноги перепутались: ступни молодой женщины и старика почти невозможно различить!»

Но самое любопытное состоит в том, что Карл Юсти — один из немногих критиков, который обратил самое пристальное внимание на фигуру Иоанна Крестителя. Ему решительно не нравится, как изобразил его художник: «Что-то низкое, неблагородное проглядывает во всем облике маленького Иоанна». Не нравится и где он его поместил. Обычно этот персонаж изображается в тесной близости с младенцем-Христом, как его неотступный товарищ по играм и верный последователь. «И теперь он был вместе с ним; но его маленького друга у него отобрали к родителям (!). Их разлучили. Он вынужден уйти». Он уходит в пустыню. (Теперь понятно, почему искусствоведам так не нравится Иосиф). Он бросает протестный взгляд на младенца-Христа. На лице — «гримаса подавленного плача». Но никто на него не смотрит. Он уже забыт. «Еще бы, юный мечтатель (фанатик? — Schwärmer) меньше всего подходит к той компании (Gesellschaft), которая изображена в центре». Симпатии искусствоведа целиком

⁷⁵ См.: *Justi C.*, S. 175—181.

на стороне «всеми забытого» (то есть отвергнутого художником!) Крестителя: «Этот маленький Иоанн, — быть может, самое интересное лицо из всех девяти, единственное человечески-трогательное лицо»⁷⁶.

Остается только пожалеть исследователя, которого эстетический педантизм или, быть может, нетерпимость ослепили настолько, что вся картина представилась в превратном свете, в противоположном значении, и он остался глух к ее своеобразной, но пленительной красоте и человечности. Вместе с тем следует признать, что такая откровенность в устах критика, ни на минуту не ставящего под сомнение нравственную ценность христианской легенды, образующей сюжетную канву картины, — сама по себе в высокой степени ценна. При всей неприглядности этого тотального уничтожения одного из самых изумительных творений гения, она стоит больше, чем уклончиво-половинчатые, снисходительно-ядовитые, вежливо-высокомерные порицания и назидания, на какие так щедро по поводу этой картины буржуазные искусствоведы, пишущие о Микельанджело.

Безоговорочное отвержение гораздо полнее проясняет действительную подоплеку отрицательного отношения к этому творению великого художника. За эстетическим педантизмом скрывается неприятие тех смелых идей, которые образуют душу живую этой картины. Вместе с тем такое полное неприятие как нельзя лучше оттеняет глубину и величие замысла художника, вдохновлявшегося идеями гуманистического свободомыслия.

Несомненно, это были те же идеи, какие волновали Микельанджело и при создании двух, рассмотренных выше, марморных тондо и двух его рисунков на тему «Св. Анна». Однако на картине указанные идеи достигают такой резкости выражения, наполняют ее таким богатством философской мысли, что «Мадонна Дони» с полным правом может рассматриваться как вершина в этом ряду.

Можно сказать, что в «Св. семействе», отталкиваясь от новых идей, брошенных в мир искусством Леонардо, Микельанджело пришел к еще более широкому синтезу и в великодушливой композиции пластических образов с редкой силой выразил целое мировоззрение — концепцию прошлого, настоящего и будущего, исходящую из гуманистического перетолкования христианства. Последнее претерпевало при этом такую

⁷⁶ *Justi C.*, S. 179—182.

метаморфозу, что его аскетический и мистический стержень оказывался удаленным, а темный идеал жертвенности и рабской покорности сверхнатуральным силам заменялся светлым идеалом естественной свободы и гармонии прекрасного человеческого тела и высокого человеческого духа — на этой, заливной солнечным светом, земле.

Мы не ставили своей задачей исчерпать большой и сложный вопрос о влиянии Леонардо на творчество Микельанджело — ни в целом, ни даже только в те первые пять лет XVI века, когда два великих гения жили и творили бок о бок в своей родной Флоренции. Не касаясь ни «Битвы при Кашине», ни «Давида», ни подготовки «Рабов» Микельанджело, мы попытались лишь выявить влияние некоторых смелых идей Леонардо, отразившихся в его живописи, на Микельанджело — в тех произведениях молодого художника, которые значительно меньше привлекли к себе внимание исследователей и, главное, почти вовсе не привлекли внимания под этим углом зрения.

Остается вопрос о взаимоотношениях двух художников. Несомненно, рассмотренные факты не оставляют места для старой версии об их исконной и непримиримой вражде, но вернуться к этому вопросу, видимо, все-таки необходимо. «Никакая счастливая звезда не осветила своим светом встречу двух величайших флорентинцев», — утверждал Юсти⁷⁷. Не влияние Леонардо, а лишь противодействие его искусству видят в двух круглых рельефах, в «Мадонне Дони» Г. Маковский⁷⁸. Леонардо был противником Микельанджело, как в жизни, так и в искусстве, утверждает Э. Панофский⁷⁹. Глубокая же неприязнь Микельанджело к Леонардо давно стала общим местом в литературе.

Но — на каком основании? Главным источником традиции является известная фраза Вазари: «Между Микельанджело Буонарроти и им (Леонардо) была величайшая вражда»⁸⁰. М. В. Бруноли ставит эту традицию под сомнение: почему об этой вражде ни слова не сообщает такой достоверный биограф Микельанджело, как Кондивви, который, однако, упоминает о неладах своего учителя с Браманте и Рафаэлем? Быть

⁷⁷ *Justi C.*, S. 175.

⁷⁸ *Mackowsky H.*, S. 42—46.

⁷⁹ *Panofsky E.* *Studies in Iconology.* N. Y., 1939, p. 182.

⁸⁰ «Era sdegno grandissimo fra Michelangelo Buonarroti e lui».

может, эта вражда вообще измышление Вазари? — ставит вопрос исследовательница⁸¹.

Нет, по всей видимости, Вазари не выдумал этой вражды. Ведь о неприязни (во всяком случае, со стороны Микельанджело) свидетельствует и известный эпизод с толкованием текста из Данте, сообщаемый анонимным биографом Леонардо, а косвенно это нашло отражение в отдельных позднейших высказываниях Микельанджело и некоторых текстах «Книги о живописи» Леонардо (спор о первенстве между живописью и скульптурой). Другое дело, всегда ли была эта распря? Сразу ли она возникла? Факты свидетельствуют неопровержимо: сначала вражды не было. Очень вероятно, что была даже дружба, во всяком случае — уважение, преклонение со стороны молодого Буонарроти, неистощимый интерес и жадное творческое восприятие молодым художником ошеломляюще новых и смелых идей великого мудреца. Мы видели, насколько плодотворным явилось это восприятие.

Отрицание этого влияния, представление о фатальной враждебности двух великих художников обычно исходят из убеждения о диаметральной противоположности их творческих темпераментов, а отсюда — и художественных методов. В этой концепции искусство Леонардо предельно интеллектуально, исполнено строгого расчета и загадочно глубокой мысли. Творчество же Микельанджело — насквозь импульсивно, это лишь неудержимый порыв воли и страсти. Вот почему Юсти полагал, что бесполезно искать в творчестве Микельанджело влияния искусства Леонардо, «значение которого в ту пору мало кто мог постичь»⁸². Макс Дворжак, видя в этих двух великих флорентинцах два различных типа художников, прихотил к выводу: «Видимо, в этом заключался подлинный неосознанный источник антипатии и отвращения, с какими Микельанджело с самого начала (?) выступил против Леонардо и которые вылились затем в открытые оскорбления»⁸³.

Нет нужды отрицать различие художественных темпераментов двух мастеров, но факты искусства не позволяют принять абсолютного их противопоставления. Кто, стоя пораженный перед «Давидом» Микельанджело, перед его «Моисеем»

⁸¹ *Brugnoli M. V.*, p. 124.

⁸² *Justi C.*, S. 153.

⁸³ *Dvorak M.* *Geschichte der Italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance.* München, 1928, 2. Bd., S. 11—12.



Микельанджело. *Портрет Леонардо да Винчи*



Микельанджело. «*Мадонна Таддеи*»



Микельанджело. «Мадонна Питти»



Микельанджело. «Св. семейство» («Мадонна Дони»)

и несравненным «Брутом», не ощущал мучительной немоты, острой нехватки слов и понятий, чтобы приблизиться к постижению бездонной глубины исходящего от них могучего излучения мысли? А какой идейной насыщенностью дышит «Грехопадение» Сикстинского плафона, этот изумительный конденсат всего гуманистического мировоззрения! И что же такое «Битва кентавров», как не великое *идейное открытие*, какое-то непостижимое проникновение юного гения в самую суть нового мироистолкования, приносимого наступавшим высшим этапом зрелости гуманистической культуры — Высоким Возрождением?

Нет, бездумной импульсивностью не объяснить творчества Микельанджело. И отнюдь не декларацией были горячие слова самого художника «Я не могу создавать одну вещь руками, а другую головой», или: Произведения искусства «создаются головой, а не руками»⁸⁴. В знаменитом сонете, прославляющем камень как вместилище потенциальных художественных идей (*concetto*), образов, Микельанджело утверждал, что «доступ к ним обретает лишь та рука, которая послушна разуму»:

«... solo a quella arriva
la man che ubbidisce all'intelletto»⁸⁵

Искусство Микельанджело глубоко интеллектуально и, как свидетельствуют рассмотренные факты, прорывисто смелая мысль Леонардо (с Прометеем Леонардо сравнивал уже Ломатто) не отталкивала, а горячо влекла к себе Микельанджело. Ему больше чем кому бы то ни было из современников был внятен голос философски насыщенного искусства винчизанца, смысл мятежных идей, которые его вдохновляли. Творчески переплавляясь в тигле его самобытнейшего гения, это глубоко близкое его духу влияние реализовалось не как внешнее «наслоение», но как закономерный этап внутренней идейной и художественной зрелости искусства неистового флорентинца, выливалось в творения потрясающей красоты и пугающей филистеров философской глубины ренессансного свободомыслия.

Очевидно, все это едва ли было бы возможно в условиях

⁸⁴ Письма Микельанджело от 24 октября 1525 и ок. 1540 года (см.: Marnat M. Michel-Ange. Paris, 1974, p. 3).

⁸⁵ См.: Лазарев В. Н. Микельанджело. — В кн.: Микельанджело. Жизнь, творчество. Сост. В. Н. Гращенков. М., 1964, с. 34.

взаимного отвращения двух художников. В горячем, самолюбивом и мнительном Буонарроти вражда пробудилась с началом соперничества, — а на первых порах его не было. Во Флоренцию Микельанджело вернулся, видимо, в мае 1501 г., а уже в августе ему был передан более чем лестный заказ на статую «Давида», который гонфалоньер республики Пьетро Содерини почти за год до того обещал Леонардо⁸⁶. Строительная комиссия Флорентинского собора постановляет построить Микельанджело, как бесспорно первейшему скульптору Флоренции, дом и мастерскую, — честь, какой не удостоивался еще ни один художник. В апреле 1503 г. от той же комиссии он получает заказ изваять статуи двенадцати апостолов. Обида и ревность проснулись, видимо, лишь в январе 1504 г., когда в комиссии по установке «Давида» Леонардо высказал точку зрения, противоположную намерениям автора скульптуры. Отношения испортились, когда Леонардо — не позднее февраля того же года — получил заказ республики на большую роспись в Палаццо Веккио («Битва при Ангиари»), Микельанджело же аналогичная работа («Битва при Кашине») была предложена, видимо, не ранее ноября того же года⁸⁷. Неприязнь (прежде всего со стороны Микельанджело), надо думать, достигла крайней остроты в зимние месяцы (1504—1505 гг.) напряженной работы — соперничества в Зале Совета Спирити, когда, пораженный неслыханной силой композиции, созданной Леонардо, Микельанджело мучительно искал своего, непохожего решения, нашел его, наконец создал нечто совершенно новое, но, не удовлетворенный и этим решением, не стал воплощать его во фреске.

По всей видимости, именно эта бросавшаяся в глаза неприязнь, которую Микельанджело не считал нужным сдерживать даже на людях, поразила современников, заслонила собою и заставила забыть предшествующие, гораздо менее заметные посторонним, дружеские, во всяком случае близкие, отношения двух великих художников. Очевидно, именно эта ситуация была закреплена известной фразой Вазари о «величайшей антипатии», а эта фраза, в свою очередь, до крайности преувеличила действительное значение этого момента и — создала традицию.

Однако факты убеждают: соперничество, неприязнь — это лишь эпизод в биографиях двух великих художников, тогда

⁸⁶ См.: Вазари Дж., т. III, с. 224; Brugnoli M. V., p. 125.

⁸⁷ См.: Wilde J. Italian drawings, p. 7.

как жадное восприятие передовых идей Леонардо явилось могучим и плодотворным фактором возмужания и идеологического насыщения творчества молодого Микельанджело. Мы убедились, как действовал этот фактор в годы одновременного пребывания обоих художников во Флоренции в первое пятилетие XVI века. Но не исключено, что воздействие это началось значительно раньше. Ведь пока что еще не выяснено, когда подобные идеи зародились у самого Леонардо. В недавние годы Дж. Кастельфранко обратил внимание на лист № 12276 из Виндзорского собрания рисунков да Винчи⁸⁸. На нем изображена мадонна, кормящая младенца, а справа и снизу к этой группе тянется мальчик постарше — Иоанн Креститель. Лицо Марии озабочено, глубокий, печальный взгляд обращен вперед и в пространство, через голову младенца. Придерживая его левой рукой, Мария выдвинула вперед левое плечо и весь торс, явно отворачиваясь от Крестителя, который подступает к ней как бы сбоку и сзади. Замысел выражен с полной ясностью. Поскольку на обороте листа, среди изображений голов и фигур, — профильный портрет юного Аталанте Мильоротти, который, как известно, сопровождал Леонардо из Флоренции в Милан, то следует предположить, что композиция группы мадонны на лицевой стороне листа также относится к концу первого флорентинского периода — около 1481 года. Иными словами, рисунок Леонардо, по всей видимости, был создан еще во Флоренции и — за 10 лет до «Мадонны у лестницы» Микельанджело!

Нет необходимости на этом основании спешить с далекоидущими выводами. Вопрос требует дальнейшего изучения. Важнее другое: к этим идеям Микельанджело был подготовлен всем предшествующим развитием гуманизма, всем ходом эпохи, чреватой грозными катаклизмами, чей приближающийся гул он слышал, как никто, чутко. И мятежный дух неистового каменотеса во весь голос заявил о себе уже в его первых, юношеских творениях. Несомненно, крайне накаленная социально-политическая и идейная атмосфера Флоренции 90-х годов XV века, пламенные проповеди Савонаролы, обличавшие папство и неправду мира, сам по себе героический и трагический образ неустрашимого трибуна-доминиканца — все это различными и противоречивыми путями толкало сознание молодого художника в том же направлении.

⁸⁸ Castelfranco G. Studi vinciani. Roma, 1966, N 10.

Особенно же — первое пребывание в Риме. В исполненной тихой, но беспредельной печали римской «Пiette» Микельанджело оплакал Савонаролу (заказ на «Оплакивание Христа» был получен в августе 1498 года, через три месяца после сожжения проповедника), которого художник глубоко уважал и, более того, горячо любил, чью гибель пережил как личное несчастье. И там же, в Риме, Микельанджело убедился в ожесточенной враждебности папского двора к Савонароле, которого в курии честили как «отъявленного еретика». Узнал он и о тех грязных сплетнях, какие распускал о смелом флорентинском поборнике справедливости генерал ордена августинцев Мариано да Джениццано, лицо весьма влиятельное при папском дворе⁸⁹.

Мы не знаем, какие еще назидательные уроки извлек молодой художник из своего первого «римского университета», но не подлежит сомнению, что во Флоренцию он вернулся еще более подготовленным к восприятию некоторых существенных идей леонардовского свободомыслия. Об этом неопровержимо свидетельствует рассмотренный выше ряд его произведений — в графике, в живописи, в скульптуре, — созданный в плодотворнейшее первое пятилетие XVI века. В основе этих творений — новое, мятежно-смелое перетолкование таких важнейших в христианской мифологии и экзегетике сюжетов, как св. Анна, св. семейство, Иоанн Креститель.

И если согласиться с теми авторами, которые настаивают на более поздней датировке (1506 год) одного из мраморных торсов и даже «Мадонны Дони», то тем более следует признать несущественность, поверхностность распри и значительность, длительную действенность влияния идей Леонардо на его младшего великого современника. Ибо выходит, что и после личного разрыва Микельанджело не только не отбросил, но продолжал настойчиво и с блеском развивать в своем творчестве мятежные идеи великого художника-философа.

Обоснованность последнего вывода подтверждается также некоторыми рисунками из наследия Микельанджело и его школы, на которых Иоанн Креститель изображен в роли все того же искусителя, стремящегося увлечь за собой младенца Христа, тогда как Мария старается удержать сына и защитить его от этих опасных посягательств⁹⁰. Особенно интере-

⁸⁹ См.: Tolnay Ch. Youth, p. 27.

⁹⁰ Описание см.: Thode H. Michelangelo. VII. Die Madonnenstudien. E. VIII; Илл.: Justi C., Abb. 16; Berenson B. Drawings, vol. III, fig. 627.

сен большой картон Микельанджело «Богоявление» (Лондон, Британский музей), датируемый около 1550 года⁹¹, на котором Мария, отличающаяся подчеркнутой простотой, даже простонародной грубоватостью, но вместе с тем непреклонной твердостью воли, пытается решительно отвести от своего сына божественную, но жертвенную судьбу, навязываемую «небесными» силами. Считается, что эти рисунки либо частично принадлежат руке Микельанджело, либо целиком созданы его учениками, но то, что они вышли из мастерской Микельанджело, не вызывает сомнений. Иными словами, замысел этих композиций принадлежал учителю, одобрялся им. А это значит, что и 75-летнего Микельанджело продолжали волновать идеи, вдохновлявшие его в молодости и впервые брошенные в мир бесстрашным гением Леонардо.

М. А. Молдавская

К ВОПРОСУ О СТУДЕНЧЕСКИХ ВОЛНЕНИЯХ И БОРЬБЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНО-КАТОЛИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ В ЛАНГЕДОКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В.

В первые десятилетия XVI в. во Франции, как и в других странах, в связи с начавшейся ломкой социально-экономических отношений, появляются такие новые формы идеологии, как гуманизм и реформация. В первой половине XVI века раннему французскому гуманизму была свойственна близость к интересам народных масс и ко всем проявлениям социального протеста в этой среде. Реформационное движение во Франции тогда, именно в первой половине XVI века, также имело наиболее демократический характер¹. Как свидетельствуют факты, длительное время обе эти силы выступали совместно против феодально-католической реакции. В крупных и уже затронутых капиталистическим развитием городах Юга эта религиозно-идеологическая борьба прогрессивных

⁹¹ *Wilde J.*, Italian drawings, p. 114—116; Pl. CXI—CXVII.

¹ *Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н.* Очерки истории Франции. Л., 1957, с. 100.

сил находила, как известно, отклик и поддержку в среде ремесленно-плебейского населения, преобладающего в таких центрах. На раннем этапе идеи реформации распространяются главным образом в городской среде. Городские движения протеста, переходящие порой в мятежи, происходили в это время постоянно. Документы эпохи пестрят сведениями о «ропоте», «мятежах», «волнениях», «беспорядках» в городах и городках. Поводы могли быть различными. Но основу этих движений составляла «оппозиция против феодализма», усиленная тяготами и страданиями, которые принесла низам городского населения «заря капиталистической эры производства».

Даже скудные официальные документы дают возможность набросать некоторые черты живой картины народных волнений городских низов и передовой гуманистической интеллигенции, на которую также распространялась система репрессий.

Одной из ярких страниц этой борьбы были события в Лангедоке, и особенно в Тулузе².

Лангедок — одна из наиболее своеобразных областей Франции. Он известен как край зерновых культур, вина и развитого садоводства. Провинция славилась богатыми торгово-ремесленными городами. В первой половине XVI в. торговые связи Лангедока приобрели международное значение, и в центре их стояла Тулуза. Абсолютное большинство населения больших городов состояло из цеховых и внецеховых ремесленников десятков профессий, мелких торговцев, подмастерьев и учеников, пауперов, наемных рабочих мануфактур. Уже в 1520-х годах в Лангедоке, экономически тесно связан-

² Данный очерк написан, главным образом, на основании сборника документов, изданного Р. Гадаром (*Les documents sur l'histoire de l'Université de Toulouse et spécialement de sa faculté de droit civil et économique (1229—1789), présentée par R. Gadare. Toulouse, 1910.* (Далее: Documents). В нем собраны ценные данные об организациях студенческой молодежи, их отношениях с городскими властями и церковью, о студенческих волнениях. Используются также материалы законодательства первой половины XVI века — сборники ордоннансов Франциска I (*Ordonnances des rois de France. Règne de François I. Académie des sciences morales et politiques*), тт. I—VIII. Paris, 1922—1965); публикация доведена до 1536 г. (далее — *Ordonnances...*) и каталог законодательных актов того же времени (*Catalogue des actes de François I. Paris, tt. I—X, 1887—1908* (далее — *Catalogue*). В этом огромном и еще не законченном издании собраний документов преобладают акты дипломатические, юридические, финансовые, однако и акты социально-экономического содержания составляют немалую часть.

ного с Испанией, начала сказываться «революция цен», повлекшая за собой дороговизну. Материальное положение городской бедноты усугублялось также ростом государственных налогов и таким в то время общим для всей страны явлением, как приток нищих во все более или менее значительные города. Приток этот был связан преимущественно с разорением крестьянства, неурожаями и голодовками, либо с поисками убежища от грабежей солдатчины и бедствий войны.

Социальная борьба в этих условиях имела различные проявления: и восстания, и голодные бунты, и сложная внутригородская борьба, и неосознанный еще протест, и сопротивление абсолютистскому режиму³.

Сложность социально-политической борьбы в провинции нельзя понять без учета насильственного присоединения Лангедока к короне в сравнительно недавнем прошлом. Французское единство, как известно, было навязано Югу огнем и мечом. В дальнейшем повышение государственных налогов, рост числа чиновников, присылаемых с севера, отмена некоторых «вольностей» и прав края усиливали оппозицию к правительству и поддерживающей его католической церкви. По-видимому, это обстоятельство придавало реформации на Юге особенно боевой характер, выливаясь в открытые мятежные выступления масс.

В первой половине XVI века Тулуза была крупным очагом культуры. После Страсбурга, Парижа и Лиона Тулуза была четвертым городом во Франции, приобретшим типографию. Тулузский университет привлекал молодежь из разных французских провинций, а также из Италии и Испании. В первой четверти XVI века здесь обучалось около 10 тысяч студентов. Среди профессоров университета было немало известных гуманистов: Жан Вульте, Жан де Буассоне, Жан де Кора. Вокруг них группировалась свободомыслящая молодежь. В 1530-е гг. Франсуа Рабле изучал медицину в университете в Монпелье.

Студенческая молодежь принимала участие в городских народных движениях. Так, в марте 1521 г. в суде сенешала происходил процесс о «беспорядках». Среди привлеченных к ответственности в качестве «зачинщиков» были главным об-

³ Молдавская М. А. Положение городской бедноты в Лангедоке и ее социальные движения в первой половине XVI в. (К истории вопроса). — В кн.: Страны средиземноморья в эпоху феодализма, вып. 2. Горький, 1975.

разом моряки и студенты⁴. В 1526 г. многие студенты были арестованы⁵. Дважды (в 1524 и в 1534 гг.) в постановлениях Штатов о запрещении студентам носить оружие под страхом тюремного заключения и изгнания из страны констатировалось, что в стихийно возникавших конфликтах с властями в Тулузе, а также в «недозволенных объединениях, заговорах» деятельное участие принимали студенты университета⁶.

Католическое духовенство и светские власти всегда с подозрением относились к университету, видя в нем некий рассадник ереси и бунта. Тулузский университет был основан по распоряжению папы в 1229 г., после разгрома Юга в Альбигойских войнах, с целью борьбы с ересью.

Городские власти неоднократно выносили решения о запрещении студентам носить оружие (1519, 1524, 1526, 1530, 1531, 1533, 1536, 1539, 1542, 1544, 1545). Почти одновременно, иногда в одном постановлении, запрещались сходки «школяров» как незаконные (1519, 1530, 1531). Поскольку студенты объединялись в землячества («нации» — французы, наваррцы, гасконцы, бретонцы, испанцы и т. д.), то неоднократно издавались постановления об их запрещении (в 1531, 1533, 1534, 1542, 1544 гг.). Городским оружейникам запрещалось продавать студентам оружие (1523, 1524, 1534 гг.)⁷.

Действия студентов в официальных постановлениях квалифицировались как «мятеж», их обвиняли в «волнениях на улицах», организации шумных шествий с тамбуринами, нападении на городские ночные дозоры, стычках с полицией и т. п. Насколько опасными для себя считали поведение студентов городские власти, видно из шкалы наказаний, установленных ими: за ношение оружия, участие в «незаконном» собрании и в «нации» студентам угрожала конфискация имущества и изгнание из Тулузы, оружейник же, продавший оружие студентам, подлежал казни⁸.

В 1530 году группу студентов в Тулузе судили за оскорбление одного из докторов университета во время его лекции⁹. Видно, это было одним из проявлений протеста молодежи, так как в 1544 г. в постановлении городских властей студен-

⁴ Inventaire sommaire des archives départementales. Haute-Garonne. t. I, Toulouse, 1903, p. 142. (В дальнейшем I.-s.).

⁵ Ibid., p. 154.

⁶ Ibid., p. 177.

⁷ Documents, p. 127—130, 132, 134, 137, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153.

⁸ Ibid., p. 132, 137.

⁹ I.-s., t. I, p. 142.

там запрещалось не только «собирать незаконные собрания, устраивать заговоры и бунты, носить оружие», что повторялось в таких документах постоянно, но и «беспокоить преподавателей»¹⁰.

Иногда конфликты университета с городскими властями имели и экономическую подоплеку. Так, в 1517 г. студенты и преподаватели протестовали против обложения их тальей и отказались ее платить. Конфликт сопровождался уличными стычками между студентами и представителями властей, эксцессами. Одним из лиц, пострадавших в этих стычках, оказался прокурор. Все же в 1522 г. специальным предписанием королевского правительства преподаватели университета, как и все обитатели Тулузы, были обложены налогом для содержания проходящих через город войск¹¹.

В августе 1533 г. в город приехал Франциск I. Университет отказался внести свой взнос для суммы, собираемой властями для встречи короля. Начался затяжной конфликт, сопровождавшийся уличными стычками между городскими дозорами и студентами и арестами последних¹². Весьма возможно, что этот конфликт имел не только экономическое, но и политическое содержание: нежелание давать деньги на встречу «северного деспота». Не случайно именно в 1533 г. были изданы два постановления против студентов.

Королевская политика по отношению к гуманизму и реформации при Франциске I претерпела эволюцию. В 1520-е—1530-е гг. поддержка протестантских князей в Германии и войны против Карла V, возглавлявшего католический фронт, обязывали его к терпимому отношению. Именно в это время (1530 г.) была учреждена Коллегия королевских лекторов (будущий Коллеж де Франс), оказывается содействие книгопечатному производству, расширяется королевская библиотека. Гуманисты и наиболее образованные деятели реформации группируются вокруг королевского двора. Тем не менее и в это время происходили преследования передовой интеллигенции и реформации.

Так, в 1518 г. был издан специальный эдикт о запрещении профессорам и всем подданным Парижского университета устраивать собрания и обсуждать государственные дела. Мотивировалось это тем, что такие собрания сопровождаются

¹⁰ Ibid., p. 167, 154.

¹¹ Documents, p. 126, 129.

¹² Wolff Ph. Histoire de Toulouse. Toulouse, 1958, p. 217.

скандалами и всевозможными помехами «общественному благу» и могут привести к большому «беспорядку и смуте», чем воспользуются иностранные государства. Виновным в нарушении этого постановления угрожало изгнание и конфискация имущества, а университету — лишение его привилегий¹³. Спустя несколько месяцев в другом постановлении, изданном в связи с оппозицией Болонскому конкордату, правительство вновь упрекает преподавателей университета в том, что «многие болтают на запретные темы, несмотря на то, что им было запрещено вмешиваться в государственные дела», собрания продолжаются, на них выступают с речами, рассчитанными на то, чтобы «возмутить толпу преподавателей и учащихся» против конкордата; зачинщики «дерзких поступков» подстрекают к освобождению заключенных, «виновных в различных нарушениях, совершавших очень вредные и скандальные дела»¹⁴.

К началу 20-х годов относится первое выступление Сорбонны против «ереси».

Особые опасения правящих кругов вызывало книгопечатание. Несколько раз его пытались поставить под контроль цензуры и вовсе запретить. В 1520 г. парижским печатникам запретили печатать книги, не одобренные университетом¹⁵. В 1534 г. было запрещено впредь до нового приказа печатать какую бы то ни было новую книгу (грамота от 13.1)¹⁶. Вскоре (23-го февраля) последовала новая грамота о том, что из числа парижских печатников должны быть избраны, по усмотрению Парижского Парламента, ведению которого подлежало книгопечатание во всей стране, 12 «весьма квалифицированных и сведущих, которым доверяется печатание книг, одобренных и необходимых для общественного блага»¹⁷. Остальным печатание было запрещено. Этот драконовский запрет в жизнь не прошел, но попытки подчинить книгопечатание цензуре продолжались.

В середине 30-х годов правительство, вдохновляемое кликой воинствующих мракобесов, перешло к политике массовых репрессий против протестантов и гуманистов. Сравнительно либеральной политике пришел конец после известного

¹³ Ordonnances, t. II, p. 222—223.

¹⁴ Ibid., p. 276.

¹⁵ Catalogue, t. I, N 1341.

¹⁶ Ibid., t. III, N 7461.

¹⁷ Ibid., N 7559.

«дела о плакатах» в октябре 1534 г. Феодално-католический блок переходит в наступление. С ноября 1534 г. до июня 1535 г. в Париже ежедневно происходили пытки и казни. В 1537 г. печатников и книготорговцев обязали сдавать по одному экземпляру всех книг, поступающих в продажу в стране или за границу, назначенному правительством цензору, «чтобы помешать пропаганде ложных доктрин»¹⁸. В 1540 г. утверждается инквизитор французского королевства. В 1543 г. (12.IV.) было строжайше запрещено публиковать «клеветнические, скандальные памфлеты, побуждающие к восстаниям и народным волнениям»¹⁹. Через месяц, в мае, в Парижском университете началась травля передового ученого, борца против схоластики Пьера Раме в связи с двумя опубликованными им произведениями. Теологический факультет с одобрения правительства осудил П. Раме и его труды²⁰.

В Лангедоке переход феодално-католической реакции в наступление начинается раньше.

Следует заметить, что начало французской реформации, хотя и весьма умеренной, было положено задолго до Лютера, еще в 1512 г., Лефевром д'Этаплем и его последователями. Идеи реформации на Юге распространялись быстро и, по всей видимости, раньше, чем на Севере страны. Кроме отмеченных уже причин, объясняющих этот факт, следует также учесть, что нигде, пожалуй, не было общественной и идейной почвы более подготовленной для этого, чем в Лангедоке, в котором альбигойство, ненависть к католической церкви и симпатии к ереси никогда не были искоренены. Лютеранская община уже в 1520 г. появляется в Тулузе, а затем в других городах края, в 1530-е — 1540-е гг. распространяется кальвинизм. Проявления неуважения к духовенству и церкви на Юге нередко приобретали самые крайние формы. Так, в городке Сент-Африк в 1518 г. отмечались случаи, когда в местный храм въезжали на мулах, лошадях и совершали там «всякие кощунственные поступки»²¹. В том же году «многие жители» г. Ош были подвергнуты публичному бичеванию за то, что «неоднократно окружали ночью дом архиепископа, били в набат и выкрикивали оскорбления в его адрес»²².

¹⁸ Ibid., N 9776.

¹⁹ Ibid., t. IV, N 12981.

²⁰ Ibid., N 13101, N 13701, N 14379.

²¹ I.-s. t. I, p. 132.

²² Ibid., p. 134.

Уже в 1522 г. в провинции действовал инквизитор, в распоряжении которого имелось несколько тюрем для заключения лиц, подозреваемых в «неправоверию». Как местные чиновники, так и комиссары центрального правительства обязывались помогать инквизиции в ведении судебных процессов²³. Еще в октябре 1510 г. в Тулузе был сожжен как еретик профессор медицины Гонсаль Молина²⁴. В 1531 г. епископ Олеронский был присужден к тюрьме за принятие и поддержку лютеранства в Каркассоне. Лютеранство принимали многие священники. Сам инквизитор Луи Роше 10.IX. 1538 г. был сожжен по обвинению в протестанстве. Среди тулузских студентов в середине века было около 4000 сторонников реформации²⁵.

В 1532 г. тулузский архиепископ получил приказ королевского правительства об организации судебных процессов против лютеран при помощи всех местных властей, чтобы «возможно скорее истребить эту секту». По-видимому, усердие архиепископа правительство оценивало не высоко, так как за невыполнение приказа угрожало конфискацией его имущества и штрафом в 2000 ливров его викарию²⁶. Спустя несколько месяцев, в июле того же года, состоялся большой судебный процесс над лютеранами²⁷.

В 1532 г. (31.III.) 32 студента были арестованы по обвинению в лютеранстве. Это были все ученики и друзья гуманистов. Большинство арестованных спаслись бегством. Профессор Жан де Буассонне, оставшийся в Тулузе, был судим и присужден к конфискации дома и штрафу в 1000 ливров. В присутствии инквизиторов его принудили отречься от своих убеждений. Его ученик Жан де Катюрк, бакалавр прав, был сожжен живым на тулузской площади 23.VI.1533 года²⁸.

Известный деятель гуманистического движения Этьенн Доле учился в Тулузском университете с 1531 г. Некоторые студенческие волнения он возглавлял или принимал в них участие²⁹. Вскоре Доле был арестован за разговоры о «смеш-

²³ Ibid., p. 145.

²⁴ Lafaille G. Annales de la ville de Toulouse depuis la réunion de la comté de Toulouse à la couronne. Toulouse, t. I, 1687, p. 313.

²⁵ Ramet H. Histoire de Toulouse. Toulouse, 1943, p. 407.

²⁶ I.-s., t. I, p. 171.

²⁷ Ibid., p. 173.

²⁸ Dom Cl. de Vic et J. Vaissète. Histoire général de Languedoc. t. XI, Toulouse, 1889, p. 236.

²⁹ Ramet H., p. 357.

ных обрядах и суевериях» католицизма³⁰. Позднее Этьенн Доле будет принимать активное участие в стачке лионских рабочих-печатников. Будучи сам владельцем типографии, он, тем не менее, выступил в защиту рабочих и резко осуждал предпринимателей. На судебном процессе 1544 г., закончившемся казнью Доле, инквизиционный трибунал обвинил его в богохульстве и продаже запрещенных книг. Но одним из главных было обвинение в подстрекательстве к мятежу³¹.

В июле 1535 г. консулы Тулузы в сопровождении вооруженных стражников пытались силой распустить студенческие «нации». На улице возле университета произошла подлинная баталия, в которой победили студенты. Многие стражники были ранены. Хотя сенешал по неясным для нас мотивам принял сторону студентов, городские власти преследовали студентов, «вопреки запрещению сенешала»³². 3 февраля 1536 г. решением парламента студентам было запрещено избирать своих вожаков в землячества под угрозой ареста.

Серьезные события, причины и ход которых нам не вполне ясны, произошли весной 1540 г. Городские власти обвинили студентов в намерении поджечь город. С помощью этого провокационного слуха властям удалось поднять против университета свыше 4000 жителей³³. В схватках и побоищах, продолжавшихся несколько дней, были действительно сожжены два помещения университета, раненные были с обеих сторон. Репрессии продолжались долго. Один студент был казнен, три «зачинщика» движения, успевшие бежать, были казнены «в изображениях», многие были изгнаны из города, имущество же их конфисковано³⁴.

В том же году толпа фанатичных мракобесов сожгла дом профессора Жана де Кора, подозреваемого в ереси. Во время пожара погибла и его библиотека³⁵. Постепенно гуманисты покинули Тулузу.

Тулузские власти прямо связывали проявление народных волнений с развитием реформационного движения. Так, еще в 1533 г. были укреплены и перестроены органы полиции с

³⁰ Ibid., p. 406.

³¹ *Taillandier M. A. Procès d'Etienne Dolet, imprimeur et libraire à Lyon. Paris, 1836; Christie R. C. Etienne Dolet. le martyr de la Renaissance. Paris, 1886, p. 452.*

³² Documents, p. 141.

³³ Ibid., p. 143.

³⁴ Ibid., p. 148—149.

³⁵ *Wolff Ph. Histoire de Toulouse, p. 217.*

целью более успешного подавления «всех сил беспорядка, эксцессов и богохульства». Тогда же в консульате был составлен секретный список с именами подозрительных лиц, за которыми надлежит установить слежку³⁶.

29 января 1535 г. был издан королевский эдикт, содержащий такие же угрозы наказаний для лиц, укрывающих лютеран, как и для самих лютеран. Доносчика вознаграждали четвертой частью имущества, конфискованного у его жертвы³⁷. В 1538 г. в тулузский парламент были направлены правительственные грамоты, обязывающие информировать о лютеранах, а также о продавцах и покупателях «еретических» книг и принимать против них «суровые меры»³⁸. Через несколько месяцев, в 1539 г. был издан ордонанс, обязывавший все суды королевства преследовать «ересь, особенно лютеранскую»³⁹. Такие же распоряжения последовали в 1540 году⁴⁰. В августе 1542 г. тулузскому парламенту дважды направлялись специальные предписания относительно сурового преследования сторонников других «ересей»⁴¹.

Коннетабль Франции также сделал «вклад» в борьбу с лютеранством, распорядившись в 1547 г. об истреблении «секты» в Тулузе⁴².

В королевской грамоте 1546 г. (23.XI) епископов обязали помогать светским судам проверять судебные процессы лиц, обвиненных в «богохульстве, волнениях и мятежах»⁴³. Следовательно, «богохульство» и «ереси» прочно связывались в представлении официальных кругов с волнениями и мятежами.

Сожжения сторонников реформации происходили повсеместно⁴⁴. Тулузский парламент рассматривал участие в реформации как антиправительственную акцию. В марте 1547 г. к власти пришел Генрих II, что означало полное торжество католической партии. По приказу короля в тулузском парламенте, как и в парижском, была учреждена Огненная палата

³⁶ *Lafaille G. Annales, t. II, 1701, p. 93.*

³⁷ *Ordonnances, t. VII, p. 182.*

³⁸ *Catalogue, t. III, N 10534.*

³⁹ *Ibid., t. IV, N 11072.*

⁴⁰ *Ibid., N 11509, N 11901.*

⁴¹ *Ibid., N 12706, N 12709.*

⁴² *I. s., t. II, p. 41.*

⁴³ *Catalogue, t. V, N 15435.*

⁴⁴ *I. s., t. I, p. 196, 199.*

для преследования еретиков⁴⁵. С 1540 по 1549 гг. в Тулузе было организовано 200 судебных процессов над протестантами, 18 человек были сожжены⁴⁶. В 1541 и 1548 гг. парламент посылал комиссаров в Флоранс, Велэй, Живодан и Виваре, чтобы там на местах судить и наказывать «еретиков». В 1548 г. консулы наложили арест на подозрительные книги и запретили собрания в Тулузе⁴⁷. Особенно массовыми и жестокими были расправы с протестантами в Ниме в августе 1551 г. и Бокере в 1552 году⁴⁸. Массовые сожжения с конфискацией имущества происходили также в апреле 1552 года⁴⁹.

К 1549 г. была выработана специальная форма присяги, которую консулы городов должны были приносить инквизиторам⁵⁰. Недоверие к городским властям мятежной провинции проявилось здесь совершенно явственно.

В эдикте о преследовании ереси (27.VI.1551 г.⁵¹) королевское правительство запрещает хлопотать о людях, подозреваемых в ереси, рассматривая это как соучастие. Приказы-валось изгонять из домов всех, подозреваемых в ереси, в том числе и слуг. Рекомендовалось «сообщать о поведении и разговорах учителей, следить за школами. Учителей, связанных с заблуждающимися, снимать с должности». Явная тревога, страх перед возможностью народных восстаний, недоверие ко всем и вся, сквозит в таком требовании этого документа: «Если доказано, что кто-либо совершает поступки, ведущие к пренебрежению к законам или способные вызвать возмущение, то на него обязаны донести».

В 1540-е—1550-е гг. в городах края уже часто происходили вооруженные стычки между католиками и протестантами⁵². Эти события в значительной мере были прелюдией гугенотских войн.

Как известно, во второй половине XVI века Лангедок представлял собой не только обширный регион, где гражданские войны приняли особенно затяжной характер, но и главный очаг гугенотства, составную часть того территориально-

⁴⁵ Ramet H., p. 406, 407.

⁴⁶ Wolff Ph., p. 223.

⁴⁷ Ramet H., p. 406, 407.

⁴⁸ Dom Cl. de Vic et J. Vaissète, t. XI, p. 300.

⁴⁹ Ibid., p. 301.

⁵⁰ Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France. Inventaire éd. par Ph. Laurer, t. I. Paris, 1905, p. 161.

⁵¹ Isambert F. A. Recueil général des anciennes lois, t. XIII. Paris, 1830, p. 189—208.

⁵² Wolff Ph., p. 223—224.

го комплекса, который в течение нескольких десятилетий составлял во Франции «государство в государстве» и прекратил свое существование только в 1629 г. Приведенные в статье материалы, дополняя наши сведения о сложной религиозно-идеологической и политической борьбе в Лангедоке в первой половине XVI века, в какой-то мере должны помочь осветить предысторию этих бурных явлений и событий.

ИСТОРИОГРАФИЯ. РЕЦЕНЗИИ

В. В. Самаркин

АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК О ПРИЧИНАХ ОБОСТРЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБЫ В ГОРОДАХ ТОСКАНЫ В XV В.

В мае 1969 г. Центр по изучению средневековья и Ренессанса при Калифорнийском университете (США) под руководством известного исследователя итальянского Возрождения Л. Мартинеса провел симпозиум американских и английских историков, посвященный проблемам социальной борьбы в Италии XIII—XV вв. Среди 13 докладов, вошедших отдельными очерками в недавно вышедшую книгу¹, привлекает внимание работа профессора Висконсинского университета Дэвида Герлихи (David Herlihy) «Некоторые психологические и социальные корни насилия в тосканских городах»².

Д. Герлихи — один из руководителей группы, ведущей в последние годы обработку материалов тосканского Кадастра 1427 г. Кроме него и К. Клапиш (Франция) в нее входят несколько десятков сотрудников и студентов-историков Висконсинского университета и Практической школы Высших знаний (Париж), занятых чрезвычайно трудоемкой работой (материалы Кадастра, хранящиеся в архивах тосканских городов, составляют ок. 360 томов документов), потребовавшей самых современных методов обследования, включая компьютеры. Работа в основном уже завершена, и ее руководители (Д. Герлихи и К. Клапиш) в ряде статей, опубли-

¹ Violence and Civil Disorder in Italian Cities. 1200—1500, ed. Martin L. Berkeley, 1972.

² Herlihy D. Some psychological and social roots of violence in Tuscan cities. — In: Violence and Civil Disorder..., p. 129—154.

кованных в последние годы³, приводят некоторые предварительные результаты этих подсчетов. Ценность данной статьи — в новизне ее фактического материала, впервые введенного в обиход исторической науки.

И еще одно обстоятельство повышает наш интерес к статье Д. Герлихи. Кадастр 1427 г. — одна из наиболее подробных переписей средневековья. В нем сообщается не только об имуществе каждой семьи и дается его оценка, но и приводятся полные сведения о составе семьи: пол, возраст, характер занятий, отношение к главе семьи каждого из ее членов. Это дает возможность исследователю поставить ряд чисто демографических вопросов: продолжительность жизни, соотношение мужского и женского населения, состав семьи и т. п. Использование демографических данных в историческом исследовании — явление относительно новое в средневековье и, естественно, работы такого плана вызывают повышенный интерес — не только в силу новизны фактического материала, но и особенно — с точки зрения методики применения данных исторической демографии в процессе исторического исследования, использования их для решения не только экономических, но и социально-политических, культурно-бытовых и других проблем. Статья построена следующим образом. В первой ее части анализируются высказывания современников (писателей, моралистов, проповедников, политиков) о причинах обострения внутренней обстановки в городах Тосканы XV—XVI вв. и суммируются те обстоятельства, которые, по их мнению, оказали решающее воздействие на усиление общественной борьбы. Во второй части Д. Герлихи иллюстрирует статистико-демографическими данными кадастра выводы авторов той эпохи.

Естественно, читатель испытывает чувство неудовлетворенности. Ведь, если исходить из названия статьи, автор в какой-то степени претендует на решение проблемы *корней*, истоков обострения социальной борьбы в тосканском городе эпохи Возрождения. Между тем он идет не от фактов, а от уже готовых выводов, иллюстрируя их новыми данными. Но правомерно ли смотреть на огромный статистический материал, доставляемый кадастром, с позиций различных идеологов той эпохи, каковые сами требуют объяснения? Такая

³ Herlihy D. Viellir à Florence au Quattrocento. — «Annales: E. S. C.», 1969, N 6; Klapisch C. Fiscalité et démographie en Toscane 1427—1430. — Ibidem; Klapisch C. Household and Family in Tuscany in 1427. — In: Household and family in past time. Cambridge, 1972.

методика, искусственно ограничивающая возможности применения данных исторической демографии, вряд ли может быть признана перспективной.

После этих общих замечаний обратимся к содержанию работы Д. Герлихи. Исходные положения статьи следующие. Автор, как и другие участники семинара, считает, что тосканскому обществу присущи острый накал социальной борьбы, вражда и перманентное состояние насилия (endemic violence). Исследуя многочисленные высказывания Л.-Б. Альберти, Дж. Ботеро, М. Веджио, Дж. Доминичи, М. Пальмиери, Дж. Морелли, А. Чеба и др., Д. Герлихи приводит следующие объяснения происходящим событиям. По мнению современников, на поведение человека решающим образом влияют три группы факторов: наследственность, возраст индивидуума и «социальные» обстоятельства, понимаемые ими в самом широком плане (общественное положение лица и характер его воспитания, размеры его состояния и пр.). До наступления зрелости человек подвержен разным страстям и порокам, общественно неустойчив и поэтому, во избежание дурной наследственности, заводить детей в молодости не рекомендуется («молодость» же разными авторами понимается по-разному: до 25—28—30 лет); лучший возраст отцовства — после 30—35 лет. Однако поздние браки приводят к увеличению числа неженатых молодых людей, а молодежь, с точки зрения современников, самая нестабильная, беспокойная часть общества, именно она образует наиболее благоприятную почву для скандалов и беспорядков, насилий и преступлений. Кроме того, большую роль играет и воспитание молодого поколения: лишенные нередко отцовского надзора и влияния (из-за занятости отцов делами или будучи сиротами), избалованные или неправильно воспитанные матерями, молодые люди отдаются разнообразным страстям, преимущественно порочным. Наконец, поведение лица во многом зависит и от его имущественного положения: имеющие большие возможности и не привыкшие к самоограничению богачи, с одной стороны, и «разнузданная» беднота — с другой, чаще всего участвуют в различных беспорядках; опору общественного порядка и благополучия составляют, по мнению современников, средние слои населения.

Итак, молодость, холостое состояние, порочное воздействие бедности и богатства, «безотцовщина» и избалованность — вот основные истоки конфликтов и беспорядков ренессансного города в Италии.

Материалы кадастра 1427 г., по мнению Д. Герлихи, подтверждают эти наблюдения и выводы современников. Население Флоренции в целом было очень молодым: половина всего населения города была моложе 23 лет. Средний возраст мужчин составлял 26 лет, женщин — 27,3 года. Особенно много молодежи было в самых зажиточных семьях (с оценкой имущества свыше 3200 флоринов) — там средний возраст мужчин был всего около 22 лет. Подавляющее большинство этих молодых людей было неженато: только четвертая часть мужчин в возрасте до 32 лет имели свои семьи. В богатых семьях (с оценкой имущества свыше 1600 флоринов) женатых мужчин в этом возрасте было еще меньше — ок. 17%. Большинство флорентийцев женились, как правило, после 30 лет, поэтому они становились отцами в довольно позднем возрасте: по кадастру средний возраст отцов, у которых в 1427 г. родились дети, составлял ок. 39—40 лет (интересно, что предполагаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до этого возраста, вычисленная по общим данным кадастра, — 17 лет, иными словами, подавляющее большинство отцов умирало до того, как их дети становились достаточно взрослыми). Напротив, женщины выходили замуж очень молодыми, обычно — в 15—16 лет: по данным переписи 85% двадцатилетних женщин уже имели свои семьи. Такая разница в возрасте между супругами (в среднем по городу ок. 13 лет, в зажиточных же домах — от 15 до 16 лет) была причиной относительной недолговечности семей: более половины флорентийских женщин в 50 лет были вдовами. Интересно соотношение мужского и женского населения: в целом по городу коэффициент равен 116 (т. е. 116 мужчин на 100 женщин), а в некоторых случаях он поднимается до необычно высокого уровня; так, в богатых домах в возрастных категориях от 18 до 32 лет он доходит до 158, т. е. здесь на трех юношей приходится всего две девушки их возраста.

Итак, материалы кадастра 1427 г. подтверждают свидетельства современников, что во Флоренции XV века была значительная прослойка неженатой молодежи (особенно в зажиточных семьях), лишенной условий нормального воспитания («безотцовщина»), морально и социально неустойчивой, подверженной разным влияниям (правда, не обязательно, как нас стараются убедить вслед за моралистами автор, дурным: тяжелые условия детства, ранняя ответственность, нередко, как известно, способствуют более быстрому возмужанию юношества). В целом эти наблюдения объективно

обоснованы. Несогласие с Д. Герлихи возникает с того момента, когда он начинает выяснять роль и место установленных современниками обстоятельств в ряду причин обострения социальной борьбы в итальянском городе XV века. Автор оговаривает, что он выбирает лишь некоторые — психологические и социальные — аспекты беспорядков (*iurigi et tumori*). Но основное внимание он уделяет именно вышеприведенным «психологическим» (возрастным, моральным, воспитательным, сексуальным и пр.) мотивам, оставляя за социальными лишь роль фона, косвенно действующего фактора, в лучшем случае — одной из многих равнодействующих сил. Он пишет: «Некоторые из указанных современниками факторов, такие, как например, молоко... кормилиц, полностью отбрасываются (или, скажем, не считаются достойными доверия) современными историками. Но мы не можем легко отбросить те причины, на которых наши авторы особенно настаивают — возраст, состояние в браке, социальное положение, образ жизни и воспитание. Между тем статистические источники того времени позволяют исследовать с большой точностью истинную численность и социальный вес тех групп, которые они обвиняют в склонности к насилию. Это — молодежь, холостяки, самые богатые и самые бедные, плоды дурного воспитания...»⁴. Не случайно поэтому Д. Герлихи, рассматривая распри и столкновения во Флоренции, Пистойе и других тосканских городах XIV—XV вв., сосредоточивает внимание на том, что большинство их начиналось со спортивной молодежи, а многими из них руководили молодые холостые представители знатных семей. В результате, хочет или не хочет этого автор, он подменяет (несмотря на оговорки) социально-экономическую подоплеку этой борьбы моментами второстепенными, «психологическими», по его терминологии.

Между тем материалы кадастра рисуют чрезвычайно яркую картину социального неравенства в тосканских городах. По данным самого Герлихи, во Флоренции 1/4 учтенного при переписи имущества горожан принадлежала одному проценту городских семей⁵. Сходная картина наблюдалась и в других городах. Во втором по значению центре Тосканы — Пизе девять семей (из 1752, т. е. чуть больше полупроцента) также

⁴ Violence and Civil Disorder..., p. 142.

⁵ Ibid, p. 151.

обладали четвертью городского имущества⁶. В Пистойе 10% городского населения владели 60% городского богатства⁷. Соответственно велика была полярная прослойка горожан — *miserabili*, т. е. людей, не имевших никакого имущества. Во Флоренции она составляла 15⁸, Пизе — 17⁹, а в Пистойе даже 30%¹⁰ от всего населения. Однако, как выяснил Дж. Керубини¹¹, в разряд *miserabili* обычно зачислялись те семьи, которые не имели реального «кормильца» (вдовы с детьми, престарелые бездетные супружеские пары, бобыли преклонного возраста, больные и т. п.), т. е. семьи, которые не только не имели имущества, но и не могли обеспечить себе пропитание каким-либо заработком. В действительности же категория лиц, не имеющих достаточных средств для существования, была гораздо многочисленнее. По официальным данным (цифра, из которой исходили составители кадастра), прожиточный минимум одного человека могло обеспечить имущество (движимое или недвижимое), оцениваемое от 50 (Пиза, Пистойя) до 200 флоринов (Флоренция). Таким образом, если мы возьмем в качестве рубежа бедности семьи с имуществом до 100 (Пиза) и 400 (Флоренция) флоринов, то очевидно, что жизненный уровень этих семей будет значительно ниже официального прожиточного минимума (средний состав семьи для этих имущественных категорий во Флоренции от 2,4 до 2,8 чел.; в целом же по городу семьи состояли в среднем в Пизе из 4,4 чел., во Флоренции из 3,8 чел.¹²). Число таких малоимущих семей (*poverti*) было огромным: вместе с *miserabili* они составляли во Флоренции 68,9%, в Пизе — 68,2% от общего числа семейств. Иными словами, более 2/3 населения тосканского города составляли неимущие и мало-

⁶ *Cherubini G. Pisani ricchi e pisani poveri nel terzo decennio del Quattrocento.* — «Rivista di storia dell'agricoltura», 1968, N 3, p. 275.

⁷ *Herlihy D. Medieval and Renaissance Pistoia.* New Haven, 1967, p. 188.

⁸ *Violence and Civil Disorder...*, p. 151.

⁹ *Casini B. Aspetti della vita economica e sociale di Pisa dal Catasto del 1428—1429.* Pisa, 1965, p. 78.

¹⁰ *Herlihy D. Medieval and Renaissance Pistoia*, p. 188.

¹¹ *Cherubini G. Op. cit.*

¹² *Klapisch C. Household...*, p. 275. Из этих цифр видно, что имущественный рубеж, а следовательно, и количество малоимущих семей значительно занижены; в действительности их было гораздо больше.

имущие низы (*miserabili* и *poveri*)¹³. И совершенно очевидно, что именно в этой социальной структуре тосканского города заложены корни «насилий и беспорядков», присущих ренессансной Италии.

Невнимание к этим важнейшим моментам, от которых в огромной степени зависела сама демографическая динамика, обнажает коренные недостатки предлагаемой Д. Герлихи методики применения данных демографии в историческом исследовании. Ряд наблюдений автора вызывает определенный интерес. Так, он объясняет распространенность семейных «*Ricordi*» тем, что большинство отцов не имело реальной возможности довести своих детей до зрелого возраста, и эти записи представляли собой своеобразное завещание, которое должно было помочь вступающему в самостоятельную жизнь сыну. Длительность добрачного состояния мужчин определяет, по его мнению, расцвет проституции в городах этого времени. Связь демографических факторов и морали проявляется и в отношении к дочерям — их стремятся поскорее выдать замуж или отдать в монастырь. Однако эти наблюдения касаются преимущественно «психологических» аспектов темы; когда же автор переходит к «социальным» ее аспектам, то он лишь иллюстрирует демографическими данными суждения авторов XV—XVI вв. Вслед за ними он говорит о «недисциплинированности» и «склонности к авантюрам» как богачей, так и бедноты, игнорируя более глубокие мотивы общественных конфликтов. Вслед за ними же он подчеркивает «устойчивость» средних слоев города и разделяет сомнительную «теорию» о том, что в крупных городах средние слои составляли большую часть населения, чем в мелких, и посему социальные столкновения во Флоренции, например, достигали меньшего накала, чем в соседних мелких городах.

В итоге предвзятая тенденция в значительной степени обесценивает богатый демографический материал источника.

¹³ Этого вывода не меняет и то обстоятельство, что часть членов семей *poveri* могли заниматься дополнительными приработками: по единодушному мнению исследователей, даже квалифицированный ремесленник не мог обеспечить семью своим трудом (в Пизе, например, где было зарегистрировано более 150 профессий, только три — цирюльники, краснодеревщики и каменщики — давали заработок, достаточный для содержания семьи (*Casini B. Op. cit.*, p. 20—21; *Cherubini G. Op. cit.*, p. 274).

В. А. Постников

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (по поводу двух монографий)

История Возрождения привлекает к себе внимание ученых самых различных специальностей: искусствоведов, историков культуры, специалистов в областях социальных и экономических отношений.

Из двух монографий, которые мы намерены рассмотреть, развитию искусства специально посвящена только одна, но в обеих, по сути дела, центральным вопросом является социальная обусловленность культуры Возрождения. Уже это обстоятельство делает данные работы не совсем обычным явлением в западной исторической литературе. Видимо, сказались интерес авторов к марксизму, усилившийся среди значительной части западной интеллигенции после Второй мировой войны под влиянием успехов социализма. Во всяком случае, попытка материалистического подхода к историко-культурным явлениям делает эти работы особенно интересными. Следует отметить, что обе монографии так и не получили основательного критического рассмотрения в буржуазной исторической науке и прошли почти незамеченными в нашей.

Книга английского (ныне покойного) ученого Фредерика Антала «Флорентийская живопись и ее социальные предпосылки» вышла в Лондоне в 1947 году¹. Антал был учеником знаменитого венского искусствоведа, знатока Ренессанса, Макса Дворжака. «Всемирная энциклопедия искусства» характеризует Антала как ученого, близкого по своим взглядам к марксизму².

Попытаемся сжато проследить основные исходные посылки, пути построения и выводы Антала в интересующей нас работе. Прежде всего, выявляя во флорентийской живописи XIV—XV веков сосуществование различных художественных школ, автор решительно утверждает, что это не может быть объяснено ни внешним влиянием других художественных направ-

¹ *Antal F. Florentine Painting and its Social Background. L., 1947* (388 p., 160 pl.).

² *Enciclopedia of World Art. V. 7. L., 1963, p. 534.*

лений, ни сменой поколений творцов этой живописи. Объяснения надо искать в жизни самой Флоренции той эпохи (с. 9).

Всякий художник творит по заказу общества, которое не составляет единого целого, а состоит из различных, зачастую антагонистических слоев (с. 4). Воззрения художников обычно подчинены воззрениям их патронов, заказчиков, той среды, из которой они происходят. В конечном счете, художник является лишь рупором воззрений определенного, зачастую весьма узкого социального слоя, в полном идеологическом подчинении у которого он находится. Поэтому нельзя анализировать творчество того или иного мастера, той или иной художественной школы, не выяснив, с одной стороны, чьи воззрения они отражали в своем искусстве, и не проследив, с другой стороны, как складывались подобные воззрения среди определенной части общества. Следовательно, необходимо прежде всего изучить экономическую и политическую структуру данного общества, определить в ней место основных социальных слоев.

Исходя из этой посылки, Антал отводит первые две главы своей работы весьма подробному анализу фактов политической, социальной и экономической истории ренессансной Флоренции, приводя интереснейшие, зачастую малоизвестные факты. Так, анализ экономической жизни Флоренции XIV—XV веков Антал проводит на основе богатейших данных о состоянии сукноделия, хлеботорговли и банковского дела. Тщательно рассматривается изменение цен на сукно на протяжении XIV века, вопрос о кредитовании папской курии и светских государей флорентийскими банкирами, средний доход с различных кредитных операций, монетарная политика государства и множество других деталей экономической жизни Флоренции, что не столь уж часто встречается в работах, посвященных проблемам искусствоведения. В итоге автор приходит к выводу о существовании во Флоренции раннекапиталистических отношений, о том, что место цеховых ремесленников в XIV веке занимают капиталисты-предприниматели, организаторы крупного производства, с одной стороны и наемные рабочие — с другой. Для Флоренции этой эпохи, по мнению Антала, характерны все противоречия развитого буржуазного общества.

Эти противоречия прежде всего проявляются в области политики и политической идеологии, которые автор анализирует очень тщательно. Он начинает с социально-политических учений XIII—XIV веков, разбирая сначала политическую док-

трину церкви, уделяя особое внимание взглядам Фомы Аквинского, а затем останавливаясь на взглядах Джованни Доминичи, впоследствии кардинала, его ученика Антонина, архиепископа Флорентийского, известного комментатора Фомы, Бернардино Сиенского (1380—1444), фра Ремигио де Джиролами (1235—1319), Птолемея из Лукки (1236—1326) и показывая, как постепенно изменяются ортодоксальные взгляды на социально-политическое устройство общества.

Особое место уделено рассмотрению сравнительно малоизученных социально-политических и экономических взглядов таких догуманистических светских мыслителей, как Марсилиус Падуанский, Бартоло да Сассоферрато, Джованни Виллани, Франческо Пеголотти. Наконец, рассматриваются политические идеи таких гуманистов, как Петрарка, Боккаччо, Салютаи; Бруни, Никколи, Траверсари, Браччолини.

На основании анализа как политических теорий, так и фактов флорентийской истории Антал приходит к выводу, что Флоренция XIV—XV веков лишь формально может быть отнесена к демократическим республикам, а фактически ее строй приближался в то время к венецианскому, т. е. реальные политические права принадлежали лишь богатейшему меньшинству. Изменяется само понятие свободы: свобода от феодального гнета подменяется «свободой» для крупной буржуазии, особенно для группы Медичи (с. 45). Таким образом, позиции буржуазии противостоят позициям широких народных масс в экономике и в политике, а следовательно, в идеологии и в искусстве.

Здесь, видимо, стоит пожалеть, что Антал в своем исследовании ограничился лишь материалом XIV—XV веков, а не обратился к XVI веку, когда один из самых блестящих мыслителей и политиков Италии, Франческо Гвиччардини, в своем «Диалоге об управлении Флоренцией» говорил о строе, подобном венецианскому, как о неосуществимом, а возможно, и нежелательном в условиях Флоренции политическом идеале, а в «Заметках о делах политических и гражданских» неоднократно упрекал семейство Медичи в чрезмерном республиканизме и сохранении слишком широкой демократии для народа.

Вернемся, однако, к рассматриваемой монографии. Как полагает ее автор, именно противоположность позиций широких народных масс и верхушки буржуазии явилась фактором, определившим содержание идеологии всех социальных групп населения Флоренции. Вторым фактором было влияние церк-

ви, неравное в различных общественных слоях. Степень независимости от церкви и ее идеологии была важнейшим показателем мощи той или иной группы, новизны и революционности ее идеологии.

Ярко выраженные антиклерикальные позиции занимал, по мнению Антала, лишь высший слой буржуазии — *upper middle class*, или *upper bourgeoisie*, по его выражению. Этот слой с необходимостью стремился к рационализму, к познанию реальных связей материального мира. Поэтому лучшие мастера эпохи, в творчестве которых впервые появляются элементы реализма, — Джотто, Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Гиберти — обслуживают исключительно высшую буржуазию (с. 117—118)³. Однако высшая буржуазия тесно связана с папской курией, прежде всего через кредитные операции. Поэтому ее позиция непоследовательна, в ней имеются элементы церковно-схоластических воззрений. В подтверждение этого мнения приводятся выдержки из рекомендаций флорентийского купца Джованни Морелли своему сыну по поводу того, что следует читать. В списке значатся Библия, Боэций, Аристотель, Сенека, Вергилий и Данте. Античные авторы, приведенные в этом списке, либо признавались церковью, как Аристотель или Вергилий, аллегорически-христианские толкования которого были довольно широко распространены в те времена, либо, как Боэций и Сенека, признавались своеобразным дополнением к церковной философии. Что же касается Данте, то мотивы христианской мифологии занимали, как известно, весьма значительное место в его творчестве. Вот такой компромисс между Библией и Вергилием, притом христиански истолкованным, Антал считает довольно характерным для идеологии флорентийской буржуазии (с. 107). Позволим себе заметить, что для любой другой страны Европы середины XIV века фигура купца, который рекомендует сыну для обязательного чтения Вергилия и Сенеку, едва ли выглядела бы компромиссной. По мнению же Антала, это компромисс, который объясняет некоторую неустойчивость идеологических позиций крупной буржуазии: ведь даже художники, в чьем творчестве проявляются с наибольшей силой элементы реализма, зачастую берут для своих картин библейские сюжеты.

³ «Отсюда идет рационализм, который автор усматривает в искусстве... мастеров. Можно подумать, что духовный мир и творчество каждого из них не заключали в себе ничего иного» (Алпатов М. В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 1976, с. 14).

Что касается остальных классов и групп флорентийского общества, то их позиции резко отличаются от хотя и непоследовательных, но все же в значительной степени антиклерикальных позиций крупной буржуазии. Уже на среднюю буржуазию — *low middle class* — оказывают существенное влияние церковно-схоластические воззрения. И в изобразительном искусстве позицию *lower sections* выражают художники, в чьем творчестве заметен отход от реализма, христианский спиритуализм. Мелкая же буржуазия — *petty bourgeoisie* — и наемные рабочие вообще не вырабатывают собственной идеологии. Выражением их чаяний целиком и полностью является сфера религии (с. 66). Именно религиозное чувство определяет отражение их мировоззрения в искусстве.

Материал, посвященный собственно истории искусства, делится автором сначала на две большие части: «Религиозная живопись» и «Светская живопись» — подразделение, впрочем, довольно условное, ибо в религиозных сюжетах зачастую находили выражение, по мнению самого же автора, весьма светские чувства и устремления. Далее внутри каждой из этих больших частей выявляются наиболее распространенные сюжеты: для религиозного искусства это Христос и Мария, сцены из житий святых, из Ветхого и Нового завета, а для светского — сюжеты богатой яркими событиями итальянской истории, «Божественной комедии», «Декамерона», сцены из истории семьи заказчика и т. д. Кроме того, рассматриваются отдельные виды живописных работ: фрески, станковая живопись, миниатюры, даже роспись на больших домашних сундуках — *assoni*. Получают свою краткую характеристику крупнейшие достижения архитектуры и скульптуры рассматриваемого периода.

Антал внимательнейшим образом анализирует то стилистическое выражение, которое перечисленные сюжеты получают в отдельных фресках, станковых работах, миниатюрах различных художников, начиная с Джотто и Мазаччо и кончая такими малоизвестными авторами, как Герардо Старнина, Никколо Герини, Андреа ди Джусто или Биччи да Лоренцо. Рассматриваются также наиболее яркие образцы творчества миниатюристов и даже рыночных ремесленников, расписывавших *assoni*. Таким способом отдельно изучается живопись XIV века и отдельно — начала XV века. Каждой части предшествует небольшое введение, в котором еще раз рассматриваются идейные позиции высшей буржуазии, с одной

стороны, и всех остальных социальных слоев — с другой. Заключается каждая часть небольшим разделом, в котором рассматривается социальная позиция самих художников, а также современные им теории искусства.

Весь этот огромный и — не преувеличивая — ценнейший материал призван еще раз подтвердить главную мысль автора: ренессансное флорентийское общество было ареной идеологической конфронтации между антифеодальной, светской и рационалистической идеологией верхушки буржуазии и традиционной, религиозно окрашенной, не способной подняться до реализма культурой широких народных масс. Частным проявлением этой конфронтации является борьба направлений в изобразительном искусстве, где каждый художник выражает позицию вполне узкого социального слоя. По существу, перед нами цельная концепция развития всей культуры итальянского Возрождения.

Однако в рамках этой концепции довольно трудно ответить на некоторые вопросы, возникающие у читателя. Причем на эти вопросы наталкивает сам материал, приведенный автором монографии. Например, если именно мастера религиозного направления выражали суть идеологии народных масс, то откуда возникает широчайшая популярность Джотто и Мазаччо, Гиберти и Донателло, в то время как многочисленные мастера, работавшие в традиционной религиозной манере, так и остались едва известными, если не вовсе безымянными фигурами? И, с другой стороны, почему мелкие ремесленники, чьи надежды, чаяния и интересы, по Анталу, ограничивались целиком религиозной областью, расписывали свои дешевые, рассчитанные на широкого потребителя рыночные изделия античными мифологическими и любовными историями, сценами из «Декамерона» и других светских произведений, т. е. сюжетами, от религии не только далекими, но зачастую и прямо осуждавшимися ею (и при этом демонстрировали неплохое знание этих весьма далеких от религии сюжетов)? Почему рядовой купец заставляет сына читать Вергилия и Данте, а не «Сумму против язычников» Фомы Аквинского и не «Золотую легенду»? Почему в произведениях Джотто, Мазаччо, Гирландайо, Боккаччо столько простонародных сцен, типов, ситуаций? Откуда столь полное отсутствие элитаризма у авторов, связанных, по мнению Антала, исключительно с высшей буржуазией? Почему крупнейшие политические деятели Флоренции рассматриваемого периода Салютати и Бруни, выдающиеся гуманисты, канцлеры респуб-

лики, т. е. люди, и по взглядам, и по положению в обществе теснейшим образом связанные с буржуазной верхушкой Флоренции, оба — последовательные сторонники республики и весьма широкой, по тогдашним понятиям, демократии? Ведь, по мнению автора, свобода в ту пору — лишь фикция, а буржуазия столь же далека от народа, как и в развитом буржуазном обществе. Конкретный материал, приводимый Анталом, явно не удается уложить каждый раз в рамки одного-единственного узенького слоя. В эти рамки не укладываются ни «простонародные» пристрастия образованнейших гуманистов своего времени, ни те образцы высокой культуры, которые, подобно творениям Джотто, Гиберти, Донателло, Брунеллески, а позднее Вероккьо и Микельанджело, выставлялись в самых посещаемых церквях, на самых людных площадях, а не прятались от «презренной черни» в безлюдье дворцов. Концепция Антала при всей своей «социальности» этих явлений объяснить не может. Нам представляется, что ключ к пониманию своеобразия этих противоречивых идеологических явлений дает мысль Ф. Энгельса: «...В общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени...»⁴. Действительно, свобода от феодального гнета того времени, за которую буржуазия должна была бороться в союзе со всеми трудящимися классами, ничуть не менее ее заинтересованными в своем освобождении, — эта свобода рисовалась свободой для *всех* угнетенных. Именно поэтому гуманистический идеал Возрождения, явившийся высшим культурно-идеологическим достижением этой революционной эпохи, предстает перед нами как общий идеал всех антифеодальных сил, а не как узкоклассовый идеал своеобразной верхушки буржуазии. Вот почему, по меткому наблюдению Ф. Энгельса, «люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными»⁵. В условиях постоянной антифеодальной борьбы, которую вела ранняя буржуазия на протяжении всей той эпохи, ее идеология не могла быть антитезой идеологии широких народных масс, напротив, она включала и должна была включать в себя многие народные элементы и устремления. Поэтому она не могла не быть внутренне противоречивой. Не случайно даже у некото-

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 17.

⁵ Там же, с. 346.

рых ранних гуманистов, наряду с выступлениями в защиту свободы, встречаются иногда антидемократические выпады. Когда же в XVI веке противоречия между буржуазией и народом выходят на первый план, гуманизм гибнет. И проявляется это как раз в победе того идеологического течения, которое отражало интересы и настроения «высшей буржуазии». Быть может, некоторые идеи Антала оказались бы плодотворнее, приложи он их к позднему Возрождению.

В целом можно сказать, что недостаток историзма, явная модернизация отношений ранне-буржуазного общества резко снижают ценность этого очень содержательного исследования, делают его одним из вариантов упрощенной «экономико-материалистической концепции» Возрождения.

В отличие от Антала, автор другой рассматриваемой нами работы «Социальный мир флорентийских гуманистов» Лауро Мартинес⁶ — не искусствовед. Вообще культура Возрождения, ее гуманистические идеи мало занимают этого автора. Нуждаясь в определении гуманизма, он некритически заимствует его у известного американского историка П. О. Кристеллера⁷, и в качестве дефиниции включает в свою работу: гуманизм — это «общая тенденция эпохи придавать величайшую важность классическим штудиям и рассматривать классическую древность как всеобщее мерило и образец, согласно которому направляется вся культурная деятельность». Мартинеса интересует не сам гуманизм, а «связь между гуманизмом и гуманистами, с одной стороны и флорентийским обществом, с другой» (с. 13). Отсюда и постановка вопроса: «о связи между гуманистами и доминирующим социальным слоем» (там же). Этим доминирующим слоем автор считает верхушку буржуазии. При этом речь идет не об идейных связях гуманистов с господствующим классом, а о финансовых, родственных, служебных связях некоторых частных лиц. Именно с этой точки зрения изучается круг флорентийских гуманистов XIV—XV веков, причем отдельно и подробно рассматриваются биографии Салютати, Бруни, Поджо, Альберти и других. Анализом их философских, научных, политических взглядов автор не занимается. Его интересует положение этих людей в современном им обществе. Однако подход к разрешению этой проблемы у Мартинеса необычен.

⁶ *Martines L. The Social World of the Florentine Humanists. Princeton (N. J.), 1963 (419 p.).*

⁷ *Kristeller P. O. Studies in Renaissance Thought and Letters. Rome, 1956, p. 557. & Martines L. Op. cit., p. 9.*

Все документальные источники эпохи, считает Мартинес, свидетельствуют, что для завоевания видного положения во флорентийском обществе XV века необходимы были следующие четыре фактора: «честно приобретенное богатство, хороший послужной список в муниципальном учреждении, происхождение из старинной флорентийской семьи и брачные связи с другой семьей того же экономического и социального положения» (с. 18). При этом главенствующую роль играл экономический фактор, т. е. богатство; наличие крупного состояния определяло наличие (или отсутствие) всех остальных факторов (там же).

Под этим углом зрения Мартинес исследует документы из флорентийского и сиенского государственных архивов, различные документальные публикации, материалы рукописных фондов итальянских библиотек, архивы крупнейших флорентийских цехов «Сета» и «Лана», хроники, дневники современников, переписку частных лиц, юридические документы. Цель состоит в том, чтобы доказать, что гуманисты — это, как правило, люди со значительным личным состоянием или же с большими доходами от службы. Именно это сближает между собой «любителей» — богатых людей, увлеченных гуманистической образованностью, и «профессионалов» — высокооплачиваемых ученых и политиков, известных своими гуманистическими взглядами (с. 14).

С этих позиций изучается личная жизнь крупнейших гуманистов. Кратко, но очень документированно описывается их происхождение, служебная карьера, брачные и родственные связи, а главное — рост их личного богатства, значительность которого всячески подчеркивается автором. На основании приведенного материала Мартинес приходит к заключению: «За некоторыми исключениями люди, увлеченные гуманизмом, были выходцами из правящих групп общества — крупнейших банкиров и купцов, чиновничества, служащей интеллигенции. Даже те люди, кто составлял исключение, в большинстве скоро пролагали дорогу в эти круги» (с. 270). Социальное положение гуманистов, по мнению автора, вполне проясняет классовые корни гуманизма как культурного явления: «Их (гуманистов) социальная природа показывает, почему гуманизм пришел к преобладанию в литературной культуре Флоренции XV столетия... Сила гуманизма во флорентийском обществе была замаскированной силой правящего класса. Взаимосвязанный со знатью (*noblemen*) знаменитыми канцлерами и крупнейшей буржуазией, как мог он

не разделять их социальных вожделиний? Как мог не развиться во влиятельную общественную силу?» (там же).

Поскольку гуманизм — идеология и культура представителей только высших слоев общества, он, естественно, не может быть доступен сколько-нибудь широким массам: «Культура образованных государственных деятелей и богатых купцов, юристов и рантье, крупнейшего духовенства — гуманизм был окружен вожделинием и восхищением. Он отождествлялся с положением, властью и хорошим происхождением. *Studia humanitatis* должна была, следовательно, производиться на современников впечатление трудной и дорогостоящей для изучения и, возможно, более всего подходящей для немногих избранных» (с. 270—271).

Приняв эту точку зрения, нетрудно найти приверженцев гуманизма: достаточно взять налоговые документы за определенный период и установить, кто платил самые большие налоги с имущества и доходов. Очевидно, что первые 100—150 крупнейших налогоплательщиков, т. е. самых состоятельных людей, и окажутся гуманистами. Этим методом и пользуется Мартинес (см. Приложение II к рассматриваемой работе — с. 351—378.) С помощью приводимых в приложении списков налогоплательщиков можно даже, продолжая методику автора, найти тот нижний предел личного состояния, за которым человек перестает быть гуманистом. Так, для первой половины XV века, по-видимому, требовалось владеть не менее чем 1350 флоринами для того, чтобы быть гуманистом или, по крайней мере, разделять гуманистические взгляды. Конечно же, живая история великих творцов гуманистической идеологии не укладывается в это роскошное прокрустово ложе. Но независимо от этого напрашивается вопрос: что дает науке взгляд на культуру с позиций налогового инспектора? Как замечает Л. М. Баткин, «социальный мир» гуманистов все же не тождественен социальному миру гуманизма, быть может, это мир, к которому непосредственно принадлежали гуманисты, «но взятый за вычетом их самих и того, что они меняли в нем своим существованием»⁸. Спору нет, трудно найти в современной исторической литературе более законченную концепцию культурного элитаризма Возрождения, чем у Мартинеса, но может ли быть верной картина, если гуманисты рассматриваются вне гуманизма?

⁸ Баткин Л. М. О социальных предпосылках Итальянского Возрождения. — В кн.: Проблемы итальянской истории. 1975. М., 1975, с. 250.

Вместе с тем, если гуманизм — культура, «более всего подходящая для немногих избранных», то что же представляется автору культурой широких народных масс? На этот вопрос Мартинес не дает ответа ни одной строкой своего объемистого сочинения. Если Ф. Антала народная культура, как он ее понимает, живо интересуется и вызывает у него сочувствие, то для Мартинеса, по-видимому, народ в культурном отношении просто бесплоден.

Однако при всех различиях Антал и Мартинес сходятся в главном: оба считают гуманизм культурой элитарной, хотя первому она представлялась таковой лишь в самых сильных ее проявлениях, а второй считает ее целиком и полностью принадлежащей немногим избранным. Если Анталу Возрождения в Италии и в частности во Флоренции существовало несколько культур, из которых лишь одна являлась гуманизмом в подлинном смысле этого слова, а остальные лишь различными переходными ступенями между феодально-церковной идеологией и гуманизмом, то Мартинес пытается не только доказать монополию крупнейшей буржуазии на гуманизм, но даже представить этот социальный слой единственным творцом всякой культуры.

Но почему при всех различиях исходного материала и методики исследования оказываются сходными работы этих двух авторов? По-видимому, дело в определенной общности их методологической позиции. Корни идеологических и культурных явлений они стараются отыскать в социально-экономической сфере, и это придает их работам (особенно Антала) несомненную ценность и интерес. Но представление о жесткой взаимосвязанности каждого творца гуманистической культуры с определенным узким социальным слоем и о непосредственном отражении в его творчестве интересов данного слоя или даже отдельной группировки, характерные для их работ, заставляют думать, что сложный вопрос о соотношении базиса и надстройки решается ими механистически. Уместно вспомнить, что еще А. В. Луначарский решительно возражал тем исследователям Возрождения, которые «пытаются непременно найти один определенный класс, защитником которого тот или иной мыслитель являлся»⁹. По-видимому, сказанное в еще большей степени можно отнести к художникам Возрождения.

⁹ Луначарский А. В. История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах. — Собр. соч., т. 4, с. 86—87.

Идейным принципом, более или менее присущим обоим авторам, является элитаризм. Это, видимо, следует объяснить модернизацией, протекающей из неисторического подхода к изучаемому объекту: на раннекапиталистическую эпоху, принципиально отличную от эпохи развитого капитализма, когда только поднимающаяся буржуазия победила еще не полностью, лишь в отдельных городских центрах Италии, и вынуждена была постоянно бороться против сил феодального окружения, а значит насущно нуждалась в поддержке народных масс, — механически переносятся все противоречия зрелого капитализма (Л. Мартинес, в частности, не учитывает, что в этих условиях само буржуазное богатство было объективно антифеодальной силой). Отсюда недооценка революционной роли культуры Возрождения и идеологии гуманизма, игнорирование двигавших ею могучих антифеодальных народных импульсов.

Между тем именно итальянское Возрождение чаще и громче говорило от лица всего человечества, чем любая из предшествующих эпох, и создало великое множество памятников общечеловеческой ценности, что вряд ли могло быть возможно, будь оно порождением лишь узкой, недолго существовавшей социальной группой, далекой от народа.

Как нам кажется, некоторые черты аналогичной методологии можно проследить и в ряде других работ. Почти прямо цитирует Антала как бесспорный авторитет, особенно там, где это касается постановки проблемы соотношения общественных процессов и культурных явлений, другой крупный искусствовед — Арнольд Хаузер¹⁰. К сходным с Анталом и Мартинесом выводам о социальной базе культуры и искусства Возрождения приходит и венгерский историк искусства Дьюла Ласло¹¹.

Каковы бы ни были субъективные устремления авторов, сжато очерченная выше методология не может быть признана научно-материалистической. Она скорее напоминает экономический материализм, отрицающий сложную опосредованность связей между базисом и надстройкой данного общества, чуждый диалектики и историзма. Это резко снижает ценность содержательных и даже талантливых работ такого рода, ведет к ложному истолкованию действительной социальной обусловленности данных идейных и культурных яв-

¹⁰ Hauser A. Social History of World Art. V. 1—2. L., 1951.

¹¹ Ласло Д. Боттичелли. Будапешт, 1962.

лений. Естественно, что это делает безуспешными попытки авторов решить вопрос о соотношении народности и буржуазности в культуре Возрождения.

Несомненная противоречивость и в то же время внутреннее единство этой культуры и ее идеологии требуют совсем иного подхода. Ведь создание, существование и, наконец, в позднем Возрождении, — разрушение этого единства, победа собственно буржуазной идеологии знаменуют собой различные этапы развития, а затем и гибели гуманизма, между тем как у Антала и Мартинеса гуманизм неподвижен, раз и навсегда задан. И в этом отсутствии динамизма, внутреннего диалектического движения — еще один существенный методологический недостаток бегло рассмотренных нами двух интересных, ценных работ.

ПРАВО г. ФРЕЙБУРГА (в Брейсгау)

1. Древнейшая часть (1120 г.)

Да будет ведомо всем, как будущим, так и ныне сущим, что я, Конрад, в 1120 году в [некоем] месте, именуемом Фрейбург (Friburg), принадлежащем мне по праву частной собственности, учредил рынок. Оный рынок положил я начать и использовать купцам, каковых отовсюду созвало некое сообщество (coniuratione). Затем я предоставил каждому купцу место на том рынке для постройки их домов по праву частной собственности и от каждого участка определил 1 солид общепринятой монетой в качестве ежегодного чинша, уплачиваемого в праздник св. Мартина мне и моим наследникам. Каждый из домовых участков будет иметь в длину 100 футов, в ширину 50. Также пусть будет ведомо всем, что эти привилегии, каковые следуют ниже, я предоставил согласно их просьбе и желанию. И мне угодно, если эта грамота будет подписана и скреплена [печатью], чтобы мои купцы и их наследники эту привилегию навечно держали от меня и наследников моих.

1. Я обещаю мир и безопасность в пределах моей власти и владений всем прибывающим любыми путями на мой рынок. Если кто-либо из них будет ограблен на этой территории и назовет грабителя, я или заставлю вернуть награбленное, или уплачу сам.

2. Если кто-либо из моих горожан (burgensium) умрет, супруга его с детьми своими будет владеть всем и без всякого возражения получит [все], что бы муж ее ни оставил. Если же кто скончается, не оставив ни жены, ни детей, без законного наследника, все, чем он владел, перейдет на год под власть и надзор двадцати четверем присяжным рынка

(coniuratores fori, в редакции 1200 г. — «консулам») с той целью, чтобы, если кто-либо потребует от них наследство по праву наследника, то получит его по праву своему и будет владеть им. Если же, паче чаяния, никакой наследник не потребует того, что находилось под их надзором, то первая треть будет роздана беднякам на помин души усопшего, вторая будет передана на строительство (в редакции 1200 г. — «на укрепление») города и для украшения его храма, третья поступит герцогу.

3. Всем купцам (по редакции 1200 г. — «всем горожанам») я уступаю торговую пошлину.

4. Никогда я не назначу моим горожанам другого фогта, никогда — другого священника, но кого для этого изберут, то-го и будут иметь после моего утверждения.

5. Если возникнет какая-либо распря или спор среди моих горожан, то он будет устранен не по произволу моему или управителя их (rectoris eorum), но будет разрешен по местным обычаям и по законному праву всех купцов, более же всего по закону кельнских купцов.

Итак, дабы мои горожане не утратили веру в вышеизложенные обещания, я с двенадцатью именнейшими из моих министерялов, поклявшись на святая святых, дал гарантию, что я и наследники мои будут вечно исполнять то, что выше сказано. И дабы я сам не нарушил эту клятву по какой-либо нужде, я добровольно подал мою правую руку свободному человеку и присяжным рынка (libero homini et coniugatoribus fori). Аминь.

II. Дополнения, внесенные в текст права между 1120 и 1178 гг.

6. Если кого заставит крайняя нужда, он может продать свое имущество, кому пожелает.

7. Если кто на собственном участке (in propria hereda) причинит кому-либо насилие, то, какой бы вред он ему ни причинил, тот пусть уйдет без всякого удовлетворения.

8. Если кто в стенах города (infra urbem) нарушит мир города, то есть если во гневе кого-либо окровавит и тяжело ранит и будет уличен, лишится руки; если же убьет, будет обезглавлен. Если же убежит и не будет схвачен, его дом пусть будет разрушен до основания, [надворные] же постройки пусть в течение года остаются невредимыми. По прошествии года его наследники, если пожелают, могут восстановить разрушенный дом и свободно им владеть, уплатив однако пред-

варительно герцогу 60 солидов. Виновный же, когда бы он ни был схвачен в городе, подлежит названной каре.

9. Если герцог идет в императорский поход, слуга его на рынке (*in publico foro*) может взять с каждого сапожника (*sutorem*) для нужд герцога столько сапог, сколько пожелает, кроме лучшей пары [сапог] (*post primos meliores*). Подобным же образом и с каждого заготовщика сапог (*incisores caligarum*), кроме лучшей пары может быть столько заготовок сапог, сколько пожелает.

10. Всякая жена наследует мужу и — наоборот.

11. Также всякий, кто придет в это место, свободно останется здесь, если он не чей-нибудь серв и не признает [над собой] господина. Серва же господин либо оставит в городе, либо уведет, если пожелает. Если же серв будет отрицать свою принадлежность господину, пусть господин перед лицом герцога свидетельством семи ближайших родственников докажет, что тот — его серв, и тогда пусть владеет им. (По редакции 1200 г.: «Кто в этом городе проживет год и день, никем не взысканный как серв, не заботясь о прочем, да возрадуется свободе»).

12. Когда возникнет ссора, если вооруженный человек явится туда случайно, он наказанию не подвергается. Если же он вернется домой и принесет оружие, и это будет доказано, он лишится защиты герцога (*gratiam ducis amisit*).

13. Пусть никто из людей или министериалов герцога или кто-нибудь из рыцарей не будет проживать в городе, иначе как с общего согласия и по воле всех горожан (*nisi ex communi consensu omnium urbanorum et voluntate*).

14. Никакой чужак не может выступать свидетелем против горожанина, но только горожанин против горожанина, и всякое свидетельство должно быть дано двумя законными лицами, которые видели и слышали (*de visu et auditu*).

15. Если горожане — друзья (*burgenses amici*) выйдут из города и заспорят между собой, каждый должен будет уплатить шультгейсу (*causidico*) 3 солида штрафа. Если же выйдут из города враждующие между собой горожане и друг у друга выдерут волосы, или оскорбят, или ранят, лишатся защиты герцога.

III. Дополнения, внесенные после 1178 г.

16. Пусть никто из министериалов или людей герцога не будет жить в городе и не получит права гражданства [в нем],

разве что с общего согласия горожан, дабы никто из горожан не мог пострадать из-за их лжесвидетельства, если вышеназванный сеньор [города сам] не отпустит его на свободу.

17. Если же горожане поссорятся между собой, пусть их не заставляют подавать жалобу [в сеньориальный суд] и сеньор города или судья не должны уговаривать их [сделать это]. Если же один из них подаст жалобу сеньору или судье и после приведения в движение жалобы они будут тайно примирены, то судья, если докажет тайное примирение, может принудить его довести жалобу до конца. Все присутствующие при заключении тайного примирения лишатся защиты сеньора.

18. Горожанин может дарить или продавать своей жене при жизни ее все, чем бы он ни владел; после смерти жены, если он имеет сыновей или дочерей, то не может распоряжаться [имуществом] без их согласия, если они достигнут совершеннолетия. Если же он нарушит это [правило] на законном основании и это докажет клятвенно собственной рукой, ему можно будет продать. Если же вступит в брак с другой женой, ничего подобного не может [сделать].

19. Чужеземец не может вступать в поединок с горожанином без согласия горожанина.

20. Если кто во гневе ранит кого-либо в пределах города днем и если тут же будет уличен двумя достойными свидетелями, он лишится руки. Если же раненый умрет, убийца будет лишен головы. Если же затронет кого-либо ночью, или в таверне ранит кого-либо — днем или ночью, — изобличается как зачинщик поединка: по той причине, что мы ввиду опьянения приравниваем нападение в таверне ночному нападению. Если же обвиняемый не примет свидетельство названных свидетелей, ему будет разрешено вступить в поединок с жалобщиком или с одним из свидетелей.

21. Если кто из горожан согорожанина своего лишит волос или избьет, или неожиданно войдет в его дом, или где-либо захватит и сделает пленником, он лишится защиты своего сеньора. Прочее есть юрисдикция шультгейса.

22. Если двое горожан лишат друг друга волос, то зачинщик, если будет уличен достойными свидетелями, будет наказан, другой же — нет.

23. Если же горожанин ударит или лишит волос чужеземца, уплатит 60 солидов.

24. Если двое горожан — друзей выйдут из города и затеют между собой ссору, зачинщик даст шультгейсу 3 солида

штрафа. Если же недруги выйдут из города и друг друга лишат волос или избьют, или один другого убьет, если будет уличен достойными свидетелями, будет наказан так же, как если бы он был схвачен в городе. Если же двое горожан-друзей выйдут из города и затеют меж собой ссору и останутся без согласия разнять и если потом, прежде чем вернуться в город, один [из них] над другим будет злобно глумиться, он будет наказан так, как если бы он был схвачен в городе.

25. Если горожанин будет преследовать своего согорожанина через чужой суд, то он вернет ему то, чего лишил его у чужого судьи, и затем уплатит своему судье 3 солида. И если сделает его пленником, лишится защиты своего сеньора.

26. Если чужестранец нападет на горожанина или ранит его [то], если горожанин известит судью прежде, а чужестранец придет в город позже, то какое бы зло ни причинил ему горожанин, он не претерпит у судьи никакой кары.

27. Если горожанин привлечет к суду за неуплату долга чужестранца, пусть судья задержит его [у себя] на 6 недель (по редакции 1200 г.: «...за свой счет, если тот не будет иметь средств для себя»), после каковых [недель] судья выдаст должника кредитору, получив в свою пользу 3 солида и соответствующее заверение, что никакого зла он ему (т. е. должнику) не причинит.

28. Если кто вынесет дело другого в суд в присутствии ответчика и тот не будет возражать, то после [этого] он возражать не может.

29. Никто не может присваивать вещь, каким-либо образом взятую, если он не докажет клятвенно, что она ему досталась не обманом или грабежом. Если же тот, в чьей власти [вещь] находится, скажет, что она была куплена на рынке, как не украденная или похищенная, у незнакомого ему человека, даже дом которого ему не ведом, и это клятвенно подтвердит, то он не подлежит никакому наказанию. Если же он признается, что [эта вещь] была куплена у известного ему [человека], то в течение 14 дней он может жаловаться в наше судебное собрание; если же не придет и не сможет поклясться [в свое оправдание], понесет наказание за разбой.

30. Всякий, — будь то судья или иной горожанин, — если осмелится захватить кого-либо в городе без судебного решения, если только он не нашел у него краденого или фальшивой монеты, лишится защиты сеньора.

31. Когда умрет горожанин, имевший личного господина

(*proprium dominum*), которого он признал таковым, жена его названному господину ничего не будет давать.

32. Если кто лишится покровительства сеньора, пусть в течение шести недель сохраняет неприкосновенными свою жизнь и имущество (*In corpore et rebus suis pacem habeat*) в самом городе и вне его и имуществом своим располагает, как пожелает, за исключением дома, который ему нельзя продать или заложить. (По редакции 1200 г. «Имущество же движимое и недвижимое и дом свой ему нельзя продать или заложить»). Если же в течение указанного срока он не вернет покровительства сеньора своего, то лишится собственного дома и всего, что имеет в городе. Если же сеньор уехал за Альпы, вплоть до его возвращения пусть останется с миром.

33. Горожане не обязаны идти в поход с сеньором, иначе как на один день; однако так, чтобы каждый [из них] следующей ночью мог вернуться к себе домой. Если же в этом походе один [из них] другого ранит каким-либо образом, то он будет наказан так, словно это случилось в городе. Если же названный поход был предписан всем, то у того из горожан, кто слышал и не пошел, дом будет разрушен до основания, если он не сможет привести законного оправдания.

34. Всякий горожанин, если захочет покинуть [город], должен иметь право свободного передвижения для себя и своего имущества в пределах герцогства, вплоть до среднего Рейна и насколько простираются герцогские права, — с разрешения самого сеньора.

35. Господин не должен сам избирать никакого священника, кроме того, кто будет избран с общего согласия горожан и ему самому представлен. Священник также не должен иметь посвящения, иначе как по общему желанию горожан. Шультгейса, которого горожане ежегодно избирают, господин должен утвердить и узаконить:

36. Тот, кто хранит общественные меры веса, пусть выдаст [их] горожанам бесплатно. Если же откажет и будет уличен свидетелями, не будет иметь в городе никаких прав до тех пор, пока не даст удовлетворения. Если же истец не сможет доказать, что тот ему отказал в весах, пусть тот очистит себя клятвой и все же нужную меру выдаст. Тому же, кому он в мере отказал, полностью возместит [ущерб], если тот докажет, что потерпел ущерб. Если же отступит [от закона] и плату от горожанина получит, лишится покровительства сеньора. Чужестранец же даст обол с каждого центнера. Любой горожанин, если захочет, да имеет свою гирию, кото-

рой он должен взвешивать своим согорожанам, но не чужакам. Горожанин, который присвоит себе весовой сбор, причитающийся сеньору [с чужаков], лишится его покровительства. Что бы ни было куплено у чужака или продано ему, должно быть взвешено на общественных весах.

37. Всякая мера вина, зерна, всякий вес золота или серебра пусть будут во власти консулов; и после того, как они [эти меры] выверят, одному из них, кому сочтут нужным, город пусть поручает хранить. И кто будет иметь меру меньшую, воровство совершит, если продаст или купит этой мерой.

38. Все горожане со всем приобретенным имуществом пусть обладают одинаковыми правами и не будут платить [сеньору] судебного побора (*jus advocatie*).

39. 14 ночей перед праздником св. Мартина и 14 ночей после праздника никто из мясников не должен покупать быка или свинью, если не хочет разрубить тушу для продажи в мясном рынке. Если же преступит это правило, нарушит право города.

40. Горожанином является тот, кто имеет в городе свободную собственность, не обремененную повинностями, стоимостью в одну марку.

41. Всякое клятвенное нарушение должно быть изобличено достойными законными свидетелями в соответствии с правом.

42. Любая женщина приравнивается мужчине, и наоборот: и мужчина является наследником женщины, и наоборот.

44. Сколько бы жен ни имел горожанин, каждая из них будет свободно владеть своей материнской долей [имущества].

45. Если горожанин или жена его умрет, оставив сыновей, и впоследствии один из сыновей умрет, то пусть другой вступит в наследство, — если прежде имущество не было разделено; в противном случае наследство получит отец или мать.

46. Сын, живущий с отцом или матерью, не может ничего отчуждать из вещей своих, — ни через [азартную] игру, ни иным способом. Если же сделает [это], [имущество] по закону должно быть возвращено отцу или матери; и если кто-либо [ему] займы даст, по закону [долг] никогда не будет выплачен.

47. Никто [из новопоселенцев города] в течение двенадцати лет не может свидетельствовать в суде, не может помо-

гать другим или вредить, не может чем-либо нарушать право города.

48. Если кто-либо находясь при смерти, детей своих кому-нибудь поручит, а тот из корыстных побуждений причинит им зло и будет уличен свидетелями, пусть он будет выдан горожанам [на расправу] (*corpus erit burgensium*), а имущество его должно быть присуждено сеньору, и пусть заботу об этих детях возьмет на себя ближайший их родственник по отцовской линии.

49. Если горожанин оскорбит бранью жену согорожанина, он уплатит 10 фунтов, если будет уличен свидетелями.

50. Если кто-либо представит суду свидетелей, из которых один или все будут отведены, он может призвать других вместо этих, в то же время и в то же место, если будет иметь [такую] возможность.

51. Даже самое малое оскорбление карается штрафом не менее трех солидов.

52. Никто, [находясь] на ложе болезни, без согласия наследников своих не может кому бы то ни было передавать какое бы то ни было имущество стоимостью свыше пяти солидов.

53. Если кто умрет и придет кто-либо в качестве кредитора, жалуясь в присутствии судьи на наследников [умершего], говоря, что было дано им и те отрицают, то истец сам либо изобличит их с помощью свидетелей, либо отпустит с миром.

54. Кто бы в городе ни задержал [у себя] чужую вещь за долг, пусть докажет этот долг, и тогда пусть будет ему позволено на 14-й день продать эту вещь в присутствии двух горожан в возмещение долга.

55. Если кто даст кому-либо залог за долг, пусть имеет за это 14 дней отсрочки [уплаты]. Если же кредитор не пожелает принять этот залог, должник обязан вернуть ему долг немедленно до наступления ночи.

IV. Из редакции 1200 г. (т. н. *Stadtrotel*)

4. Установлено также, чтобы впоследствии сеньор владел этим городом по праву наследства; когда он умрет, кто бы ни был старшим из наследников его, он будет иметь власть над этим городом.

11. Телонеарий должен содержать в порядке все мосты вплоть до городского вала; в случае гибели на них скота он сам оплатит ущерб.

12. Ниже следуют доходы, причитающиеся телонеарию: с лошади — 4 денария, с мула — 16 денариев, с осла — 8 денариев, с быка — 1 денарий, со шкуры — обол, со свиньи — обол, с окорока — обол, с четырех овец — денарий, столько же с козы.

С вьюка вина, которое куплено здесь — обол. С вьюка соли — обол. С вьюка зерна — денарий. С центнера сала — 4 денария. С центнера жира — 4 денария. С центнера чистого свинца — денарий. С центнера свинца, который называется *malterbli*, — обол.

Кто продаст фунтовую меру олова, перца, тмина, лаврового листа — дает 4 денария. Столько же с воска. Столько же с масла. Столько же с кож. Столько же со шкур овец, коз и козлов. Столько же с привезенной соли. Столько же с железных цепей. Столько же с винограда.

С меры железа — 1 денарий, с рыбы — 1 динарий. С веса шерсти — 1 денарий. С четырех лошадей, выводимых из города — денарий. С хлеба, который вывозится для продажи в корзинах — денарий, с вывозимого в мешках — обол.

Пришлый [платит] 4 денария за каждую бочку вина, которое привозит в город для продажи; если продает в таверну, дает от каждого фунта 4 денария.

С воза яблок любого сорта — денарий, ослиного вьюка — обол; гороха, бобов и мальтийских орехов — денарий, с воза репы — денарий, с ослиного вьюка — обол.

С повозки сена или соломы — денарий. Новая четырехколесная повозка — денарий, двухколесная — обол. Повозка меда — 4 денария. С центнера меди — 4 денария.

13. Пусть каждый в этом городе должным образом платит торговый сбор.

14. Монах, клирик или министерялы господина герцога не будут давать торговой пошлины.

30. Пришлый, выходящий из города, если он купил нужную вещь у горожанина, дает половину торговой пошлины.

40. Если по поводу какого-либо решения возникнет несогласие между горожанами, так что одна часть захочет принять это решение, а другая — нет, то из двадцати четырех консулов два, — не простые горожане, — если захотят, обратятся по поводу этого решения в Кельн. И если они вернуться с подтверждением кельнцев, что решение было правильным, противная сторона оплатит им все расходы. Если же суд кельнцев не утвердит решение, они сами уплатят штраф и расходы.

66. Если кто заложит кому-нибудь имущество (*вопит*), в просторечье называемое *erbe* («наследственное имущество», вероятно, земельное держание), кредитор может спокойно принять этот залог и должен хранить его нерушимо до тех пор, пока должник выплачивает причитающиеся с него платежи. Если же ни тот, ни другой не будут выплачивать причитающихся [с этого участка] повинностей, это имущество возвращается в собственность сеньора.

67. Если чей-либо дом в городе сгорит, то, пока он не отказывается от уплаты чинша и других поборов, не утратит прав горожанина.

68. Если же кто-либо другой купит [этот] двор, он не будет считаться горожанином, пока не застроит [его].

69. Если горожанин, отправясь в провинцию, ранит или лишит волос чужака и чужак, придя затем в город, пожалуется [на него], никакого удовлетворения не получит.

70. Каждый, кто отнимет у чужака что-либо из его вещей, чтобы построить себе в городе дом, лишится покровительства сеньора.

71. Всякий, кто будет принуждать женщину после смерти ее супруга принять [нового] мужа или оставаться без мужа, утратит право города.

72. Если кто войдет в чей-либо дом, куда ему однажды уже был воспрещен вход, то, кто бы ни напал на него, тот не подлежит никакому наказанию.

73. Если сын горожанина тайно полюбит дочь своего соседа и вступит в связь с нею и это будет обнаружено, то, если судом горожан будет найдена возможность заключения брака между ними, они будут принуждены вступить в брак.

74. Кто бы ни был побежден в поединке, — тот, кто напал, или тот, кто подвергся нападению, — [оба] в равной мере подлежат наказанию. Поединок же допустим только [как средство отмщения] за пролитие крови, за грабеж или за убийство.

75. Когда кто-либо будет окровавлен, если захочет принести жалобу, пусть ударит в колокол, на звук которого обязаны прийти 24 консула, которые омоют раны. И если там окажется удар до крови, дело решается, как выше сказано. Если же полученный удар был не до крови, тот, кто позвонил [в колокол], подвергается соответствующему штрафу.

76. Каждый из 24-х консулов удержит 12 денариев от свое-

од двора¹. И они не будут подлежать суду по каким бы то ни было искам, если им накануне, не было сделано устное заявление, — разве что они нарушают право города.

77. Каждый из консулов должен иметь свою скамью (*ban-сип*) в одной из трех галерей (*lobiis*), которые были построены для [принесения] присяги с самого основания города. Когда же один из консулов умрет [тот], кто займет его место, пусть займет и его скамью.

78. Существуют же три галереи: ниже мясного рынка, вблизи госпиталя и лавки тканей возле рыбного рынка².

79. Консулы могут выносить постановления касательно вина, хлеба, мяса и [всего] другого, в соответствии с тем, что они считают полезным городской общине (*universitati civitatis*); и каждый, кто в этом присягнет, если затем нарушит [свою присягу], тем себя обесчестит, а имущество его будет конфисковано в пользу города.

80. Если же сеньор нарушит [это решение], он пренебрежет правом города. И какое бы ни было вынесено постановление, оно должно быть принято [сеньором]; и сколько бы раз оно ни было нарушено, столько же раз должно быть [снова] признано.

* * *

В основу перевода положен текст в издании: Keutgen F. *Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte Deutschlands*. Bd. II. Berlin, 1901. Оригинал на латинском языке. Перевела Т. М. Негуляева.

¹ Поскольку с каждого двора сеньору уплачивали 1 солид чинша (см. выше), то консул платил лишь половину.

² Видимо, сами лавки тканей использовались в качестве галерей, где приносилась присяга.

С О О Б Щ Е Н И Я

С. А. Илларионов

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТОРГОВЛЕ КЕЛЬНА С АНГЛИЕЙ В XII—XIV вв.

Среди ганзейских городов, торговавших с Англией в период классического средневековья, видную роль играл западно-германский город Кельн. Этому способствовало, помимо хорошо известного выгодного географического положения города на Нижнем Рейне, связанного с морем, также и особое покровительство кельнским купцам со стороны английских королей. Так, в 1157 г. король Англии Генрих II взял под свою защиту кельнских купцов, их факторию и товары в Лондоне¹, запретив своим служащим чинить им какие-либо препятствия в их торговле². В привилегии того же короля и в том же году им дано право продавать рейнское вино на рынке Лондона по той же цене, что и французское, а именно каждое 0,5 литра вина по 3 денария³. В 1194 г. кельнцы получили новую привилегию от английского короля Ричарда Львиное Сердце, в соответствии с которой им разрешалось торговать по всей Англии и они временно освобождались от уплаты двух шиллин-

¹ Первое документальное известие о торговом обществе — Ганзе кельнских купцов в Лондоне также относится к 1157 г. (см.: *Lappenberg I. M. Urkundliche Geschichte des hansischen Stahlhofes zu London*. I—II. Osnabrück, 1967. Urkunde №2).

² *Ennen L., Eckertz G. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln*. Bd. I. Köln, 1860, № 68, S. 544.

³ *Lappenberg I. M. II, Urkunde № 3*. В XII—XIII вв. собственная торговля Англии была слабо развита и экспортно-импортную торговлю там вели тогда иностранные купцы (см.: *Эшли У. Д. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией*. М., 1897, с. 116, 124).

гов за палату, принадлежавшую их гильдии (Gildhalle)⁴. Привилегии давались и отдельным купцам Кёльна. Так, в 1224 г. Генрих III разрешил кёльнскому купцу Бруно в течение полугода свободно торговать по всей Англии⁵. Тот же король в 1226 г. разрешил другому купцу из Кёльна, Герхарду Кватермарту, торговать в Англии до пасхи 1227 года⁶. В 1231 г. он позволил бюргерам Кёльна торговать в Англии после уплаты обычных пошлин⁷.

С образованием во второй половине XIII в. общенемецкой Ганзы в Лондоне⁸, в которой длительное время преобладало влияние кёльнцев, привилегии выдаются всей Ганзе. Наиболее важной следует считать торговую хартию (Garta Mercatoria), выданную короной в 1303 году. В этой хартии английский король предоставил всем иноземным купцам защиту в своей стране и право торговли оптом в Англии и вывоза из нее закупленных товаров, одновременно освободив их от различных сборов, сверх установленных на внутренних торговых путях⁹. Иноземные, в том числе ганзейские, купцы придавали этой хартии столь большое значение, что согласились на повышение вывозной пошлины на английскую шерсть и кожи на 50%¹⁰. И хотя в 1311 г. под давлением английских купцов Эдуард II отменил указанную хартию¹¹, она была возобновлена специально для немецкой Ганзы в полном объеме в 1337 году¹².

Чем же объяснить столь привилегированное положение ганзейцев, и в частности кёльнцев в Англии? Ф. Шульц высказывает мнение, что оно было обусловлено двумя факторами: посредничеством ганзейских городов между Западной и Восточной Европой и династической политикой английских

⁴ Lappenberg I. M. II, Urkunde № 5. Эта привилегия подтверждается в 1213 г. королем Англии Иоаном Безземельным; а в 1235 г. — Генрихом III (см.: Ennen L., Eckertz G. Quellen... Bd. 2, № 41, S. 46; №№ 149—151, S. 152—153). В первой половине XIII в. уже многие немецкие города, в особенности северогерманские, участвуют в торговле с Англией и получают привилегии от английских королей.

⁵ Höhlbaum K. Hansisches Urkundenbuch. Bd. I. Halle, 1876, № 168, S. 55.

⁶ Ibid., № 207, S. 65.

⁷ Ibid., № 241, S. 81.

⁸ См.: Lappenberg I. M. I, S. 10—14f.

⁹ Kunze K. Hanseakten aus England 1275 bis 1412. Halle, 1891, S. IV.

¹⁰ Ibid., S. V.

¹¹ Ibid., S. VIII.

¹² Ibid., S. XV—XVI.

королей¹³. Думается, что точка зрения К. Кунце на этот счет более основательна: он полагает, что английская корона, давая привилегии иноземным купцам, даже в ущерб местным, исходила при этом из своих фискальных интересов¹⁴. Действительно, выдача и последующие подтверждения английскими королями торговых льгот ганзейцам в XII—XIV вв. свидетельствовали о заинтересованности их в торговой деятельности немецких и, в частности, кёльнских купцов в Англии, ибо торговля приносила королевской казне значительный доход, к тому же собственно английская торговля в указанный период находилась в стадии становления и поэтому не могла быть достаточно надежным источником пополнения королевской казны.

Таким образом, вышеприведенные привилегии свидетельствуют о ранних торговых связях Кёльна с Англией, о том, что кёльнские купцы длительное время могли свободно торговать на всей территории Англии, и, следовательно, г. Кёльн мог использовать эти весьма благоприятные условия там для упрочения и развития торговли с этой страной.

Рассмотрим подробно состав вывоза из Кёльна в Англию. Главным предметом экспорта Кёльна в Англию на протяжении всего средневековья — рейнское вино. И это понятно, так как Кёльн расположен в том ареале Германии, где с давних времен было развито виноградарство и виноделие¹⁵. Это положение, а также обладание штапельным правом, концентрированным стягивавшим торговлю у города¹⁶, позволяло Кёльну монополизировать в своих руках всю виноторговлю на Рейне¹⁷,

¹³ Schulz F. Die Hanse und England von Eduards III. bis auf Heinrichs VIII. Zeit. — In: Abhandlungen zur Verkehrs und Seegeschichte. Bd. V. Berlin, 1911, S. 2.

¹⁴ Kunze K. Op. cit., S. II.

¹⁵ Mottek H. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Bd. I. Berlin, 1973, S. 146.

¹⁶ В соответствии с этим правом все купцы должны были на 3 дня выставлять в Кёльне свои товары для продажи. Уже в середине XII в. все корабли с товарами, идущие с Нижнего Рейна вверх по течению, в силу этого штапеля должны были останавливаться у города (см.: Ennen L. Geschichte der Stadt Köln. Bd. 2. Köln, 1865, S. 545—547).

¹⁷ Кёльнские виноторговцы получали вино отчасти со своих виноградников, но большей частью они закупали продукцию в местностях, расположенных вверх по Рейну, а затем продавали ее из Кёльна. И с этой целью в Кёльне создавались общества, заключавшие договора с определенными селами на право закупки там вина (см.: Hartmeyer H. Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter. — In: Volkswirtschaftliche und Wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen. Heft 3. Jena, 1905, S. 56)

быть посредником и экспортером вина в другие страны, и в частности в Англию. Рейнское вино ввозилось туда ¹⁸ издавна, еще до образования северогерманской Ганзы. Ввоз вина носил систематический характер, поскольку оно всегда находило сбыт среди феодалов, а также шло на церковные нужды. Особенно активными в области виноторговли были связи Кёльна с Лондоном. Из сохранившихся документов явствует, как регулировались эти связи. Наиболее ранний документ — вышеприведенная привилегия английского короля Генриха II от 1157 г. кёльнским виноторговцам, позволявшая им продавать рейнское вино в Лондоне на тех же условиях, что и вино, привезенное из Франции. Это единственный документ о виноторговле Кёльна за рубежом в середине XII в., послуживший, по видимому, юридической основой для дальнейшего ее развития. В последующие века торговля рейнским вином в Лондоне, как и во всей Англии, достигает значительного масштаба, чему, несомненно, способствовала покровительственная политика английских королей, выдававших различные привилегии иностранцам, в том числе и кёльнским купцам. Эта покровительственная политика английской короны обуславливалась, как сказано, соображениями фискального порядка, ибо с ввозимого в страну вина взималась пошлина. Так, с каждого корабля, прибывшего в Англию с грузом вина не менее 10 бочек, одна бочка поступала королю, если же груз корабля превышал 20 бочек, то королю — две бочки ¹⁹. Вино, доставленное в Лондон, как правило, подлежало штапелю, а затем уже свободно продавалось в стране оптом и в розницу ²⁰. Виноторговцам Кёльна эта торговля приносила значительный доход. Так, например, в 1251 г. кёльнский купец Эрнальд получил 30 фунтов 12 шиллингов за 17 бочек вина, проданного им королю Англии Генриху III ²¹.

¹⁸ Торговое движение шло через Нидерланды: корабли с вином двигались вниз по Рейну, направляясь в Англию. В первой половине XIII в. кёльнские купцы вывозили рейнское вино главным образом через Брюгге, частично продавая вино здесь, а затем далее везли его в Англию (см.: *Häpke R. Brügger Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt*. — In: *Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte*. Bd. I. Berlin, 1908, S. 92).

¹⁹ *Kunze K. Op. cit.*, S. XXXV—XXXVI. С 1303 г. в соответствии с торговой хартией (*Carta Mercatoria*) натуральная пошлина заменяется денежной. Она составляет два шиллинга с каждой бочки вина (*Ibid.*, S. XXXVI).

²⁰ *Hartmeyer H. Op. cit.*, S. 13.

²¹ *Höhlbaum K. Op. cit.*, № 404, S. 132.

В XIV в. экспорт рейнского вина в Англию продолжался ²². Так, косвенным свидетельством кёльнской виноторговли в Англии в это время является процесс 1313 г., происходивший в королевском казначействе по поводу того, что кёльнский купец Франко не уплачивал в государственную казну пошлину с вина ²³. В 1351 г. король Эдуард III предписал своим служащим графства Линкольн освободить из-под ареста товары, в том числе вино, принадлежавшее кёльнскому купцу Ганекину ²⁴. Торговля купцов Кёльна в XII—XIV вв. была индивидуальной, но в то же время, в целях защиты общих интересов они объединялись в торговые сообщества — гильдии. В середине XIV в. в г. Кёльне образовалась замкнутая корпорация виноторговцев, именуемая братством (*fraternitas vini*) ²⁵. Ей принадлежало исключительное право торговли вином. В руки этой корпорации, как полагает историк Кёльна Л. Эннен, со временем перешла и старинная палата первых купцов Кёльна в Лондоне — *Gildhalle* ²⁶. Таким образом, история кёльнской торговли вином — одно из свидетельств дальних и весьма активных торговых связей города в период классического феодализма.

Второй по значению предмет экспорта Кёльна — сукно. В XII—XIV вв. торговля Кёльна сукном была широкой. В ней принимали участие представители многих патрицианских родов, входившие в цех розничных торговцев сукном, например, Нигеры, Гирцы, Гирцелины, Ротштоки и др. ²⁷. Их торговля на месте сочеталась с торговлей сукном на отдельных рынках. Базой для развития городской торговли тканями были довольно рано сложившиеся цехи в этой сфере. Так, первое известие о цехе сукноткачей Кёльна относится к 1230 г. ²⁸, а о цехе ткачей постельного тика — восходит к 1149 году ²⁹. В XIV в. каждый мастер ткацкого цеха изготавливал 35—40 штук

²² Кроме того кёльнцы посредничали в торговле вином Южной Франции с Англией. Например, в 1316 г. кёльнский купец Фридрих фон Горн доставил из Гаскони в Англию 108 бочек вина (см.: *Kunze K. Op. cit.*, *Urkunde* № 60).

²³ *Kurze K. Op. cit.*, *Urkunde* № 52.

²⁴ *Ibid.*, *Urkunde* № 161.

²⁵ *Ennen L. Op. cit.*, Bd. I., S. 533—534.

²⁶ *Ibid.*, S. 537.

²⁷ *Winterfeld L. Handel, Kapital und Patriziat in Köln bis 1400*. — In: *Pfingstblätter der hansischen Geschichtsvereins*. Blatt XVI. Lubeck, 1925, S. 46f.

²⁸ *Ennen L., Eckertz G. Op. cit.*, Bd. 2. № 117.

²⁹ *Ibid.*, Bd. I, S. 329—330.

сукна в год³⁰. В последней четверти этого века в городе ежегодно производилось до 7 000 штук сукна³¹. Англия, в тот период нуждавшаяся в текстильных изделиях, несомненно импортировала их, в том числе и широко известное кельнское сукно³².

Среди предметов кельнского экспорта значительное место занимал шелк. Известно, что в Германии первое место в шелковой промышленности в период средневековья принадлежало Кельну. В XIV—XV вв. шелковые изделия Кельна встречаются на рынках Англии³³. Следующую основу текстильного производства города составляло прядильное дело. На международных рынках славилась кельнская пряжа, которая также в значительном объеме вывозилась в Англию³⁴, в качестве сырья для местных ткачей.

Из Кельна в Англию в начале XIV в. шли изделия скорняжного и оружейного ремесел³⁵, довольно развитых в то время в Кельне. Солидную долю кельнского экспорта в Англию составляли различные металлы. С ранних времен в области Нижнего Рейна, Вестфалии, Гессене, Зигерлянде, Маасе происходила добыча железа и Кельн был естественным центром вывоза железных изделий в Западной Европе³⁶. В самом Кельне в XIV в. развивались металлургические отрасли в форме цехового ремесла: меднолитейное, лудильное и другие³⁷. В кельнскую торговлю поступали также клинки и мечи из Берга³⁸, отправляемые далее в Англию. Немаловажную роль играл г. Кельн и в посреднической торговле свинцом. Свинец

³⁰ Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы, т. I. М.—Л., 1931, с. 211.

³¹ Ennen L. Op. cit., Bd. 2, S. 617.

³² К сожалению, вследствие недостатка документальных данных о торговле кельнским сукном в Англии не представляется возможности нарисовать картину этой отрасли городской экспортной торговли, однако вполне реально предположение об экспорте кельнского сукна в Англию в XII—XIII вв. в тот период, когда собственная суконная промышленность этой страны была еще слабо развита.

³³ Стоклицкая-Терешкович В. В. Немецкий город XIV—XV вв. М., 1936, с. 33, примечание 2.

³⁴ Kuske B. «Köln». Zur Geltung der Stadt, Ihrer Waren und Maßstäbe in älterer Zeit (12—18. Jh.) — In: Köln, der Rhein und das Reich. Köln-Graz, 1956, S. 149.

³⁵ См.: Kunze K. Op. cit., Tabelle 371.

³⁶ Bechtel H. Wirtschaftsstil des deutschen Spätmittelalters. München-Leipzig, 1930, S. 119.

³⁷ Inama-Sternegg K. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Bd. 3, т. 2, Leipzig, 1901, S. 118.

³⁸ Kuske B. Op. cit., S. 156.

поступал в город преимущественно из Эйфеля, а олово, поступавшее из Англии, подвергшись здесь дальнейшей обработке, шло затем на различные рынки³⁹, но железо вывозилось из Кельна главным образом на рынки Англии⁴⁰. Как известно, в средние века развивалась и торговля сталью. В Англию она доставлялась из Германии, в частности, кельнскими купцами⁴¹. Активно торговали кельнцы в Англии и зерном⁴², которое они закупали в плодородной рейнской области⁴³.

Такова в основных чертах картина кельнского экспорта в Англию на протяжении двух веков.

Рассмотрим состав вывоза из Англии в Кельн в исследуемый период. Важнейший объект английского экспорта в то время, когда промышленность ее была слабо развита (XII — нач. XIV вв.), — продукция животноводства, а именно — шерсть и кожи. Издавна при вывозе их в другие страны в пользу английского короля взимался денежный сбор от 6 до 10% стоимости товара⁴⁴. Но в 1275 г. при короле Эдуарде I установился твердый тариф этих сборов: с мешка шерсти или 300 овечьих шкур — 6 шиллингов 8 денариев, с ластва кож — 13 шиллингов 4 денария⁴⁵. Причем пошлина с экспортируемой шерсти, взимавшаяся на протяжении столетий, так называемая «Custuma», составляла один из важнейших источников дохода английской короны⁴⁶. Поэтому она была заинтересована в развитии торговли шерстью, хотя и находившейся тогда в руках иноземных, в частности ганзейских купцов⁴⁷. В

³⁹ Ibid., S. 157—158.

⁴⁰ Bens G. Der deutsche Warenfernhandel im Mittelalter. Breslau, 1926, S. 71.

⁴¹ Ibid., S. 75.

⁴² Кеннингэм У. Рост английской промышленности и торговли. М., 1909, с. 116. Свидетельством ввоза зерна из Кельна в Англию может служить такой факт: в 1275 г. купцу г. Кельна Конраду, торгующему в Англии, возмещается убыток — утрата им 50 четвертей овса и половина принадлежавшего ему корабля, конфискованных в Лондоне (см.: Kunze K. Op. cit., Urkunde № 2).

⁴³ В регионе Нижний Рейн-Маас в средние века, наряду с довольно развитым виноградарством, возделывались различные зерновые культуры: рожь, спельта, ячмень, овес, конопля и др. (см.: Neukirch R. Die Entwicklung der Kulturlandschaft im deutschniederländischen Grenzgebiet der Maas- und Rheinlande. Köln, 1975, S. 39—40).

⁴⁴ Kunze K. Op. cit., S. XXXVI.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ См.: Hansen I. Der englische Staatskredit unter König Eduard III. (1327—1377) und die hansischen Kaufleute. — In: Hansische Geschichtsblätter. Bd. 16. Heft. 2. Leipzig, 1910, S. 327.

⁴⁷ Ганзейские купцы также платили пошлины при вывозе из Англии

XII—XIV вв. шерсть из Англии вывозилась в значительном количестве. Высококачественная английская шерсть пользовалась большим спросом на международных рынках. Так, уже в XI в. иностранные, в том числе кельнские купцы⁴⁸, вывозят эту шерсть в определенные области Европы⁴⁹, особенно во Фландрию, где рано развилось сукноткачество. Изготовленные во фландрских городах качественные сукна затем вывозились во многие страны, в том числе и в Англию. Немецкие купцы активно участвовали в экспорте английской шерсти в Нидерланды, а из Брюгге везли готовое сукно в свою страну с целью продажи⁵⁰. В частности, документально засвидетельствован вывоз английской шерсти кельнскими купцами в первой половине XIII в.⁵¹ Во второй половине этого века они часто ездили между гаванями Англии и Брюгге, экспортируя английскую шерсть во Фландрию⁵². Об активном участии Кельна в экспорте английской шерсти на европейский континент свидетельствуют и другие документальные данные. Так, в 70-х гг. XIII в. большое количество шерсти вывез из Бостона (Англия) кельнский купец Иоган Викаде. В 1277 г. он получил лицензию⁵³ на вывоз из Бостона 80 мешков шерсти, а затем еще 100 мешков совместно с двумя другими немецкими купцами⁵⁴.

В середине XIV в. король Англии Эдуард III за данный ему заем заложил крупному кельнскому купцу Тидеману фон Лембергу квоту в вывозе шерсти из Англии и монополию на торговлю оловом в Девоншире⁵⁵.

Экспортно-импортная торговля кельнских купцов сочеталась с крупными кредитно-денежными операциями. Так, в 1339 г. английский король Эдуард III получил от кельнских гроссбюргеров, связанных с экспортом английской шерсти — Эберхарда Гардефуста, Генриха Кватермарта, Гильдегера фон Штаве, Христины Фетшольдер, — заем в размере 5 000

шерсти, шкур, кож, сукна, но с некоторыми льготами (см.: *Kunze K. Op. cit.*, S. XXXIX, XL).

⁴⁸ Стоклицкая-Терешкович В. В. Немецкий город XIV—XV вв., с. 18.

⁴⁹ Безусловно, шерсть из Англии доставлялась непосредственно и в Кельн на нужды развивавшегося там сукноделия.

⁵⁰ *Hansen I. Op. cit.*, S. 327—328.

⁵¹ *Höhbaum K. Op. cit.*, № 234, S. 80.

⁵² *Häpke R. Op. cit.*, S. 63 и. Апп. 3; См. также: *Anhang*, S. 276—279.

⁵³ Вывоз шерсти был государственной монополией и английская корона выдавала лицензии на ее вывоз (см.: *Kunze K. Op. cit.*, S. XLIII).

⁵⁴ *Kunze K. Op. cit.*, Tabelle 365, S. 331.

⁵⁵ *Winterfeld L. Op. cit.*, S. 59.

гульденов, и в этом же году он подтвердил бюргерам Кельна их старинные привилегии в Англии⁵⁶.

Таким образом, в конце XIII — первой половине XIV в. Кельн в лице своих купцов играл весьма активную роль в экспорте английской шерсти, выступая в данном случае в качестве посредника в торговле ею.

То же можно сказать и об экспорте английского сукна⁵⁷. Так, с 1377 г. по 1399 г. ганзейцы, среди которых немало было кельнцев, вывезли из Англии 41 772 штуки окрашенного и 2 641 штуку неокрашенного сукна, что намного превышало количество вывезенного сукна купцами других стран, в том числе и английскими⁵⁸.

Остальные предметы экспорта из Англии по сравнению с шерстью и сукном отступают на задний план. Следует назвать лишь такие предметы, экспортируемые из Кингстона и Бостона в начале XIV в., как зерно, соль, сыр, масло, мед и другие. В вывозе этих товаров крупная роль также принадлежала ганзейским купцам⁵⁹. Несомненно, что эти товары в XIV в. непосредственно поступали в Кельн, ибо большой город средневековья нуждался в подвозе данных продуктов и издалека.

Итак, торговые связи Кельна с Англией в XII—XIV вв. имели постоянный и развивающийся характер. Кельн вел торговлю с Англией как изделиями собственного производства, так и привозными товарами. Значительна роль в обмене между двумя контрагентами — вина и шерсти. При этом экспортно-импортная торговля данными товарами, равно как и другими, находившимися тогда в обороте, вплоть до конца XIV в. была преимущественно в руках купцов Кельна и купцов других ганзейских городов. Такому положению способствовала не только покровительственная политика королей Англии по отношению к кельнским купцам, но и, надо полагать, доброжелательное отношение определенных слоев английского населения — землевладельцев и ремесленников, заинтересованных в посреднической торговле заезжих купцов и в поставках ими в Англию сырья, необходимого для городского ремесла. В силу этих обстоятельств кельнцы длительное время играли важную роль в торговле с Англией и в качестве посредников.

⁵⁶ *Hansen I. Op. cit.*, S. 360—361.

⁵⁷ С середины XIV в. развивалась суконная промышленность Англии и рос экспорт английских сукон в ганзейские города (см.: *Daenell E. Die blütezeit der deutschen Hanse. Bd. I. Berlin, 1905, S. 61—67, 74.*)

⁵⁸ См.: *Kunze K. Op. cit.*, Tabelle 376a.

⁵⁹ *Ibid. Tabellen 369, 374.* В книге Кунце (с. 346) ошибочно указан номер таблицы — 373, правильно 374.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

- Карпачева М. Е.* (Саратов). Ранний этап коммунального движения в средневековом Каркассоне 3
- Сванидзе А. А.* (Москва). Суд и право в шведских городах XIII—XV вв. 20
- Яброва М. М.* (Саратов). Особенности средневекового кредита и его развитие в Англии XIII—XV вв. 44
- Репина Л. П.* (Москва). Городское сословие в английском парламенте XIV в. 60
- Девятайкина Н. И.* (Саратов). Проблема смысла человеческого бытия в «Исповеди» Петрарки 73
- Ревакина Н. В.* (Новосибирск). «Диалог на дружеском пиру» Джаноццо Манетти 101
- Стам С. М.* (Саратов). Микельанджело и Леонардо 115
- Молдавская М. А.* (Донецк). К вопросу о студенческих волнениях и борьбе гуманистической интеллигенции против феодально-католической реакции в Лангедоке первой половины XVI в. 164

ИСТОРИОГРАФИЯ. РЕЦЕНЗИИ

- Самаркин В. В.* (Москва). Американский историк о причинах обострения внутренней борьбы в городах Тосканы в XV в. 176
- Постников В. А.* (Москва). О некоторых тенденциях в современной западной историографии итальянского Возрождения (по поводу двух монографий) 183

ТЕКСТЫ

- Фрейбургское городское право XII века (первоначальный текст и дополнения). Перевод с латинского Т. М. Негуляевой (Саратов) 196

СООБЩЕНИЯ

- Илларионов С. А.* (Донецк). Некоторые данные о торговле Кельна с Англией в XII—XIV вв. 207

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

Межвузовский научный сборник

Выпуск четвертый

Редактор А. И. Яровинская
Обложка художника П. И. Карчевского
Технический редактор Л. В. Агальцова
Корректор О. Н. Галанова

ИГ 11056. Сдано в набор 14/IX-1977 г. Подписано к печати 29/VI-1978 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Бум. тип. № 1. Усл. печ. л. 12,55 (13,5). Уч.-изд. л. 14.
Тираж 1000 экз. Заказ 10610. Цена 1 р. 60 к.

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42
Типография издательства «Коммунист», Волжская, 28.

1 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1978